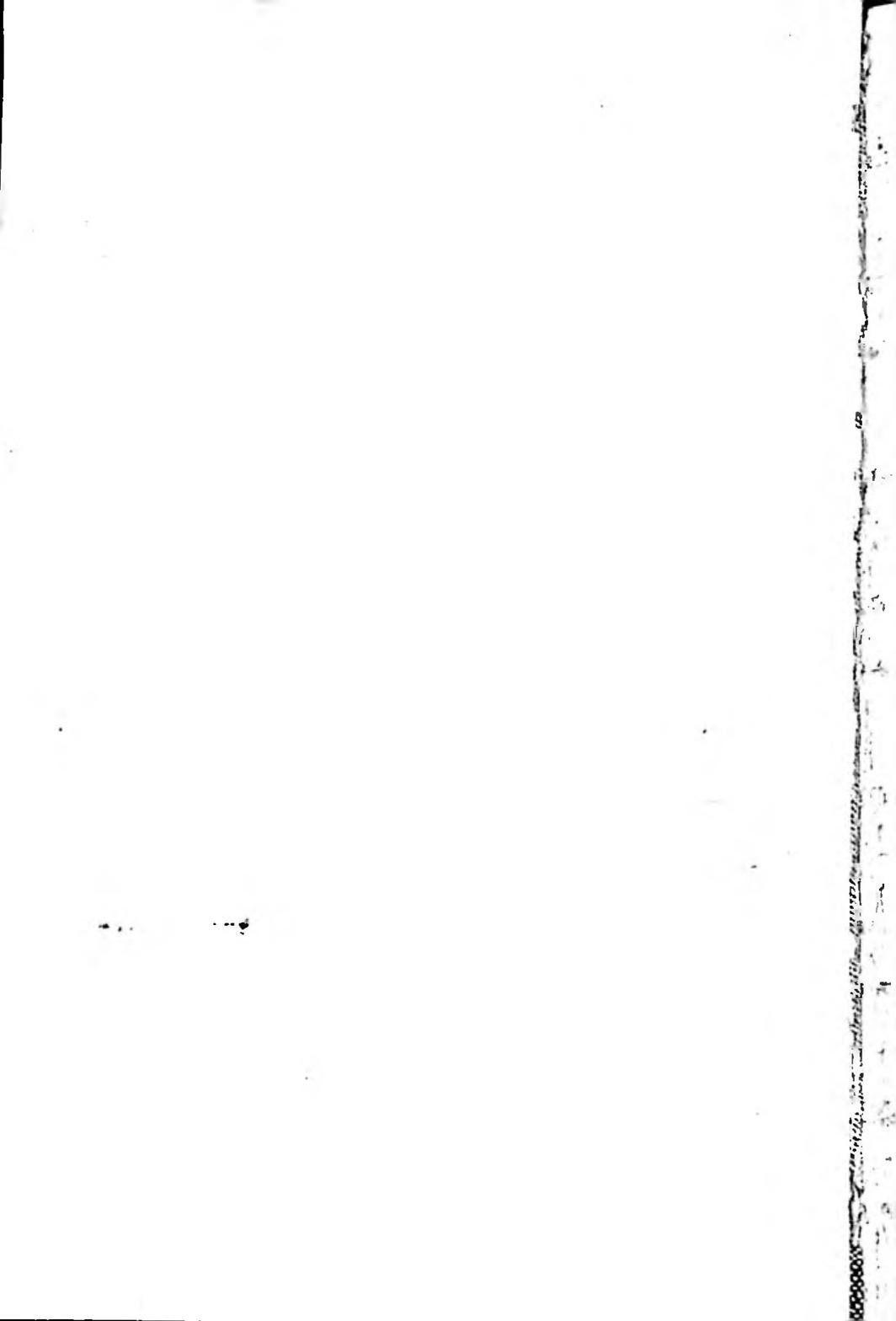




ИАН  
ТАЛЕВИИ



69

М-70

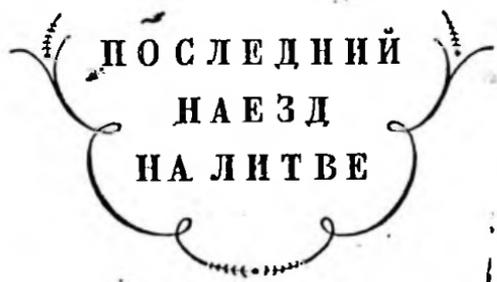
**АДАМ МИЦКЕВИЧ**

**ПАНИ**

**ТАДЕУШИ**

ЖК

ИЛИ



*Шляхетская история  
1811-1812  
годов  
в двенадцати книгах  
стихами*

Перевод с польского  
МУЗЫ ПАВЛОВОЙ

КБ СССР АНТИ  
Кни. № 7061

Москва, Ед. № 7061

29186

Государственное издательство  
**ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**  
МОСКВА 1954

Редакция и предисловие  
*МАКСИМА РЫЛЬСКОГО*

*Иллюстрации художника*  
**Э. АНДРИОЛЛИ**

---

## НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭПОПЕЯ

Бессмертие — удел великих писателей, которые всегда были и великими патриотами. К их числу принадлежит Адам Мицкевич. Два дара дала ему природа — дар исключительной поэтической силы и дар жертвенной любви к родине. Поэтому как великий поэт и патриот вошел Адам Мицкевич в историю Польши, в историю мира, в бессмертие.

Многими учеными славится польская земля, и среди них, как маяк в веках, возвышается Коперник. Много в искусстве создано детьми польского народа, — назовем здесь имя Шопена, с такой проникновенностью и глубиной, с таким изяществом и огнем отразившего музыкальную душу своей родины. Патриотами, борцами за свободу своего народа гордится польская история, — вспомним Тадеуша Костюшко и Ярослава Домбровского. Лучшие произведения польской литературы давно вошли как драгоценный вклад в мировую сокровищницу, и имена Словацкого, Асныка, Конопницкой, Ожешко, Пруса — я назвал лишь несколько — славны и достойны славы. Но нет имени более дорогого для польского сердца, нет имени польского писателя, сильнее любимого за пределами Польши, чем имя Мицкевича.

Великое произведение мировой литературы, наиболее гармоническое свое создание — шляхетскую историю «Пан Тадеуш, или последний наезд на Литве» — Адам Мицкевич писал в 1832—1834 гг. «на парижской мостовой», «закрыв дверь от шума Европы», в кругу близких друзей.

В начале поэма была задумана как сельская идиллия, наподобие «Германа и Доротен» Гёте. К ее первоначальному замыслу относятся описания сельских шляхетских обычаев и пиров на Литве, ссор и различных причуд мелкопоместной шляхты, таких сельских развлечений, как соби́рание грибов, медвежья охота, немудрых сельских ухаживаний и чистой юной любви... Но в процессе работы рамки поэмы неизмеримо расширялись, видное место заняла трагико-героическая история ксендза Робака, в ткань поэмы вплелась борьба Польши за освобождение, — и вышло то, что мы имеем сейчас: национальная эпопея.

Второе название поэмы — «Последний наезд на Литве» — показывает, наряду с несколькими сюжетными линиями («роман» Тадеуша и Телимены, любовь Тадеуша и Зоси, история ксендза Робака), внешне-основную: ссору между потомком рода Горешков — Графом и представителями рода Соплиц — Судьею и его племянником Тадеушом. Причиной ссоры стал древний полуразрушенный горешковский замок, за право владеть которым и ведут борьбу стороны, не обращаясь в официальный царский суд, а только в старый, местный литовский, который по существу уже утратил свою юридическую силу. Суд был безрезультатным, и это приводит к потасовке, а затем и к «наезду» — вооруженному исполнению приговора суда.

Этот своеобразный обычай очень характерен для старой Польши с ее «золотой вольностью» (шляхетской), той Польши, о которой сказано было, что она «беспорядком держится». Во времена, описываемые Мицкевичем (начало XIX века), наезды были уже, собственно говоря, анахронизмом. Прилагательное *последний*, которым автор определяет слово *наезд* во втором заглавии поэмы, со знанием повторяется на протяжении всего произведения как лейтмотив: Гервазий — «последний горешковский ключник», Брехальский — «последний возный трибунала», Подкоморий — «последний из тех, кто так танцует полонез», пир, который устраивает судья Сонлица в честь польского войска — «последний старопольский пир» и т. д. Автор представляет нам галерею «последних экземпляров» «старой Литвы», — таких, как охотник, говорун, любитель пиров и заклятый враг мушиного рода войский Гречеха, как Матек с шляхетского хутора Добжина, известный своей мудростью, честностью и вместе с тем исключительным непостоянством в политических взглядах, за что и был прозван «петушком (флюгером) на костеле», как добродушный гостелюб судья Соплица, как ксендз-миссар (тайный посланец повстанческих легиснов) Робак, как хра-

нитель древних «старопольских» традиций и обычаев Подкоморий, как фанатический слуга горешковского рода ключник Гервазий, как вечные соперники по охоте — Ассессор и Нотариус, как целый ряд представителей «застяжковой» (хуторской), буйной, охочей до ссор шляхты с характерными прозвищами — Бритва, Кропитель, Пруссак, Лейка и другие. Несколько контрастирует с этой галереей — Телимена, увлеченная Петербургом и петербургскими обычаями, и Граф, горячий поклонник новых европейских мод и в первую очередь романтизма. Но даже и они носят на себе отпечаток старины.

Любит ли Мицкевич этих своих героев?

Любит, безусловно. Но он твердо знает, что это действительно последние экземпляры, и не тешит себя иллюзией о возрождении в родном краю старинного уклада. Да и в самом этом укладе, несмотря на некоторую его идеализацию, Мицкевич видит отрицательные стороны. Это известно нам из других, в особенности из публицистических его произведений, но это ощущается и в «Тадеуше». Прочтите хотя бы описание старого сейма, вложенное в уста Войского, объясняющего значение фигурок на «чудесном сервизе» (книга XII). Что же касается «последних экземпляров», то при всей своей любви поэт не жалеет для них комических черт, а где-где и сатирического бича. Свидетельством этого может быть сцена бессмысленной потасовки между Графом и Ключником с одной стороны и Судьей и его гостями — с другой (книга V), беседа шляхты в корчме, где Робак тайно агитирует за восстание, а его слушатели задиристо спорят по поводу всяких мелочей (книга IV), совещание в Добжине перед наездом, на котором шляхта высказала свое желание драться, лишь бы драться, — безразлично за кого, за что и с кем, — и так несправедливо чернит Судью (книга VII), самый наезд — такой чудовищно-нелепый...

Одну из основных черт поэмы составляет юмор, и именно он придает ясность, трезвость, реалистичность всему произведению.

Наряду с юмором и иронией мы находим в поэме и героические и трагические страницы (исповедь Робака в книге X, описание 1812 года в книге XI и т. д.). Это соединение пафоса и смеха, комизма и героизма дало повод одному из современников Мицкевича сказать, что в его эпопее «Дон Кихот» слился с «Илиадой».

Исключительная простота является одной из характерных черт поэмы А. Мицкевича. А наряду с ней, с этой простотой — исключительная сила живописности и музыкальности. Достаточно указать

на описание «литовского» неба, «литовского» пейзажа, вложенного в уста Тадеуша (книга III); медвежьей охоты и игры Войского на охотничьем рожке (книга IV); игры Янкеля на цимбалах (книга XII); полонеза в той же книге XII. Прочитав названные места, нельзя не согласиться с тем, что у Мицкевича был глаз великого художника-живописца и ухо гениального музыканта.

В целом можно сказать, что «Пан Тадеуш» является в такой же степени энциклопедией старой жизни на Литве, как «Евгений Онегин» — современной Пушкину русской жизни.

*М. Рыльский*

**ПАН ТАДЕУШ  
ИЛИ  
ПОСЛЕДНИЙ НАЕЗД  
НА ЛИТВЕ**

*Шляхетская история 1811—1812 годов  
в двенадцати книгах  
стихами*

652



## ХОЗЯЙСТВО

*Возвращение панича.— Первая встреча в комнатке, другая за столом.— Тонкие рассуждения Судьи об учтивости.— Политичные замечания Подкомория о модах.— Начало спора о Кузем и Соколе.— Сетования Войскога.— Последний Возный трибунала.— Взгляд на тогдашнее политическое положение Литвы и Европы.*



тчество мое, Литва! Ты, как здоровье:  
Тот дорожит тобой, как плотью или кровью.  
Кто потерял тебя. Вот так, изгнанник, ныне  
Тебя во всей красе я вижу на чужбине.

Ты, божья мать, хранишь нас в Ясногурском  
храме,

Твой образ золотой сияет в Острой Бrame,  
Ты Новогрудок мой хранишь от зла и бедствий;  
Как чудом ты меня вернула к жизни в детстве  
(Когда я, под твою защиту принесенный,  
Вдруг веки мертвые открыл и, исцеленный,  
Смог встать и подойти к церковному порогу,  
Чтоб там воздать хвалу всевидящему богу) \*.

Так ты и нас вернешь в отчизну из изгнанья.  
Позволь же хоть душе, уставшей от страданья,  
Перелететь туда, к холмам, к лугам зеленым,  
Раскинутым вокруг над Неманом студеным,  
На нивы, где стоят, в сиянье утопая,  
Серебряная рожь, пшеница золотая,  
Желтеет кѹрослеп в гречихе белоснежной.  
Румянцем девичьим алеет клевер нежный  
И, словно лентою, обвито все межою,  
Где груши тихие не шелохнут листвою.

Среди таких полей, разубранных богато,  
На берегу ручья, в березняке, когда-то  
Стоял шляхетский дом, вполне обыкновенный;  
Еще издалека его белели стены  
На фоне тополей, рассаженных вдоль сада  
И защищавших дом от бурь и снегопада.  
Дом старый, небольшой, но, видно, всё в достатке.  
Вот рига, три скирды стоят пред ней в порядке,—  
Как видно, места нет для хлеба у хозяев:  
Считают, что нигде нет лучше урожаяв.  
И видно по снопам пшеницы золотистым,  
Что вдоль борозд блестят, как звезды в небе чистом,  
И по числу плугов, что вспахивают рано  
Под пар обширные поля в поместьях пана,  
Возделанные так, как в огороде грядки,—  
Что панский дом богат, содержится в порядке.  
И объявляют всем открытые всрота,  
Что рады здесь гостям, была б гостить охота.

Вот шляхтич молодой подъехал в бричке парой,  
Объехал двор, свернул к крыльцу усадьбы старой  
И, соскочив, бежит. И лошади, лениво  
Сгоняя мух, траву жуют неторопливо.  
Дом пуст, как нежилой, входная дверь закрыта,  
И колышек в кольце — нехитрая защита.  
Но юноша был рад, что мешкает прислуга,  
Он дверь открыл, чтоб дом приветствовать, как друга,—  
Он в город был давно отправлен из имения,  
Учился там и вот дождался возвращенья.

И жадно юный гость глядит на стены дома,  
Обходит все углы,— здесь все ему знакомо,  
Все та же мебель здесь, старинное наследство,  
Здесь каждый стул ему напоминает детство.  
Он узнает вокруг знакомые предметы;  
Все те же по стенам развешаны портреты:  
В чамарке краковской с горящими глазами  
Костюшко держит меч обеими руками \*—  
Таким он был, когда отчизне клялся свято  
Трех деспотов изгнать или встретить смерть солдата  
С мечом своим в руках. А вот Рейтан печальный \*  
Скорбит о лучших днях, о вольности опальной;  
Он острием к груди приставил нож точеный,  
А перед ним лежат «Федон» и «Жизнь Катона» \*.  
А там Ясинский пан, красавец своенравный \*,  
И Корсак рядом с ним, его товарищ славный \*,  
В окопах, под огнем, дерутся с москалями,  
А Прага уж горит, повсюду дым столбами.  
И старые часы он видит у алькова,  
Он сразу их узнал и детство вспомнил снова;  
И вот он за шнурок схватился, как бывало,  
Чтоб вновь Домбровского мазурка зазвучала \*.

И в нетерпенье гость бежит по коридору:  
Он ищет комнату, где жил в былую пору.  
Вошел и обомлел,— оглядывает стены:  
Какие здесь с тех пор случились перемены!  
Здесь женщина живет! Но тетушка в столице,  
А дядя холостяк... Откуда ж быть жилище?  
Не экономка ли? А это фортепьяно?  
И стопка книг на нем... Все это очень странно.  
Вот кипа старых нот, исписанных тетрадок...  
Чьи ручки здесь творят прелестный беспорядок?  
Кто платье белое на креслах, возле горки,  
Повесил, чтоб не смять крахмальные оборки?  
Цветочные горшки пестреют вдоль окошек —  
Фиалки и герань, левкой и горошек.  
Он подошел к окну, взглянул — и снова диво:  
У огорода, где росла одна крапива,  
Теперь разбит цветник нарядный и богатый  
С английскою травой и голубою мятой,

Сплетенный в виде цифр забор \*, и от калитки,  
Как яркая кайма, пестреют маргаритки.  
Должно быть, политы еще недавно грядки —  
С водою лейку он заметил возле кадки.  
Но где ж садовница? Она здесь близко где-то, —  
Калитка, только что ее рукой задета,  
Качается еще... Садовые дорожки  
Еще хранят следы прелестной босоножки:  
На мелком и сухом песке белее снега  
Отчетлив легкий след; должно быть, он с разбега  
Был ножкой маленькой оставлен здесь, — казалось,  
Что панна на бегу едва земли касалась.

Приезжий у окна остался в ожиданьи,  
Вдыхая аромат левкоев и герани.  
Прильнув лицом к цветам, стоявшим на окошке,  
Он взором пробежал пустынные дорожки  
И снова на следах глазами задержался,  
Все думал: чьи они? Гадал — не догадался!  
Вдруг девушку вдали увидел на ограде...  
И солнца луч играл на утреннем наряде,  
Что только стройный стан и грудь облек холстиной,  
Не скрыв ни нежных плеч, ни шеи лебединой.  
Литвинка по утрам бывает так одета,  
Не видит глаз мужской такого туалета,  
И хоть в саду никто не мог бы помешать ей,  
Она закрыла грудь, придерживая платье.  
И светлые пучки ее льняных коротких  
Волос, накрученных на белых папильотках,  
От солнечных лучей, на неба светлом фоне,  
Светились вокруг чела, как венчик на иконе.  
Лица не видел он: она вполоборота  
Сидела на плетне, высматривая что-то.  
Увидела — и вот захлопала в ладоши;  
Как ласточка, с плетня на луг, травой поросший,  
Вспорхнула и бежит по зелени газона  
И по доске, концом к окошку прислоненной,  
И, лишь вбежав в окно, перевела дыхание,  
Тиха, светла, легка, как месяца сиянье;  
Взяв платье, к зеркалу поспешно подлетела,  
Но, гостя увидав, с испугу побледнела

И. платье выронив, на миг остолбенела...  
Смутился юноша и стал еще румяней,  
Так облако горит, с зарей встречаясь ранней.  
Он опустил глаза, рукою заслонился,  
Хотел заговорить, но только поклонился  
И отступил назад... И, как дитя спросонок,  
Вдруг вскрикнула она, сама полуребенок,  
Пришелец поднял взор — ее как не бывало!  
Смущенный вышел он, а сердце все стучало.  
О встрече думал он, — не мог он разобраться:  
Обрадоваться ль ей, иль только посмеяться?

На фольварке меж тем уже заговорили,  
Что гости к их крыльцу на бричке прикатили.  
Уж распрягли коней и, как обыкновенно,  
Засыпали овса и накидали сена.  
Судья не подражал новейших мод затеям, —  
Чужих коней на корм не отсылал к евреям.  
Хоть гость не встретил слуг, но думать не должны вы,  
Что в доме у Судьи служили нерадиво.  
Пан Войский ждать велел, пока он нарядится, —  
Он ужином в саду спешил распорядиться.  
В отсутствии Судьи он заменял обычно  
Хозяина и сам встречал гостей отлично  
(Был родственником он Судьи и близким другом).  
Узнав, что в доме гость, он дал наказы слугам  
И, чтобы не встречать приезжих в пудермане\*,  
Пошел надеть костюм, который был заране,  
Еще с утра, готов и был сегодня нужен  
Затем, что пан гостей сегодня ждал на ужин.

Пан Войский второпях сменил простое платье  
И, гостя отыскав, раскрыл ему объятья;  
Пошли расспросы, смех, тот разговор, в котором  
Событья многих лет словами, жестом, взором  
Хотят изобразить, вопросы и ответы,  
Рассказы, возгласы и новые приветы.  
И, только разузнав подробности прибытья,  
Пан гостю рассказал последние события\*.

«Тадеуш! (Юный гость был назван в честь Костюшки,  
Родился он на свет, когда гремели пушки

И мысленно его он тут же заполняет.  
Догадки бегают без удержа, без счета,  
Как после дождика лягушки средь болота.  
Но образ царственный затмил все остальное,  
Как лилия чело вздымая над волною.

Тут Подкоморий сам, придвинув кур со спаржей,  
Стал дочек угощать, наполнил рюмку старшей  
И, младшей поднеся тарелку с огурцами,  
Сказал: «Я буду сам ухаживать за вами,  
Хоть стар и неуклюж...» И юноши вскочили,  
И тотчас юных пани в смущенье окружили.  
И на Тадеуша хозяин покосился,  
Гостям венгерского налить распорядился  
И молвил: «Новый мы обычай уважаем,  
Учиться молодежь в столицу посылаем,  
И я готов признать, что сыновья и внуки  
Постигли лучше нас премудрости науки,  
Да жаль, не учат их, как жить с людьми и светом,  
Теперь учителя не думают об этом.  
Бывало, при дворе жил юный шляхтич годы,—  
Я сам лет десять жил у пана воеводы \*,  
У Подкоморьего отца (и он с почтеньем,  
Слегка склонясь, к его притронулся коленям),  
И длилась до тех пор та мудрая опека,  
Покуда из меня не сделал человека.  
Здесь, в доме у меня, священна память пана,  
И бога за него молю я постоянно.  
И если не сумел я важных дел содеять,  
И, возвратясь домой, я стал пахать да сеять,  
Тогда как многие воспитанники пана  
Достигли, возмужав, и почестей, и сана,  
То все ж у пана я не прожил бесполезно  
И никого еще не встретил нелюбезно.  
Поверьте мне, друзья,— искусство обхожденья  
Дается не легко и требует уменья,  
И вежливость не в том, чтоб перед кем попало  
Ногою шаркнуть, нет,— в том толку будет мало,  
Купечеству под стать, но старопольской знати,  
Шляхетству гордому та вежливость некстати!  
Со всеми должно нам любезными быть в свете,

Но на различный лад. Ведь вежливы и дети,  
Учтив с женою муж, любезен пан с лакеем,  
Но эту вежливость мы различать умсем.  
Учитесь, чтоб секрет ее понять могли вы:  
Мы с каждым быть должны по-разному учтивы.  
Так панов разговор, беседа круговая —  
Была и есть страны история живая.  
У шляхты разговор шел о делах повета,  
Чтоб шляхтич мог узнать об уваженье света,  
Что шляхта им горда, дела его проведая,  
И шляхтич дорожил обычаями дедов.  
А нынче никого не спросят: чей ты? кто ты?  
Повсюду всякий вхож, и нет о том заботы,  
Лишь был бы не шпион, не нищий, не мошенник, —  
Вот так Веспассиан не нюхал грязных денег \*,  
Не ведал: чьи они? Лишь стали бы доходом.  
Так человека мы не спросим — кто он родом,  
Была б на нем печать да спесь в глазах сияла,  
Вот так и чтим друзей, как деньги чтит меняла».

И тут Судья гостей окинул беглым взором,  
Боясь, что утомил их длинным разговором.  
Хоть он и говорил разумно и красиво,  
Он знал, что молодежь теперь нетерпелива.  
Но слушали его все гости со вниманьем.  
На Подкомория взглянул он с колебаньем,  
Но тот не прерывал его нравоученья,  
Лишь молча головой кивал для поощренья.  
Судья умолк, и вновь его товарищ старый  
Дал знак, чтоб продолжать. Судья наполнил чары  
И продолжал: «Когда искусство обхожденья  
Постигнем мы вполне, чтоб воздавать почтенье  
Обычаям, летам и доблести отменной,  
Мы цену и себе узнаем непременно.  
Так, чтобы на весах значимость взвесить нашу,  
Кладем противовес мы на другую чашу.  
И можем, лишь пройдя особенную школу,  
Учтивость оказать прекраснейшему полу.  
Особенно, когда могучая природа  
Сплетает красоту и благородство рода.  
Отсюда путь к любви, союз домов, фамилий, —

Пан Войский свечи взял и вышел в сени с Возным.  
Там спорили они, и повод был серьезным,—  
Пан Возного бранил за то, что он отсюда  
Велел перенести столы со всей посудой  
И ужин накрывать, не помня уговора,  
В том замке, что вдали темнел на фоне бора.  
Зачем переносить? Пан Войский рассердился.  
Пошел спросить Судью; хозяин удивился,  
Но дело сделано, и принял он решение:  
Коль так, он у гостей попросит извиненья.  
Сам Возный, находу, с Судьею объяснился,  
Как вышло, что приказ он отменить решился:  
Господский тесен дом, в нем комнат нет парадных,  
Чтоб разместить гостей таких незаурядных.  
А в замке сени есть, где сохранились своды;  
Хоть в окнах стекол нет, но для такой погоды  
В них нет нужды, зато все погреба здесь рядом...  
И он в глаза Судьи взглянул лукавым взглядом.  
И догадался пан по этой хитрой мине,  
Что ужин перенес он по другой причине.

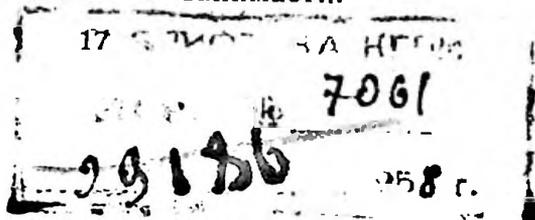
В двух тысячах шагов от дома замок хмурый  
Стоял, внушительной гордясь архитектурой.  
В нем жил Горешков род. Но начались волнения,  
Владелец был убит. Старинное имя  
Секвестрами, судом, опекой разрушалось,  
В наследство часть его родне потом досталась  
По женской линии. И, завершая споры,  
Остатки меж собой делили кредиторы.  
На замок между тем никто не покушался,—  
Он мог бы разорить того, кто с ним связался.  
И только Граф, богач, живущий по соседству,  
Горешков родственник, оспаривал наследство.  
Из странствий возвратясь, увидел он руины  
И счел за готику постройки стиль старинный,  
Хоть утверждал Судья, что замок тот фамильный  
Не готом возведен, а мастером из Вильны.  
У Графа он решил оспаривать наследство,  
Затеял тяжбу с ним, чем удивил шляхетство,  
Иск слушал земский суд, губернское правление,  
Сенат и снова суд, писались отношенья\*.

Расходы всё росли, и, наконец, вторично  
Оттуда иск Судьи вернулся в суд граничный.

Был Возный прав — в сенях старинного строения  
Хватило места всем, кто принял приглашение.  
Огромные столбы поддерживали своды,  
Пол камнем выложен, ни фрески, ни разводы  
Не украшали стен, — одни рога оленьи,  
Под ними надписи: когда, в каком именье  
Трофеи те добыл охотник именитый;  
На мраморе гербы охотничьи прибиты,  
И, наконец, вверху, фамильный герб у входа —  
Горешков «козерог» на темном фоне свода.

Все гости вдоль стола столпились в полном сборе.  
Все ждали, чтоб прошел на место Подкоморий, —  
Он заслужил почет и возрастом и чином, —  
Шагая, кланялся он дамам и мужчинам,  
За ним, поодаль, ксендз \*, хозяин посредине.  
Ксендз громко прочитал молитву по-латыни,  
Мужчины выпили; и сели все в молчанье, —  
Литовский холодец привлек гостей вниманье.

Тадеуш был как гость не по летам уважен,  
С почетом, возле панн, с Судьею был посажен.  
Но место между ним и дядей оставалось  
Незанятым — оно как будто дожидалось  
Того, кто опоздал. Ведя беседу живо,  
Судья поглядывал на дверь нетерпеливо —  
Кого-то ждал. Следя за дядюшкиным взглядом,  
Тадеуш все глядел на стул, стоящий рядом,  
И странно: вокруг него так много женщин было,  
Таких, чья красота и принца бы пленила,  
Красивы и знатны, одетые нарядно,  
Но лишь на стул пустой глядел Тадеуш жадно.  
Как всякий юноша, он был пленен загадкой,  
Рассеянный, на дверь поглядывал украдкой,  
Соседку по столу ничем не угощает,  
Не предлагает вин, тарелок не меняет,  
И юных панн, едва окинув беглым взором,  
Не занимает он столичным разговором.  
Лишь стул пустой его манит и занимает...



И мысленно его он тут же заполняет.  
Догадки бегают без удержа, без счета,  
Как после дождика лягушки средь болота.  
Но образ царственный затмил все остальное,  
Как лилия чело вздымая над волною.

Тут Подкоморий сам, придвинув кур со спаржей,  
Стал дочек угощать, наполнил рюмку старшей  
И, младшей поднеся тарелку с огурцами,  
Сказал: «Я буду сам ухаживать за вами,  
Хоть стар и неуклюж...» И юноши вскочили,  
И тотчас юных панн в смущенье окружили.  
И на Тадеуша хозяин покосился,  
Гостям венгерского налить распорядился  
И молвил: «Новый мы обычай уважаем,  
Учиться молодежь в столицу посылаем,  
И я готов признать, что сыновья и внуки  
Постигли лучше нас премудрости науки,  
Да жаль, не учат их, как жить с людьми и светом,  
Теперь учителя не думают об этом.  
Бывало, при дворе жил юный шляхтич годы,—  
Я сам лет десять жил у пана воеводы\*,  
У Подкоморьего отца (и он с почтеньем,  
Слегка склонясь, к его притронулся коленям),  
И длилась до тех пор та мудрая опека,  
Покуда из меня не сделал человека.  
Здесь, в доме у меня, священна память пана,  
И бога за него молю я постоянно.  
И если не сумел я важных дел содеять,  
И, возвратясь домой, я стал пахать да сеять,  
Тогда как многие воспитанники пана  
Достигли, возмужав, и почестей, и сана,  
То все ж у пана я не прожил бесполезно  
И никого еще не встретил нелюбезно.  
Поверьте мне, друзья,— искусство обхожденья  
Дается не легко и требует уменья,  
И вежливость не в том, чтоб перед кем попало  
Ногою шаркнуть, нет,— в том толку будет мало,  
Купечеству под стать, но старопольской знати,  
Шляхетству гордому та вежливость некстати!  
Со всеми должно нам любезными быть в свете,

Но на различный лад. Ведь вежливы и дети,  
Учтив с женою муж, любезен пан с лакеем,  
Но эту вежливость мы различать умсем.  
Учитесь, чтоб секрет ее понять могли вы:  
Мы с каждым быть должны по-разному учтивы.  
Так панов разговор, беседа круговая —  
Была и есть страны история живая.  
У шляхты разговор шел о делах повета,  
Чтоб шляхтич мог узнать об уваженье света,  
Что шляхта им горда, дела его проведая,  
И шляхтич дорожил обычаями дедов.  
А нынче никого не спросят: чей ты? кто ты?  
Повсюду всякий вхож, и нет о том заботы,  
Лишь был бы не шпион, не нищий, не мошенник,—  
Вот так Веспассиан не нюхал грязных денег\*,  
Не ведал: чьи они? Лишь стали бы доходом.  
Так человека мы не спросим — кто он родом,  
Была б на нем печать да спесь в глазах сияла,  
Вот так и чтим друзей, как деньги чтит меняла».

И тут Судья гостей окинул беглым взором,  
Боясь, что утомил их длинным разговором.  
Хоть он и говорил разумно и красиво,  
Он знал, что молодежь теперь нетерпелива.  
Но слушали его все гости со вниманьем.  
На Подкомория взглянул он с колебаньем,  
Но тот не прерывал его нравоученья,  
Лишь молча головой кивал для поощренья.  
Судья умолк, и вновь его товарищ старый  
Дал знак, чтоб продолжать. Судья наполнил чары  
И продолжал: «Когда искусство обхожденья  
Постигнем мы вполне, чтоб воздавать почтенье  
Обычаям, летам и доблести отменной,  
Мы цену и себе узнаем непременно.  
Так, чтобы на весах значимость взвесить нашу,  
Кладем противовес мы на другую чашу.  
И можем, лишь пройдя особенную школу,  
Учтивость оказать прекраснейшему полу.  
Особенно, когда могучая природа  
Сплетает красоту и благородство рода.  
Отсюда путь к любви, союз домов, фамилий,—

Судьям же — так дела нас учили.  
А судья вдруг повернулся боком  
И ласково взглянул на юношу с упрямом.  
И всем нам всем, что речь была уроком.

А Подкожный пан вдруг щелкнул табакеркой,  
Сказав: «Мой друг, а я иной бы мерил меркой,  
Что может старик нас, меняет мода тоже,  
Но все же вижу я пороков в молодежи.  
В дровах как сейчас, когда в былые годы,  
А ты Подкожу схватила азарт французской моды,  
Чтом жем-жем глянцу, менять порядок старый,  
Пальто да юбка, похуже, чем татары,  
Секретная все — обман, понятия,  
Столбиком все уклад и дедовское платье;  
Видно ждем гадеть на шик молокососа,  
Иногда в нос, а часто и без носа,  
И эти франки, читающих газеты,  
Иногда везет, законы, туалеты.  
Иногда убого! Ведь так всегда бывает,  
Иногда вперед за что-нибудь карает,  
Он вперед его лишает первым делом.  
Иногда твоя пред сбродом оголтелым.  
Иногда из вперед боялся, как проказы,—  
Иногда что ему не миновать заразы.  
Иногда жидков, чтоб тут же подражать им  
Иногда вперед законами и платьем.  
Иногда отступил — пришла иная доля,  
Иногда отступил великий пост — неволя!

Иногда в ребяком был, но помню, к нам в Ошмяны\*  
Иногда приехал Подчаший\*, гость незванный.  
Иногда жиды, он в коляске ездил узкой  
И первый из Лите надел костюм французский.  
Иногда за жидком, за ним гонялись следом,  
Иногда жидку, кто был его соседом,  
Иногда у жидку ждала его двуколка,  
Иногда французский лад звалась тогда «карволька»\*.  
Иногда жидком пан держал не слуг — болонок,  
Иногда жидкура, как жердь высок и тонок,  
Иногда жидком обтнутые ляжки

В чулках, на башмаках серебряные пряжки,  
На голове парик, в мешке коса,— потеха!  
Бывало, старики покатытся со смеха.  
Крестились мужики, что, мол, погнал по свету  
Венецианский черт \* немецкую карету.  
Каков Подचाший был, рассказывать не стану.  
Казалось нам, что он похож на обезьяну.  
В громадном парике, как принято в Париже,—  
Он золотым руном прозвал колтун свой рыжий.  
Но тот, кто признавал, что польские наряды  
Приятней и милей, чем эти маскарады,  
Был вынужден молчать, не то иной повеса  
Мог заклеить его противником прогресса.—  
В то время всякий мог прослыть за мракобеса!

Подचाший объявил, что вводит он реформы,  
Что новые внушить он призван шляхте нормы,  
Мол, нынче сделано французами открытье,  
Что люди все равны, и это, мол, событие.  
Хоть это знаем мы из божьего закона,  
Про это каждый ксендз нам говорит с амвона,—  
Наука-то стара, да дело в примененье! —  
Но в те года никто не верил в ослепленье  
Старинным истинам, известным всем на свете,  
Коль не было о них написано в газете.  
Крича о равенстве, Подचाший стал маркизом,  
Чтоб подражать во всем парижских мод капризам,—  
В то время всякий там стремился стать маркизом.  
Однако время шло, и мода виновата,  
Что этот же маркиз взял титул демократа.  
Когда же занят был престол Наполеоном,  
К нам прибыл демократ из Франции бароном.  
Когда б он дольше жил, на счастье внучатам,  
Он мог бы снова стать примерным демократом.  
Париж недаром всех меняет, как по знаку,—  
Что выдумал француз, то по душе поляку.

Теперь же молодежь, хоть странствует по свету,  
Но не затем, чтоб там учиться туалету,  
Иль истину искать в лавчонках букинистов,  
Иль шлифовать язык в кафе, среди артистов.

Теперь Наполеон, имея твердый норов,  
Досуга не дает для мод и разговоров.  
И радуемся мы, что пушки снова в силе,  
Что о поляках все опять заговорили \*,  
Что Польшу ждет расцвет, как и в былые годы,—  
Где лавры, там цветет и дерево свободы!  
Но грустно мне, друзья, что год за годом срока  
В бездействии мы ждем... Они еще далеко!  
Так долго нет вестей! (И, к ксендзу обращаясь,  
Вполголоса сказал.) Отец, узнал я, каюсь,  
Что из-за Немана ты вести получаешь... \*  
Быть может, что-нибудь о нашем войске знаешь?»  
«Да ровно ничего! — ответил ксендз соседу,  
Казалось, не хотел он продолжать беседу.—  
Политик я плохой, не вижу в том забавы.  
И если иногда мне пишут из Варшавы  
Об орденских делах, то это, как известно,  
Вам, светским людям, знать совсем неинтересно».

И он взглянул туда своим лукавым взором,  
Где русский капитан был занят разговором.  
Близ фольварка, в селе, стоял он на квартире  
И был Судьею зван принять участие в пире.  
Он мало говорил, но сл и пил на славу,  
И тотчас поднял взор, услышав про Варшаву.  
«Пан Подкоморий, вы всегда с таким азартом  
Стремитесь разузнать про Польшу с Бонапартом!  
Я не шпион, но я по-польски малость знаю.  
Отечество! Ну что ж, я это понимаю!  
Вы ляхи, я москаль, мы нынче не враждуем,  
Теперь меж нами мир, и вместе мы пируем.  
На аванпостах так с французом русский дружен,  
Пьет водку, вдруг: ура! стреляй! И кончен ужин.  
Недаром говорят: люби дружка, как душу,  
А все-таки, притом, тряси его, как грушу.  
Да что там говорить! Война начнется скоро...  
Из штаба адъютант был нынче у майора:  
Готовиться в поход! Там с турками баталья,  
Не то с французами... Ну, Бонапарт — каналья!  
Он без Суворова потреплет нас, пожалуй,  
Недаром в ту войну болтал народ бывалый,

Что Бонапарт колдун. Да только наш Суворов  
Не хуже был знаком с искусством наговоров.  
Однажды Бонапарт исчез во время боя.  
Все ищут — где? А он прикинулся лисою.  
Суворов стал борзой, — имел он хитрый норов.  
Стал кошкой Бонапарт, но стал конем Суворов!  
И кошка от коня удрала чуть живая...»  
Тут он умолк, стал есть, венгерским запивая,  
Вошел лакей, и дверь раскрылась боковая.

В зал женщина вошла. И это появление  
Тотчас же вызвало повсюду оживление,  
Как со знакомой, с ней здоровались учтиво.  
Она была стройна, нарядна и красива;  
Грудь пышная была прикрыта кружевами,  
Ткань платья выткана атласными цветами,  
Над низким вырезом из кружева овальный  
Воротничок; в руках прелестный веер бальный;  
Она играла им, и при движеньях быстрых  
Казался он огнем, теряющимся в искрах.  
Головка создана, казалось, для прически!  
На буклях узких лент блестящие полоски,  
В кудрях сверкал брильянт, меж лентами продетый,  
Как яркая звезда блестит в хвосте кометы.  
Но праздничный наряд казался строгим паннам,  
В деревне, в будний день, и вычурным и странным.  
Хоть платье коротко, но ножки юбка скрыла, —  
Так быстро шла она, но нет, не шла — скользила,  
Как куклы резвые на балаганной вышке,  
Которых дергают за ниточку мальчишки.  
Приветствуя гостей улыбкою и взглядом,  
На место сесть она с Судьей спешила рядом.  
Но как туда пройти? Со всех сторон скамьями  
Был загорожен стол, все занято гостями.  
Шагать через скамью для женщины зазорно...  
И вот, меж двух скамей протиснувшись проворно,  
У самого стола красotka очутилась  
И, как бильярдный шар, по ряду покатилась.  
Тадеуша ногой коснулась, пробегая,  
Но зацепилась вдруг оборка кружевная.  
Запнувшись, рядом с ним она остановилась

И на плечо его на миг облокотилась,  
Но тотчас, извинясь, на место чинно села,  
Меж ним и дядюшкой; но ничего не ела,  
И не дотронулась до полного бокала,  
То ручкой веера рассеянно играла,  
То кружев дорогих рукой касалась нежной,  
То локон трогала на шее белоснежной.

Минуты три прошло в натянутом молчанье.  
Но оживилось вновь веселое собранье.  
Тут кто-то чокнулся, там засмеялся кто-то,  
Мужчины вспомнили подробности охоты,  
Ассессор стал вести с Нотариусом споры —  
Он Куцего бранил, борзую, от которой  
Юрист был без ума, и спорил, утверждая,  
Что зайца на глазах взяла его борзая.  
Ассессор возражал и, в пику правоведу,  
Не ей, а Соколу приписывал победу.  
Вступили гости в спор, всем нравились борзые, —  
За Куцего одни, за Сокола другие,  
Тот слушал знатоков, а этот очевидца.  
Меж тем Судья спешил пред гостьей извиниться.  
Он тихо ей сказал: «Прошу прощенья, пани,  
Я ужин задержать не видел оснований,  
Все были голодны, устали на охоте.  
Я думал, ужинать вы с нами не пойдете».  
Сказал и, обратясь к почтенному соседу,  
Стал о политике с ним продолжать беседу.

В то время как весь стол пустился в разговоры,  
Тадеуш, охмелев, кидал на гостью взоры.  
Он вспомнил, что, едва окинув кресло взглядом,  
Он догадался вмиг, кого посадят рядом.  
И он краснел, бледнел, и сердце громко билось,  
Так, значит, был он прав — догадка подтвердилась!  
Та самая, кого он встретил здесь так странно,  
Сидела рядом с ним. Хоть, правда, эта панна  
Казалась чуть стройншей и выше; впрочем, это  
Могло произойти от смены туалета.  
И волосы у той, казалось, золотые,

У этой черные и туго завитые...  
Но, верно, солнца луч тот отблеск придавал им —  
Он на закате все окрашивает алым.  
Лица не разглядел, но знал — она красива,  
Он рисовал его в воображенье живо,  
И черные глаза, и розовые губки,  
Как вишни-близнецы, и маленькие зубки...  
Да, эти же глаза, и рот такой же алый,  
Лишь было в возрасте различие, пожалуй,—  
Казалась юною садовница, и странно,  
Что зрелой женщиной была красотка-панна.  
Но дела нет ему до возраста соседки,  
Для юноши не все ль красотки однолетки?  
Красавиц всех готов считать он за ровесниц,—  
Так мнят влюбленные невинными прелестниц.

Хоть шел двадцатый год Тадеушу, и с детства  
Он в шумной Вильне жил среди знатного шляхетства,  
Но он у ксендза рос, и старый ксендз наставил  
И воспитал его согласно строгих правил.  
Так прибыл и сюда, в поместье родовое,  
С невинным сердцем он и с чистою душою.  
Но, вместе с тем мечтал, что в дядином именье,  
Он разрешит себе любое развлеченье,  
Попользуется всласть свободой долгожданной.  
Он знал, что он красив, был бодрый и румяный,  
Родители его здоровьем наградили,  
Ведь он Соплицей был, а все Соплицы были  
Здоровы, первые в бою и на дуэли,  
К наукам, разве что, не слишком тяготели.

Тадеуш был в родню, как отпрыск их типичный,  
Наездник неплохой и пешеход отличный.  
К наукам с малых лет не чувствовал призванья,  
Хоть денег не жалел Судья на воспитанье,  
Отлично фехтовал, в стрельбе не знал примера,—  
Решив, что ждет его военная карьера.  
Так завещал отец. Отправленный к плебану,  
Он в школе много лет скучал по барабану.  
Но передумал вдруг решительный Соплица,  
Племяннику велел приехать и жениться.

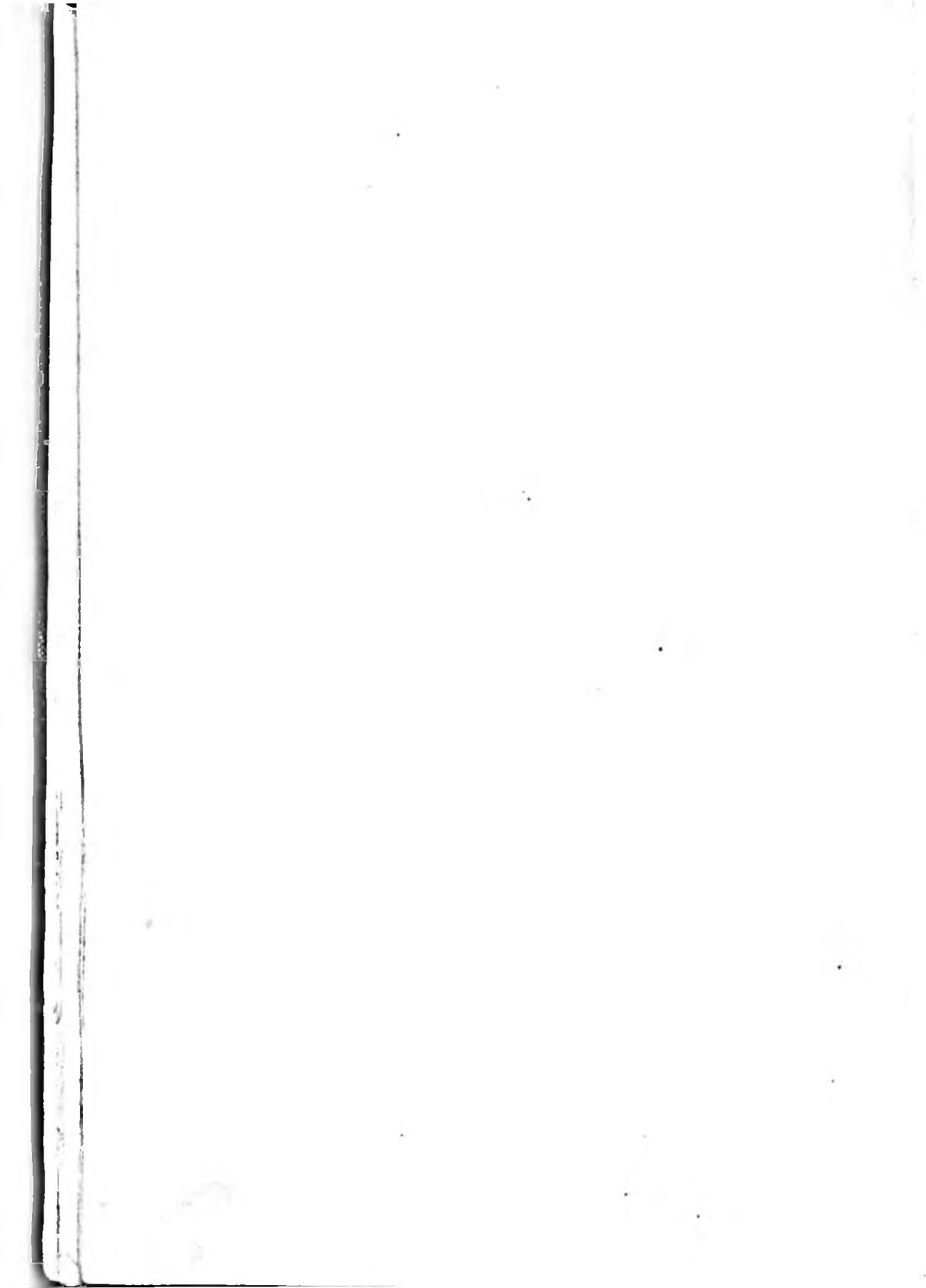
Он обещал ему, когда сыграет свадьбу,  
Деревню отказать, а позже — всю усадьбу.

Достоинства его заметила соседка,—  
Как женщина, она в том ошибалась редко.  
Отметила она, что юноша был статен,  
Высок, широкоплеч, любезен и приятен.  
Взглянув ему в лицо, решила без ошибки,  
Что он еще краснел от взгляда и улыбки.  
Но, робость поборов, взглянул он без смущенья,  
Взглянула и она,— и с этого мгновенья  
Две пары жадных глаз, соединяя пламя,  
Горели, сблизившись, как свечи в божьем храме.

И по-французски с ним заговорила пани  
О модных авторах, о вышедшем романе,  
Недаром прибыл он из города большого.  
И, получив ответ, заговорила снова,  
Пустилась разбирать старинные гравюры,  
Коснулась музыки и, наконец, скульптуры!  
Со всем она была знакома в равной мере.  
Тадеуш обомлел, ушам своим не веря,  
Боялся, что она начнет над ним смеяться,  
И, словно ученик, он начал заикаться.  
Учитель, к счастью, был красивый, но не строгий.  
Соседка, угадав предмет его тревоги,  
Оставила тотчас искусства и науки  
И стала говорить о деревенской скуке,  
О том, какие здесь доступны развлечения,  
Чтоб сделать сносной жизнь, сменяя впечатленья.  
Тадеуш осмелел, они разговорились,  
И часа не прошло, как оба подружились.  
Тут пошутить она с Тадеушем решила:  
Три хлебных шарика на выбор предложила.  
Он выбрал наугад, и этой шуткой вольной  
Соседки по столу остались недовольны.  
Красавица, смеясь, счастливый шарик смяла,  
Но что он означал, соседу не сказала.

В другом конце стола вели себя иначе.  
Там обе стороны вступили в спор горячий,





Те, кто за Сокола, схватились жарко с теми,  
Кто был за Куцего; страсть овладела всеми.  
Забыв про кушанья, мужчины пили стоя  
И спорили. Юрист кричал без перебоя,  
Как тетерев весной, не слыша, не внимая  
И жестами, к тому ж, картину дополняя  
(Был адвокатом встарь нотариус Болеста  
И говорить не мог без мимики и жеста).  
Так руки он согнул, уперся в стан локтями,  
И, вытянув персты с огромными ногтями,  
Изобразил борзых, и, увлечен рассказом,  
Как закричит: «Ату! Мы их пустили разом!  
Псы бросились вперед, — к чему тут кривотолки! —  
Как будто два курка спустили у двустволки!  
Ату! А заяц шмыг! Псы следом, по науке  
(При этом вдоль стола протягивал он руки  
И пальцами борзых изображал движенье),  
Псы следом! Заяц — в бор. Представьте положенье!  
Тут Сокол вырвался, но он кобель горячий,  
Я знал, что эта прыть не кончится удачей!  
Русак перехитрил, глядим, — свернул из бора  
И в поле сиганул, за ним по следу свора...  
Да заяц-то хитер! Направо, глядь — канава, —  
Он кубарем — туда! Собаки вслед, направо,  
А он налево — шась! И тут же в роще скрылся.  
Собаки вслед... Тогда мой Куцый изловчился  
И цап его!..» И тут Нотариус перстами  
Представил бег собак и длинными руками  
Той стороны стола достиг единым духом  
И «цап» уже орал Тадеушу над ухом.  
Заметно вздрогнула соседка от испуга,  
Умолкли оба вдруг, отпрянув друг от друга.  
Так ветер иногда разъединяет буки,  
Сплетенные в тиши. Отдернув быстро руки,  
Что сблизили они при дружеской беседе,  
Мгновенно вспыхнули смущенные соседи.

Тадеуш, чтоб ничем не выказать смущенья,  
Сказал Юристу: «Что ж, ваш Куцый, без сомненья,  
Красив, и если он, к тому ж, имеет хватку...»

«Что?! Хватку?! Чтобы я к такому недостатку  
Был слеп? — вскричал Юрист. — Такой кобель! Да где  
уж!

Такого больше нет!» Тут поспешил Тадеуш  
Собаку похвалить, чтоб пана не обидеть,  
Жалел, что не пришлось вблизи ее увидеть,  
Чтоб оценить... Тогда Ассессор, бывший близко,  
Тадеуша пронзил глазами василиска.  
Он был не так криклив и менее подвижен,  
Чем правовед, был худ и ростом был обижен,  
Но страшен был везде: на сеймике, среди бала,—  
Считали, что имел он не язык, а жало,  
Ехидно он острил и так, бывало, кстати,  
Что взял бы Календарь те шутки для печати.  
Наследство получил, когда-то жил богато,  
Но промотал его и с ним именье брата,  
Все дочиста спустил, вращаясь в высшем свете,  
И вот теперь служил, чтоб вес иметь в повете\*.  
Охоту он любил отчасти для забавы,  
Отчасти же за то, что звук рогов облавы  
Напоминал ему его былые годы,  
Когда держал он псов отличнейшей породы.  
Из псарни двух борзых пришлось теперь оставить,  
А тут одну из них еще хотят ославить!  
Он ближе подошел, с досадой, плохо скрытой,  
И улыбнулся всем улыбкой ядовитой:  
«Борзая без хвоста, как шляхтич без поместья.  
Хвост ей необходим! Сознайтесь же по чести,  
Что звать достоинством пороки — заблужденье.  
А впрочем, вы могли б спросить об этом мненья  
У вашей тетушки. Хоть пани Телимена  
В столице, а не здесь жила обыкновенно,  
Но знает толк в борзых,— ведь в том-то вся и штука,  
Что только с возрастом приходит к нам наука!»

Тадеуш обомлел, сражен таким ударом,  
Растерянный стоял и молча, в гневе яром,  
Смотрел на наглеца, мечтая об отпоре.  
Но дважды тут чихнул, по счастью, Подкоморий.  
Все крикнули: «Виват!», и только хор умолкнул,  
Он поклонился всем и табакеркой щелкнул,—

Сияла, как огонь, алмазная оправа,  
Украшена внутри портретом Станислава \*,  
Сей дар король отцу поднес собственноручно,  
И, к сыну перейдя, при нем был неотлучно.  
Когда он щелкал так, то это означало,  
Что хочет говорить, и всё вокруг смолкало.  
Сказал он: «Господа! Дивлюсь я вашим спорам!  
Одни луга да лес борзых и ловчих форум.  
Я сроду дел таких в хоромах не решаю  
И ваши прения сегодня прекращаю.  
Отложим этот спор. На завтра, Возный, в поле  
Перенеси процесс — там всё решим, тем боле,  
Что завтра к нам и Граф прибудет с егерями.  
Вас также, пан Судья, я приглашаю с нами,  
Всех барышень и панн, и пани Телимену,  
Устроим славный лов и псам узнаем цену.  
Поможет Войский нам, и будет все на диво!»  
И Войскому табак он протянул учтиво.

Пан Войский среди гостей сидел и слушал споры,  
Но сам он не вступал с гостями в разговоры,  
Хоть мнение его считалось самым ценным,—  
Недаром Войский слыл охотником отменным.  
Он молча взял табак, вином наполнил кружку  
И долго пред собой еще держал понюшку,  
Поднес, чихнул, и зал ответил гулким эхом,  
И, голову склонив, сказал он с горьким смехом:  
«Ох, как мне, старику, и больно и досадно,  
Уж, верно, в старину дивились бы изрядно,  
Узнав, что шляхтичи поставили задачей  
Решить: хорош иль плох какой-то хвост собачий!  
Что б нам сказал Рейтан, когда бы ожил снова? \*  
Да он в могилу б лег от такого слова!  
А Неселовский пан, охотник именитый,  
Чьи своры до сих пор повсюду знамениты?  
Две сотни егерей в его поместье панском  
И сто возов сетей при замке Ворончанском,  
А дома, как монах, уж сколько лет — без счету! —  
Сидит он и ни с кем не ездит на охоту!  
Бялопетрович звал, и то не пожелал он!  
Так что бы с вами-то, скажите, делать стал он?»

Что стали б говорить о славном воеводе,  
Когда б он зайцев стал гонять по новой моде?  
Смешно! Шляхетский зверь — как в старину считали —  
Кабан, медведь да волк, а прочих оставляли  
Наемной челяди: все то, что не имело  
Клыков, рогов, когтей, — для шляхты бить не дело.  
Чтоб шляхтич взял ружье, заряженное дробью?  
Да это же не лов, а жалкое подобье!  
Держали и борзых, но только для забавы.  
Бывало, что, когда мы ехали с облавы,  
Выскакивал русак, тогда спускали свору,  
И мальчишки верхом за ним скакали к бору,  
На это их отцы смотрели, как на шалость.  
Но чтоб затеять спор? Такого не случилось!  
Так я уж вас прошу, почтенный Подкоморий,  
Меня освободить, — я не участник в споре,  
И не поеду я, пусть шляхта не осудит,  
На травле той, клянусь, ноги моей не будет!  
Гречеха я, — еще от царствования Леха \*  
На зайцев ни один не езживал Гречеха!»

Тут смех его прервал. Все гости встали вскоре.  
Шел первым от стола почтенный Подкоморий,  
Он заслужил почет и возрастом и чином,  
Шагая, кланялся он дамам и мужчинам,  
За ним шел ксендз, Судья с учтивостью отменной  
Вел Подкомория жену, там с Телименной  
Тадеуш молча шел, затем Асессор с дамой,  
И с дочкой Войского Нотариус упрямый.

Тадеуш часть гостей тотчас повел к овину.  
Он был угрюм и зол, и сам не знал причину,  
Перебирал в уме события, встречи, ужин,  
Красавицы приход и то, как был сконфужен,  
И слово «тетушка» жужжало возле уха,  
Как иногда жужжит назойливая муха.  
Хотел он Возного переспросить о госте,  
Но не нашел его и помрачнел от злости.  
Он Войского искал, чтобы отвлечься с другом,  
Но, проводив гостей, как подобает слугам,

Пан челяди спешил отдать распоряженья,—  
Для дам и старших он готовил помещенья.  
Тадеуш молодежь повел, как приказали,—  
Судья для них ночлег отвел на сеновале.  
И через полчаса все стихло в царстве сонном.  
Вот так в монастыре за колокольным звоном  
Приходит тишина. Лишь в поле крикнет птица  
Да сторож застучит. Не спит один Соплица,  
Обдумывает он поход и развлечения  
И с вечера дает свои распоряженья;  
Обязанности всем распределил по дому —  
Псарям, и ключнице, и пану эконому,  
И лишь когда в счетах успел он разобраться,  
Он Возному сказал, что хочет раздеваться.  
И Возный развязал богатый слущкий пояс,  
Где кисти из парчи, на золоте покоясь,  
Сияли, как огонь, он был работы редкой —  
С изнанки черный шелк с серебряною клеткой,—  
Мог шляхтич с двух сторон носить кушак узорный:  
На праздник — золотой и в дни печали — черный.  
Лишь Возный знал, как снять убор замысловатый,  
И, сняв его, сказал с улыбкой виноватой:

«Кому от этого, скажите, было хуже,  
Что в замке ужин был? А вы, мой пан, к тому же,  
И выгадали в том, по той простой причине,  
Что на него права имеем мы отныне.  
Не отвоюет Граф старинное строенье,  
Я докажу, что мы вступили во владенье,—  
Ведь тот, кто в замке пир иль празднество затеет,  
Доказывает тем, что замком он владеет.  
Противники, и те откажутся едва ли,—  
Такие случаи не раз уже бывали...»

Но спал уже Судья. И Возный вышел в сени,  
Сел к свечке, положил книжонку на колени,  
Которую носил, как требник, за собою,  
И дома и в пути имея под рукою,—  
Реестр судебных дел, подробнейшие списки,  
Дела минувших дней. Сам Возный эти иски  
Публично оглашал перед судом когда-то,

И разбирала их Судебная палата.  
Лишь перечень имен для всех других, но Возный,  
Читая, был сражен картиной грандиозной,—  
Он тяжбы вспоминал: Огинского с Визгирдом,  
Монахов с Рымшею, а Рымши с Высогирдом,  
Процессы старые Гедройца с Родултовским,  
Затем Мицкевича с Малевским, с Пиотровским  
Юраги, наконец, Горешко и Соплицы... \*  
И он перебирал знакомые страницы,  
И в памяти его так ярко воскресали  
Свидетели, истцы, забытые детали,  
И видел он себя, как он в кунтуше алом \*,  
В жупане новеньком стоит пред трибуналом,  
Одна рука его на сабле, а другая  
Знак подает истцам, к столу их приглашая.  
Но вот он задремал, и книжечка упала...  
Последний на Литве пан Возный трибунала.

Так тешились в Литве в те памятные годы,  
Когда вокруг весь мир, все страны и народы  
Барахтались в крови, и бог войны кровавый,  
Среди своих полков, покрытых бранной славой,  
Серебряных орлов запрягши в колесницу  
На помощь золотым, грозил Аустерлицу \*,  
В Маренго гром метал, Египет покоряя,  
На Альпы бросил взор, судьбой племен играя,  
Победа впереди летела величаво,  
О подвигах его рассказывала слава,—  
Она на Север шла от солнечного Нила,  
Но, словно от скалы, ударясь, отскочила  
От стана русских войск, что ставил делом чести  
Россию оградить от этой страшной вести.

И все же иногда, как будто камень с неба,  
Весть падала в Литву. Порой, просящий хлеба,  
Калека-нищий, взяв от дворни подаянье,  
Осматривался вдруг, еще храня молчанье,  
И если не видал воротников он красных \*,  
Ермолки корчмаря, других примет опасных,  
Вдруг открывал, что он из польских войск недавно,  
Что защищать уже не в силах Польши славной,

Вернулся умереть. Тут пан и вся прислуга  
В слезах его обнять спешили, словно друга!  
Садился он за стол и тут уж без опаски  
Рассказывал им бль, чудесней всякой сказки,  
Как из Италии спешит сюда Домбровский,  
О Польше не забыв и о земле литовской,  
Как собирает рать он на Ломбардском поле;  
И как Князевич наш взошел на Капитолий,  
Как гордо бросил он к ногам Наполеона,  
Отбитые в боях, кровавые знамена;  
Как Яблоновский наш, забравшись в край далекий,  
Где сахарный тростник растет, как лес высокий,  
Бьет негров со своим дунайским легионом,  
О родине скорбя под чуждым небосклоном \*.

Весть облетала всех, как дальний отзвук грома,  
И вскоре юноша вдруг исчезал из дома,  
Он крался по лесам, от москалей скрывался  
И через Неман вплавь тайком переправлялся \*.  
Ныряя, достигал он берега Варшавы  
И слышал крик друзей: «Привет, товарищ brave!»  
Но, прежде чем уйти, с пригорка, на прощанье,  
Он москалям кричал: «До скорого свиданья!»  
Так пробрались туда Горецкий, Обухович,  
Пац, Мержеевские, Брохоцкий, и Янович,  
И Бернатовичи, и Купсть, и Пиотровский,  
Ружицкий, Гедимин,— простясь с землей литовской,  
Бросали край родной, родителей, именья;  
И отбиралось всё в казну без сожаленья.

Бывало, слух пройдет, что квестарь \* объявился.  
И только ближе он с хозяином сходился,  
Из ладонки своей вытаскивал газету,  
А там — число солдат, разбросанных по свету,  
Фамилии вождей, победы описание  
Иль новый список тех, кто пал на поле брани.  
Бывало, что в семье впервые узнавали  
О смерти сыновей, и в эти дни печали  
Весь дом был в трауре, но объявить не смели,  
По ком был траур тот — все сами разумели.  
Так тихая печаль иль радости приметы  
Служили шляхтичам подобием газеты.

По слухам, квестарем таким был ксендз в повете.  
Он часто вел с Судьей беседы в кабинете,  
И вести шли... Сам вид монаха и осанка,  
Казалось, говорил, что скрыта тут изнанка,  
Что не всегда носил клобук он и сутану  
Да отпускал грехи холопу или пану.  
Над правым ухом шрам, след пули или пики,  
И на щеке рубцы — бесспорные улики  
Того, что наш монах бывал знаком и с битвой  
И раны получил не в келье за молитвой.  
И не одни рубцы,— за подвиги расплата,—  
Но каждый жест и взгляд в нем выдавал солдата.

Когда из алтаря с простертыми руками  
Он прихожанам пел: «Господь да будет с вами»,  
Он делал поворот так ловко и так браво,  
Как опытный солдат «равнение направо».  
Молитвы каждый раз читал таким он тоном,  
Как офицер приказ пред целым эскадроном.  
За мессой весь приход, бывало, удивлялся.  
В политике наш ксендз не хуже разбирался,  
Чем в житиях святых. Когда же он, бывало,  
За сбором уезжал, он дел имел немало  
В уездном городе, и если там же, кстати,  
Он письма получал, то никогда печати  
При людях не срывал. То слал гонцов куда-то,  
То по ночам, тайком от москаля-солдата,  
В усадьбы проникал, не разбудив прислугу,  
Шептался с шляхтою, то обходил округу,  
Порой с крестьянами беседовал в трактире,  
Рассказывал о том, что происходит в мире.  
Теперь, когда уж час как спало все поместье,  
Пришел будить Судью,— должно быть, есть известья.





## ЗАМОК

*Охота с борзыми на зайца.— Гость в замке.— Последний из дворовых Горешки рассказывает историю последнего Горешки.— В саду.— Девушка на огуречной грядке.— Завтрак.— Петербургский случай пани Телимены.— Новая вспышка спора о Кузем и Соколе.— Вмешательство Робака.— Речь Войскового.— Заклад.— За грибами.*

**К**то может позабыть, как в юности, часами,  
Бродил он по полям с двустволкой за плечами,  
Не ведая преград, через межу шагая,  
Не думая о том — своя или чужая!  
Охотник на Литве, как челн в открытом море,  
Куда б ни захотел, несется на просторе,  
Иль как пророк глядит на тучи и просветы,  
Читая лишь ему понятные приметы,  
Иль землю слушает, — для всех других немая,  
С ним говорит она, разумно, как живая.

Вот закричал дергач и снова смолк — ни звука,  
Ищи его в траве, — нырнул, как в Неман щука!  
То колокольчик вдруг звенит над головою,

А жаворонок скрыт небесной синевою.  
Там сумрачный орел парит в лучах рассвета,  
Пугая воробьев, как королей комета.  
Там ястреб в синеве, сиянием объятый,  
Дрожит, как мотылек, булавкою прижатый.  
И, жертву разглядев, нацелив клюв могучий,  
Кидается с небес быстрее звезды падучей.

Когда же нас, господь, вернешь ты из чужбины,  
Позволишь снова жить вблизи родной долины  
Да с конницей лететь, преследуя лисицу,  
Иль выступать в поход с пехотою на птицу,  
Счета приказчика предпочитать газетам,  
А косы и серпы — штыкам и пистолетам?

Рассвета луч упал на кровли Соплицова  
И, все освободив от сумрака ночного,  
В конце концов проник под крышу сеновала,  
Где летом молодежь обычно ночевала.  
И света полосы, просачиваясь в щели,  
Как ленты из косы, рассыпавшись, блестели.  
Уж дразнит спящих луч — покоя им не будет,—  
Так девушка цветком возлюбленного будит.  
Щебечут воробьи, порхая по заборам;  
Вот гусь загоготал, и утки дружным хором  
Откликнулись тотчас на этот крик гусиный,  
И слышно вдалеке мычание скотины.

Проснулась молодежь. Один Тадеуш сонный  
Не открывает глаз,— он долго, возбужденный,  
Не мог вчера заснуть, вертелся на постели,  
Покуда петухи, под утро, не пропели.  
И, в сено погружаясь, как в воду, с головою,  
Он спал, пока в лицо холодную струю  
Вдруг ветер не подул, открылась дверь овина,  
И был он пробужден словами бернардина:  
«Surge, guer!» \* — и, сняв свой пояс, ксендз проворный  
Тадеуша стегнул с угрозой притворной.

А двор уже кишит — готовят экипажи,  
Выводят лошадей, растет гора поклажи,

Ловцы торопят слуг, идут к охоте сборы,  
И вот трубят рога, и выпущены своры.  
Завидев лошадей и егерей, борзые  
На радостях визжат, несутся, как шальные,  
И шеи под смычок \* покорно подставляют.  
Все эти признаки, бесспорно, означают,  
Что нынче предстоит удачная охота.  
Дал Подкоморий знак — пора раскрыть ворота.

И тронулись ловцы, верхами, друг за другом,  
В воротах сгрудились и растянулись цугом.  
Ассессор и Юрист, вновь оказавшись рядом,  
Друг друга меряя недружелюбным взглядом,  
Любезный разговор ведут, как люди чести,  
Что едут на дуэль, горя желаньем мести.  
Никто бы не сказал, что паны враждовали,  
И Куцый с Соколом на привязи бежали;  
Коляски с дамами почти в конце отряда,  
А сбоку юношей лихая кавалькада.

Ксендз Робак по двору ходил походкой бравой,  
Читал молитвы он, но, вскинув взор лукавый,  
Тадеушу мигнул, прищурясь улыбнулся  
И пальцем погрозил. Тадеуш встрепенулся  
И тотчас подошел в смущенье к бернардину,  
Чтоб у него узнать веселости причину.  
Но ксендз не пожелал пускаться в объясненья,  
Ни слова не сказал, лишь продолжая чтение,  
Свой черный капюшон до самых глаз надвинул.  
Тадеуш сел верхом и мигом двор покинул.

Охотники меж тем собак остановили  
И на своих местах, насторожась, застыли.  
Никто не отвлекал друг друга разговором.  
Все обратили взор на камень, на котором  
Стоял Судья. Он сам остановил движенье  
И знаками ловцам давал распоряженья.  
Он зайца увидал. И вот, кивнув друг другу,  
Ассессор и Юрист поехали по лугу.  
Противников нагнав и вмиг оставив сзади,  
Тадеуш порешил остаться возле дяди.

Не видел зайца он,— среди камней легко ли  
Заметить русака на этом сером поле?  
На зайца указал племяннику Соплица.  
Под камнем, съжившись, боясь пошевелиться,  
Как зачарованный, сидел русак и взора  
От них не отрывал, и хоть молчала свора,  
За нею взглядом он следил окаменелым  
И, словно камень, сам казался мертвым телом.  
А по полю уже, всё ближе, пыль клубится,  
Вот Куцый впереди, и рядом Сокол мчится —  
Ассессор и Юрист борзых со свор спустили  
И, закричав: «Ату!», исчезли в клубах пыли.

Пска следили все за этим состязаньем,  
К гостям подъехал Граф с обычным опозданием,—  
Он вечно просыпал, чем славился в округе,  
И каждый раз ворчал, что виноваты слуги.  
К охотникам пан Граф направился рысцою,  
При этом свой сюртук английского покроя  
По ветру распустив. Шестерка слуг проворных  
Скакала вслед за ним в блестящих шляпах черных  
И круглых, как грибы, в изысканных рейтузах,  
В высоких сапогах и курточках кургузых.  
По моде наряжал пан Граф своих лакеев  
И дал, как модник, им название «жокеев».

Примчались всадники на луг, и в отдаленье  
Увидел замок Граф при ярком освещенье.  
Граф придержал коня и замер, изумленный,—  
Нет, он не узнавал ни стены, ни колонны!  
Все зданье солнце так преобразило чудно,  
Что замок родовой узнать в нем было трудно.  
В тумане утреннем казалась башня выше,  
От солнца золотом блестела жемчуг на крыше,  
В проемах темных стен, от времени поблеклых,  
Сияли радугой лучи в разбитых стеклах.  
Весь низ закрыл туман — казалось, он расстелен,  
Чтоб скрыть от глаз изъян пробоин и расщелин.  
Далекой травли гул развалины встревожил,  
Коснулся мертвых стен, и старый замок ожил,—

Казалось, снова в нем, как и в былые годы,  
Живые голоса подхватывают своды.

Залюбовался Граф пейзажем необычным,—  
Все необычное считал он романтичным.  
Недаром Граф прослыл большим оригиналом:  
В разгаре травли вдруг, бывало, отставал он  
И долго на небо глядел с тоской во взоре,  
Как кошка, воробьев увидев на заборе.  
Бывало, без ружья, как беглый рекрут, в чаще  
Блуждал он целый день, потупив взор горящий,  
Иль, над ручьем склонясь, смотрел на дно часами,  
Как цапля, что всех рыб готова съесть глазами.  
Подобных странностей пан Граф имел немало,  
Считали все, что в нем чего-то не хватало.  
Но Графа уважал повет, не только с виду,—  
За то, что не давал крестьян своих в обиду  
И за старинный род.

И Граф коню дал шпоры  
И к замку поскакал, минуя косогоры.  
Достиг ворот, вздохнул и замер так — ни шагу,  
Задумчиво достал из-под седла бумагу  
И начал рисовать... Но вдруг, взглянув направо,  
Увидел старика. Стоял он, величаво  
Закинув голову, спокоен и печален,  
Казалось, камни он считал среди развалин.  
И Граф узнал его по золоченой вязи  
И вышитым гербам, окликнул, но Гервазий  
Не сразу услышал. Он был слугой магната,  
Горешки знатного, и в замке жил когда-то.  
Высокий, весь седой, он был еще здоровым,  
С морщинистым лицом, угрюмым и суровым.  
Когда-то славился своим веселым нравом,  
Но, пана схоронив, он охладел к забавам,  
Не посещал с тех пор ни свадеб, ни гулянок  
И шутками, как встарь, не веселил застянок,—  
Уж много лет никто не знал его усмешки.  
Носил ливрею он последнего Горешки,  
Ливрея та была расшита галунами  
И вязью золотой, но выцвела с годами,  
Хотя еще хранил его наряд убогий

Хозяйские гербы — Горешков козероги,  
Все шелком шитые, и было их так много,  
Что сам он получил прозвание «Козерога»,  
А так как всех он звал «Мопанку», — ту же кличку  
Он получил взамен за вечную привычку.  
За то, что лысину в боях изрубцевали,  
Рубакой прозван был. Герба его не знали.  
Он Ключником себя именовал — у пана  
Служил он ключником и нынче, постоянно,  
Не в силах победить ту старую закваску,  
За поясом носил ключей большую связку.  
Хоть в замке нет замков и отперты ворота,  
Все ж двери он нашел, и вот пошла работа:  
Приладил, выпрямил, замок исправил ржавый  
И, запирая их, не знал иной забавы.  
Себе устроил он жилье в пустынной спальне, —  
Он мог у Графа жить, но было там печальней  
Для старого слуги, он захирел бы с горя,  
Лишь воздух замка мог спасти его от хвори.

На Графа поглядел он взором удивленным  
И панскую родню приветствовал поклоном,  
И лысина его, огнем лучей палима,  
Блеснула, вся в рубцах, как посох пилигрима.  
Ее погладил он в раздумье и, с поклоном  
К прищельцу обратясь, сказал печальным тоном:  
«Мопанку!.. ты прости меня за эту смелость, —  
Мне снова так назвать Горешку захотелось...  
«Мопанку» говорил и Стольник пан, бывало,  
Привычка эта встарь Горешков отличала.  
Пан, правда ли, что ты, чтоб сократить расходы,  
Уступишь без суда владенье воеводы?  
Хоть слух такой прошел, не верю я пройдохам...»  
И тут на замок он взглянул с тяжелым вздохом.

«Да что там, — молвил Граф, — невесть какое благо!  
Наскучил мне процесс, да шляхтич-то, сутяга,  
Упрямится, — он знал, что сдамся я от скуки;  
Сегодня же скажу, что умываю руки.  
Условия все приму... Готов я помириться!»  
«Как! — закричал старик. — Чтоб победил Соплица?»

Вам помириться с ним?» — он сморщился так кисло,  
Как будто даже сам в словах не понял смысла.  
«Мир и Соплица! Нет! Вы шутите, мопанку!  
Соплицу допустить к горешковскому замку?  
Отдать свое гнездо? Тогда с коня слезайте  
И следуйте за мной! Нет, нет, не возражайте!  
Слезайте же скорей и не теряйте время...»  
И Графу он помог, придерживая стремя.

Он в сени ввел его, сказал: «Вот тут, бывало,  
С гостями старый пан просиживал немало;  
Спеша им угодить, вокруг сновали слуги,  
Крестьяне шли к нему на суд со всей округи;  
Здесь пан рассказывал занятнейшие были,  
Иль гости шутками хозяина смешили,  
А молодежь в саду на палках фехтовала  
Иль панских скакунов отборных объезжала».

И он прошел вперед: «Здесь мы б с тобой едва ли  
Все камни на полу вдвоем пересчитали,  
Но больше, чем камней, здесь было бочек винных  
Распито на пирах и панских именинах.  
Те бочки шляхтичи гостившие, бывало,  
На слущких поясах тащили из подвала!  
Во время пира здесь играл оркестр у пана,  
На хорах звон стоял от флейты и органа,  
Когда же здравицу, бывало, паны пили,  
Так сверху трубачи, как в судный день, трубили!  
«Здоровье короля!» — и вновь звучат напевы.  
«Здоровье примаса! \* Здоровье королевы!»  
Потом за здравие всей шляхты именитой  
И, наконец уже, всей Речи Посполитой!  
И тут «За братство» тост. Бывало, тосты эти  
Начнутся с вечера, а смолкнут на рассвете,  
И долго слуги ждут в колясках пароконных,  
Чтоб отвезти домой всех панов приглашенных».

Гервазий молча шел по комнатам парадным,  
Любуясь то окном, то потолком громадным,  
Все радость и печаль ему напоминало,  
И, словно говоря: «Все это миновало»,

Он головой качал, вздыхая так уныло,  
Как будто память в нем страдание будила.  
Так очутился Граф в большом зеркальном зале,  
Где рамы без зеркал вдоль черных стен зияли,  
А окна без стекла; где стерлась позолота  
И догнивал балкон, смотрящий на ворота.  
И, голову склонив, весь почернев от муки,  
Старик закрыл лицо, когда же отнял руки,  
Взглянул с такой тоской, что даже Граф, невольно,  
Почуял, как ему от этой муки больно.  
Он руку старику пожал из состраданья.  
Минуту или две продлилось их молчанье.  
Его прервал старик; слезу смахнув с ресницы,  
Сказал он: «Никогда не будут жить Соплицы  
С Горешками в ладу! Ты кровный отпрыск пана,  
По матери твоей, по внучке каштеляна \*,  
А дед твой моему хозяину был дядя...  
Теперь послушай, пан, на эти стены глядя,  
Историю одну, что долго мной скрывалась,  
Что в этих же стенах когда-то разыгралась.

Покойный Стольник наш был первый пан в повете,  
И он берег одно сокровище на свете —  
Единственную дочь, чья красота гремела;  
И сватов шляхтичи к нам слали то и дело.  
Хоть Яцек-сорванец незначной был породы,  
Но получил не зря прозвание «Воеводы»:  
В повете вес имел, владел большою силой,—  
Глава трехсот Соплиц, здесь был он заправилой:  
Распоряжался он в повете голосами;  
Владел клочком земли, громадными усами  
Да саблей,— словом, был, как говорится, голый.  
Но Стольник звал его не раз на пир веселый,—  
Сторонникам его хотел польстить он явно  
И в замке угощал пред сеймиками славно \*.  
Усач был так польщен приветливым приемом,  
Что породниться он задумал с панским домом,  
Горешке зятем стать. Уж он без приглашенья  
Стал ездить к пану в дом,— какие там стесненья!  
Посвататься готов молодчик наш проворный!  
Да тут как раз и был похлебкой встречен черной.

Шел слух, что панночка о нем скорбела крайне,  
Но от родителей держала это в тайне.

В тот год Костюшко был поддержан нашим краем.  
Приняв закон, что был подписан Третьим маем \*,  
Пан шляхту собирал помочь конфедератам \*.  
Но ночью удалось подкравшимся солдатам  
Наш замок окружить,— едва из пушки кто-то  
Успел подать сигнал да запереть ворота.  
А в замке — пан мой, я да пьяные в пекарне,  
Четыре гайдука \*, отчаянные парни,  
Ксендз, пани, эконоом да повар неуклюжий.  
Мы к окнам бросились, наводим десять ружей...  
Все ближе москали, мы видим — дело худо...  
Вот дали дружный залп в лицо им: «Прочь отсюда!»  
Темно... Но мы палим. Не дремлет оборона.  
Из окон гайдуки, а я и пан с балкона.  
Хоть меньше было нас, но дело шло не хуже:  
Здесь, в зале, на полу лежало двадцать ружей,—  
Чуть выстрелить успел, как подаюг другое,—  
Ксендз-пробош \* заряжал, а мы стреляли трое,  
Нам панночка сама патроны подавала...  
Так наша сторона огонь не прекращала.  
На замок градом пуль обрушилась осада,  
Стреляли редко мы, но целили, как надо!  
Три раза москали ломились в эти двери,  
Но каждый раз несли три новые потери.  
Ушли за сеновал... А на дворе светало.  
Повеселел мой пан,— чуть из-за сеновала  
Покажется москаль, пан в лоб ему нацелит  
И, глядь, как раз его, голубчика, подстрелит.  
Так падали в траву их черные фуражки.  
Попрятались враги, не ждут от нас поблажки.  
Тут, видя, что москаль смутился оробелый,  
На вылазку идти решился Стольник смелый.  
Он саблю обнажил, всем дал распоряженья  
И крикнул мне: «За мной!» Но в это же мгновенье  
Услышал выстрел я... Пан Стольник пошатнулся,  
Хотел заговорить, но кровью захлебнулся...  
Попала пуля в грудь. И, глядя на ворота,  
Он пальцем указать успел мне на кого-то...

Соплица! Я стоял, сознание теряя...  
По росту и усам узнал я негодя!  
Так вот чем заплатил он Стольнику за милость!  
Злодей держал ружье — оно еще дымилось!  
Я начал целиться... Стоял он недвижимо...  
Я дважды выстрелил, но оба раза мимо,—  
Как видно, все в глазах от злобы помутилось...  
Взглянул на пана я — в нем сердце уж не билось!»

Гервазий зарыдал и продолжал сквозь слезы:  
«Враги ломились в дверь, я слышал их угрозы,  
Но, разум потеряв, не мог пошевелиться  
И плохо понимал, что вокруг меня творится.  
По счастью, подоспел на помощь Парфянович,  
Мицкевичей с собой он вел из Горбатович\*,  
Две сотни удальцов, что воевали с честью  
И издавна Соплиц преследовали мезтью.

Так сгинул знатный пай в расцвете сил и славы,  
Вельможа, в чьем роду и кресла и булавы...\*  
Брат шляхте, мужикам отец, он честно правил,  
А сына, отомстить убийце, не оставил!  
Но он имел слугу. И, наклонившись к пану,  
Я обмакнул свой меч в дымящуюся рану  
(О Ножичке\* моем должно быть вам известно,  
В округе все о нем слышали повсеместно),  
С ним за Соплицами повсюду я гонялся,—  
Его о спины их я выщербить поклялся!  
Двух в драке порешил, а двух на поле бранном,  
А пятого спалил в сарае деревянном,  
Когда мы с Рымшею ворвались в Кареличи;  
Он спекся, как пескарь, моею став добычей!  
А скольким уши я срубил мечом тем самым!  
Лишь одного из них не наградил я шрамом,  
Один доньне цел, живет, беды не зная,—  
Единокровный брат убийцы-негодяя!  
Он не смущен ничуть горешковским соседством  
И должностью Судьи пожалован шляхетством!  
И замок ты решил отдать ему без боя,  
Чтоб пана кровь топтал он дерзкою ногою?  
О нет! Пока костей Гервазий в гроб не сложит,

Пока еще поднять он хоть мизинцем сможет  
Свой Нож, что на стене висит на черной лямке,  
До той поры Судьи не будет в этом замке!»

«Теперь я понял все! — пан Граф воскликнул с жаром —  
И эти стены, друг, я полюбил недаром!  
Хоть я не знал еще, что камни этих сводов  
Скрывают столько драм и мрачных эпизодов!  
Когда на замок мы свои права докажем,  
Дворецким будешь ты, доверенным и стражем!  
Рассказ твой слушал я и видел все воочию,  
Но лучше бы меня сюда привел ты ночью,  
Закутанный плащом, я б сел на пыльных плитах,  
А ты бы говорил об ужасах забытых.  
Да жаль, что нет в тебе к рассказам дарованья!  
Случалось мне читать подобные преданья.  
Дворцы Шотландии, английских замков стены  
Знавали в старину таких трагедий сцены!  
И там, из рода в род, в почтенных знатных семьях  
Хранят предания о страшных преступленьях,  
Потомки мстят за те убийства роковые...  
Но в Польше о таком услышал я впервые.  
Во мне Горешков кровь, она кричит о мести,  
И я не уроню своей фамильной чести!  
С Соплицей я порву,— не надо мне советов,  
Пускай у нас дойдет до шпаг и пистолетов!»  
Сказал и зашагал торжественно по залам.  
Гервазий брел за ним, казался он усталым  
И тяжело вздыхал. И, выйдя за ворота,  
Остановился Граф, на замок для чего-то  
Рассеянно взглянул, поставил в стремя ногу  
И, на коня вскочив, сказал: «Мне жаль, ей-богу,  
Что у Соплицы нет наследницы прекрасной,  
Я б полюбил ее, и страсть была б несчастной,  
Украсило б роман такое осложнение:  
Тут долг, а там любовь,— тут месть, а там мученье!»

Мечтая так, коня пришпорил Граф и скоро  
Охотников вдали увидел возле бора.  
Охоту Граф любил; едва он повстречался  
С ловцами, все забыл и прямо к ним помчался.

Он миновал забор, проехал сад, ворота,  
Но осадил коня и встал у поворота.  
Пред ним был сад.

Вокруг, посажены рядами,  
Стояли яблони. Капуста, над грядками  
Склоняя лысины, казалось, рассуждала  
О судьбах овощей; там в зелени сверкала  
Курчавая морковь; обвив ее стручками,  
Горох следил за ней бессчетными зрачками;  
А там, под золотым султаном кукурузы,  
Весь в зелени, арбуз лоснится толстопузый,  
И тянется за ним, как хвостик, стебель блеклый,  
А он лежит, как гость, на грядках с красной свеклой.

Меж грядками между тесемкой протянули,  
Тут стебли конопли стоят на карауле,  
Как кипарисы трав, гордясь своим нарядом,—  
Их запах и листва защитой служат грядкам:  
Захочется червям, улиткам ли рогатым  
Меж ними проползти,— убьют их ароматом.  
Вон маки стройные под солнцем заалели,  
Как будто мотыльки на белых стеблях сели  
И крылья их дрожат над пестротой грядок,  
Сплетая изумруд с соцветиями радуг,—  
Таким казался мак в травы зеленых волнах.  
И, как луна средь звезд, пылающий подсолнух  
Стоял среди цветов, картину украшая,  
За солнцем целый день лицо свое вращая.

Вдали от цветника, у низенькой ограды,  
Лежали огурцы, закрыв листьями гряды,  
Так пышно разрослись, что зеленью махровой  
Накрыли все вокруг, как будто плат ковровый.  
По грядкам, вдоль плетня, шла девушка босая,  
По щиколку в траве высокой утопая,  
Когда же на межу спускалась, то казалось,  
Уже не шла,— плыла и в зелени купалась.  
На голове была соломенная шляпка,  
Под ней видна волос свисающая прядка,  
Два завитка на лбу; так юная литвинка  
Шла, опустив глаза, в одной руке корзинка,

Другую подняла, как будто собираясь  
За что-то ухватить. Так девочка, купаясь,  
Играет с рыбками, их ловит ручкой белой.  
И панна гибкий стан склоняла то и дело,  
Едва зеленый плод приметит острым зреньем.

Граф замер, восхищен нечаянным виденьем,  
И, видя егерей, летящих в клубах пыли,  
Дал знак им, чтоб они коней остановили.  
На панну он смотрел, вытягивая шею,—  
Так на одной ноге стоит журавль, немея,  
В другую камень взяв, чтоб не дремать в дозоре,  
И весь широкий луг вмещая в остром взоре.

Но, легким шорохом от грез своих разбужен,  
Оборотился Граф и был слегка сконфужен,—  
К нему шел ксендз, грозя веревкою с узлами: \*  
«Пан хочет огурцов? Так будет с огурцами!  
Подальше от ворот мечтайте, на свободе,  
Нет овоща для вас на этом огороде!»  
И, пальцем погрозив, тотчас же удалился.  
И уличенный Граф смеялся и сердился.  
Он панночку искал — ее как не бывало,  
Лишь платье белое да кончик ленты алой,  
Упавшей с головы на выбившийся локон.  
Успел заметить он в одном из панских окон.  
Еще хранили след листы травы и мяты,  
Еще качался лист, ее ногой примятый,  
И замер, наконец. Так ласточка лесная  
Крылом речную гладь коробит, пролетая,  
И снова спит вода. Лишь около ограды,  
Где девушка прошла, осматривая гряды,  
Среди зеленых волн корзинка из раkitы.  
Качалась кверху дном, хозяйкою забыта.

Затихло все вокруг. И, напрягая зренье,  
Глядел на окна Граф, а сзади, в отдаленье,  
Стояли егеря. Но вот на светлых шторах  
Мелькнула чья-то тень, раздался легкий шорох,  
Потом веселый крик, задвигал кто-то стулья.  
Так пчелы, прилетев, шумят в пустынном улье.

Должно быть, гости в дом приехали с охоты,  
И начались у слуг привычные заботы.

Все в доме ожило. Гремят ножи и вилки,  
Разносят кушанья, тарелки и бутылки,  
Повсюду шум и смех, не видно лиц угрюмых.  
Мужчины, как вошли, в охотничьих костюмах,  
С тарелками в руках, налив вина в стаканы,  
Садятся, где пришлось,— на окна и диваны,  
О ружьях и борзых друг с другом шумно споря.  
Толкуют за столом Судья и Подкоморий,  
А панны в уголке. Во всем видна свобода.  
Недавно в дом Судьи проникла эта мода,—  
За завтраком прощал он новые повадки,  
Хотя не одобрял такие беспорядки.

Для дам и для мужчин, как то и полагалось,  
Различная еда прислугой подавалась.  
Внесли поднос, на нем кофейная посуда,  
Кофейники дымят, не запах,— просто чудо!  
Все чашки в золоте, саксонского фарфора,  
И сливочник стоит у каждого прибора,  
В нем сливки свежие. Такого кофе больше  
На свете нет нигде. В приличном доме, в Польше,  
Оно готовится особою кухаркой,  
Которая не зря зовется кофеваркой,  
В запасе у нее всегда зерна избыток,  
И может лишь она сварить такой напиток.—  
Густой, как мед, хранит он пряный запах зерен,  
Прозрачен, как янтарь, и, словно уголь, черен.  
И сливки тут нужны на славу. Впрочем, в этом  
Здесь недостатка нет — в деревне, встав с рассветом,  
Кухарка, взяв поднос, уходит в кладовые  
И сливки с молока снимает,— но какие!  
Отдельно каждому, чтоб не было промашки,—  
Чтоб пенка желтая лежала в каждой чашке.

Но пани старшие, позавтракавши рано,  
Не стали кофий пить, им пиво со сметаной  
И свежим творогом лакеи подавали,  
И гости, всё смешав, напиток смаковали.

А для мужчин язык, копченые колбасы,  
Полотки, ветчина и вяленое мясо,  
Все это способом коптилось самодельным  
На медленном огне и дыме можжевельном.  
Вот зразы подали, хоть стол закусок полон,—  
Недаром слыл Судья отменным хлебосолом.

В двух смежных комнатах, усевшись где попало,  
Все сборище гостей смеялось и болтало.  
У старших речь зашла о новых удобреньях,  
О царских строгостях и новых притеснениях.  
И, слухов о войне коснувшись в разговоре,  
Их начал обсуждать с гостями Подкоморий.  
Дочь Войского его супругу развлекала,  
Надев очки, она на картах ей гадала.  
В гостиной собрались все те, кто помоложе,  
О травле разговор зашел у молодежи,  
Но вспышек не было и не сводили счеты,—  
Два лучшие стрелка, два знатока охоты,  
Ассессор и Юрист, ораторы повета,  
Сердито хмурились — их честь была задета.  
На зайца псов спустив, почтенные соседи  
Неслись за ними вслед, уверены в победе,  
Как вдруг исчез русак среди поля ярового.  
Борзые вслед — вот-вот возьмут они косога,  
Но тут остановил Соплица доезжачих  
И этим рассердил охотников горячих.  
Вернулись псы назад. Сердясь и огрызаясь,  
Заспорили ловцы: кому достался заяц?  
Которой из борзых? Все спорили в азарте,  
И мненья разошлись у двух враждебных партий.

Бродя по комнатам, пан Войский слушал споры,  
На спорящих бросал рассеянные взоры,  
То возле них стоял, но сам не спорил с ними,  
Казалось, поглощен был мыслями иными,  
То мухобойкой мух сбивал со стен столовой,—  
Завидит, постоит, ударит — и готово.

Оставив общество и все его тревоги,  
Тадеуш с тетушкой стояли на пороге.

Их тихий разговор не слышали соседи, —  
Никто не разобрал ни слова в их беседе.  
Теперь Тадеуш знал, что тетушка богата,  
Что хоть Судью она и любит, словно брата,  
Но кровного родства, как это ей ни лестно,  
Меж ними вовсе нет. И даже неизвестно,  
Приходится ль она племяннику роднею;  
Что с детства дядюшка зовет ее сестрою,  
Хоть много старше он; что ей пришлось

в столице

Услуги много раз оказывать Соплице;  
Что звать ее сестрой Судья хоть и не вправе,  
Но так уж хочет он, должно быть из тщеславья, —  
Могла ль она на то не дать ему согласья?  
Тадеуш услышал и просиял от счастья.  
И многое успел сказать он Телимене,  
И это все в одно короткое мгновенье.

Юрист, Ассессора дразня и подстрекая,  
Сказал ему: «Ну вот, ведь говорил вчера я,  
Что нам не повезет, — какая ж тут охота,  
Когда еще в полях не кончена работа?  
Еще не сжата рожь, и я не удивился,  
Что Граф, хоть был он зван, сегодня не явился.  
Его бы этот лов ничуть не позабавил,  
Он травлю признает лишь в рамках строгих

правил.

Он рос в чужих краях, и я вам не прибавлю,  
Когда скажу, что он считает нашу травлю  
Забавой варварской, что не дано нам права  
Законы нарушать и не читать устава,  
Что мы, мол, не щадим крестьянских урожаев  
И ездим где хотим, без ведома хозяев;  
Что летом, как весной, здесь травят и стреляют  
И даже бьют лисиц, когда они линяют;  
Что не дают уйти от псов зайчихам котным,  
Плодиться не дают ни птицам, ни животным.  
Что, мол, у москалей и то везде найдете  
Цивилизацию — трактаты об охоте,  
Что там охотятся по царскому указу.  
И, только провинись, наказан будешь сразу».

И Телимена, вдруг услышав эти речи,  
Батистовым платком обмахивая плечи,  
Поворотилась к ним: «Граф не ошибся в этом,  
Россию знаю я не только по газетам,  
Уж я на этот счет высказывала мнение,—  
Там бдительность властей достойна удивленья.  
В их Петербурге я жила неоднократно.  
Картины прошлого! Мне вспомнить их приятно!  
А что за город, пан! Знакома вам столица?  
Хотите видеть план? В моем бюро хранится.  
Там летом весь бомонд и все, кто побогаче,  
Живут в особняках, за городом, на даче.  
Вблизи от города, в двух-трех шагах буквально,  
Снимала дачу я,— на горке, специально  
Насыпанной, стоял тот домик бесподобный.  
Ах, что за дом — дворец! В бюро есть план подробный.  
Но на мою беду соседний флигель вскоре  
Чиновник мелкий снял, к тому же, как на горе,  
Он взял с собой борзых. Что может быть кошмарней,  
Когда вблизи живет чиновник с целой псарней!  
Бывало, подышать прохлагою ночью  
Выходишь с книжкой в сад, любишь лунною,  
Как вдруг, вертя хвостом, по клумбам, как шальная,  
Откуда ни возьмись, к тебе бежит борзая.  
Пугалась я не раз, и сердце содрогалось,  
Предчувствуя беду,— оно не ошибалось!  
Однажды я в саду с болонкою гуляла,  
И что же? На глазах борзая растерзала  
Любимицу мою! Как вспомню... о создатель!  
Ее мне подарил князь Сукин, мой приятель.  
Болонка — просто пух! Что может быть приятней?  
Ее портрет в бюро, да только лень искать мне.  
И я, увидя труп растерзанной собачки,  
Упала в обморок, пылая, как в горячке,  
Лакей мой в лекарстве, увы, был не искусен,  
Но, к счастью, тут Кирилл Гаврилыч Козодусин,  
Придворный егерь, к нам пожаловал с визитом,  
Была я спасена вельможей именитым.  
Велел он, чтоб тотчас был приведен виновник;  
Здесь бледный, чуть живой, предстал пред ним чиновник.  
И тут его мой гость сразил таким вопросом:

«Как смеешь ты, болван, здесь, у царя под носом,  
Лань стельную травить?» Чиновник растерялся,  
Стал лепетать, что он травить не собирался,  
Что он осмелится сказать, что зверь убитый  
Собачка, а не лань... Но тут судья сердитый  
Как крикнет: «Негодяй! Прохвост! Да как ты смешь?  
Ты поправлять меня претензию имеешь?  
Да знаешь ли, что я придворный егермейстер?  
Так пусть сейчас же нас рассудит полицмейстер!»  
И полицмейстеру пан Козодусин смело  
Тотчас же изложил, как обстояло дело:  
«Вот этот господин, как видно жулик тонкий,  
Подумай,— эту лань он смеет звать болонкой!  
Суди же сам, кто прав!» Долг службы понимая,  
Арбитр был возмущен апломбом негодяя,  
Но дал ему совет, чтоб мирно все уладить,  
Признать свою вину и этим грех загладить.  
Вельможа обещал, что он царю доложит  
И приговор его смягчит, насколько сможет.  
Псов заперли с тех пор, окончились тревоги,  
А мой сосед провел недели три в остроге.  
Мы посмеялись всласть над шуткою. Да что там!  
Смеялся весь бомонд над этим анекдотом,  
Что царский ловчий так в историю вмешался,  
И даже, говорят, сам государь смеялся!»

Судья и бернардин как раз играли в карты.  
Священнодействуя, Судья, в пылу азарта,  
Собрался сделать ход, чтоб с ксендзом кончить разом,—  
Противник погибал,— но, увлечен рассказом,  
Судья прервал игру и только хмурил брови,  
И все сидел, держа свой козырь наготове.  
Ксендз с нетерпеньем ждал и мучился при этом.  
И, выслушав рассказ, Судья пошел валетом  
И, не спеша сложив отобранные взятки,  
Сказал: «Пусть хвалят нам московские порядки,  
Цивилизацию и просвещение немцев,  
Пускай берут пример поляки с иноземцев,  
Пусть стражников зовут, заслышав лай собачий,  
Но, слава богу, здесь, в Литве у нас, иначе.  
Хватает всем лисиц, и зайцев, и медведей,

Мы в суд не подаем за это на соседей.  
И хлеба вдоволь есть, не объедят борзые,  
Хотя и забегут к соседу в яровые.  
Я травлю запретил лишь на крестьянском поле»

И эконоом сказал: «Да это диво, что ли?  
Так щедро платит пан за всякую поправу,  
Что рады мужики, коль шляхте на забаву  
Борзая забежит на поле яровое,—  
За пять колосьев пан им воздаст копною  
Да талер даст еще. От этих подаяний,  
Поверьте, сударь, мне, испортятся крестьяне...»  
Но не дослушал пан претензий эконома,—  
Внезапный шум гостей взлетел под своды дома:  
В беседу стариков вмешались разговоры,  
Рассказы, шутки, смех и в довершение споры.

Тадеуш с тетушкой, забытые гостями,  
Друг друга развлекать не забывали сами.  
Тадеуш, восхитясь умом любезной пани,  
Достоинствам ее не мало отдал дани.  
Все тише разговор; Тадеуш притворился,  
Что слов не разобрал, поближе наклонился  
И, словно невзначай, увлекшись болтовнею.  
Тепло ее виска почувствовал щекою.  
Дыханье затаив, ловил ее дыханье  
И взорами впивал ее очей сиянье.

Вдруг между лбами их, жужжа, мелькнула муха  
И мухобойка вслед, почти коснувшись уха.

В Литве немало мух различнейшего рода.  
Есть среди них одна шляхетская порода,  
Похожа на других и формою и цветом,  
Но только покрупней. Летает и при этом  
Без отдыха жужжит. Такому исполину  
Нетрудно разорвать любую паутину,  
Но, если попадет, жужжит и долго бьется  
И с пауком сам-друг готова побороться.  
Пан Войский этих мух считал всех зол причиной  
И клялся, что от них пошел весь род мушиный,

III Как же, как у пчел, для мух та муха — матка,  
Убей ее — и все погибнут без остатка.  
Хоть спорил с ним плебан и экономка пана  
Вставала каждый раз на сторону плебана  
И хоть на почве мух у них бывали стычки,  
Пан Войский ни за что не изменял привычки.  
Лишь муху замечал глазами или слухом,  
Тотчас спешил убить. И вот, как раз над ухом  
Жужжанье слышит пан, ударил дважды — мимо,  
Чуть не разбил окно, а муха невредима!  
Услышав треск такой, людей увидев лица,  
Загородивших путь, мушиная царица  
Меж ними бросилась, смущенная помехой,  
Но тут-то и была настигнута Гречехой,  
И вот две головы, напуганы так грубо,  
Разъединились вдруг, как ствол лесного дуба,  
Расколотый грозой в момент жестокой вспышки,  
И оба о косяк себе набили шишки.

По счастью, этого не видели. В гостиной  
Спокойный разговор и тихий спор невинный  
Внезапно кончился невероятным взрывом.  
Так ловчие в лесу несутся по обрывам,  
И слышен треск ветвей, далекий лай собачий,  
Но только кабана завидел доезжачий,  
Дал знак — и лес гудит от криков и от лая,  
Как будто вторит им вся чаща, как живая.  
С беседой точно так, — она спокойно льется,  
Пока, как с кабаном охотник, не столкнется  
С достойной темою. Тем зверем норовистым  
На этот раз был спор Ассессора с Юристом.  
Вскипели спорщики и в несколько мгновений  
Друг другу нанесли так много оскорблений,  
Что оба, исчерпав все три звена атаки —  
Гнев, колкости и брань, почти дошли до драки.

Из смежной комнаты все бросились гурьбою,  
В дверь хлынув, как поток, и унося с собою  
Двух собеседников, что, сблизившись в тревоге,  
Двуликим Янусом стояли на пороге.

Но, прежде чем они поправили прически,  
Затих зловещий шум. И, словно отголоски,  
В толпе раздался смех. Противники бок о бок  
Стояли, гнев сдержав. — их успокоил Робах,  
Мужчина пожилой, но крепкий и плечистый.  
Когда Ассессор встал, чтоб осадить Юриста  
Хорошим тумаком, и замер крик в покоях.  
Внезапно ксендз схватил за шиворот обоих.  
И, стукнув лбами их, как два яйца пасхальных.  
Он сблизил на момент противников нахальных  
И, руки разведя, как будто столб дорожный,  
Их в стороны швырнул, тем кончив спор тревожный.  
Минуту постоял, склоняясь в поклоне низком.  
И важно возгласил: «Мир вам! Рах, рах vobiscum! \*»

Вскипели спорщики, но рассмеялись оба, —  
Ведь как ни говори — духовная особа!  
Хоть гнев их не прошел и не остыла злоба,  
С ним ссориться они желанья не имели.  
Решительный монах, своей достигнув цели,  
Триумфа не искал и после примиренья  
Противникам не стал читать нравоученья.  
Поправил капюшон и тихими шагами  
Из комнаты ушел.

Тут между сторонами  
Два кресла заняли Судья и Подкоморий.  
И, словно пробудясь и вспомнив вдруг о ссоре,  
Пан Войский выпрямил молодцевато спину,  
Потрогал ус седой и вышел на средину.  
Он взглядом погрозил противникам унылым,  
Собранье оглядел и, словно ксендз кропилом,  
Хлопушкой стал махать, чтоб водворить молчанье.  
Все стихло, и тогда, потребовав вниманья,  
Хлопушку, словно жезл, воздел он с важным видом:

— Уймись, господа! Не место здесь обидам.  
— А вы же первые охотники повета!  
— знаете ли вы, что значит ссора эта?  
— наша молодежь, отечества надежда,  
— сора должна прославить нас, — и что же?  
— как уж юноши пренебрегают ловом,

Быть может, поводом для них послужат новым  
Раздоры среди тех, кто каждому поляку  
Примером должен быть, а чуть не лезет в драку!  
Должны почтенье вы и мне воздать к тому же,  
Когда-то я знавал охотников не хуже,  
И я был их судьей, арбитром постоянным.  
Скажите, кто в Литве сравняться мог с Рейтаном?  
Найти ли зверя след, устроить ли облаву,—  
Бялопетрович наш здесь первым был по праву!  
Кто зайца на бегу, из нашего повета,  
Как пан Жегота \*, мог убить из пистолета?  
А Тераевич пан? Отваги был великой!  
Да он на кабана ходил с одною пикой!  
А наш Будревич пан! На зависть всем соседям,  
Бывало, он один управится с медведем.  
А если выйдет спор, то как его решали?  
Мы бились об заклад и судей выбирали.  
Сто влук \* земли продул Огинский из-за волка,  
Пан Неселовский дал за лося три поселка,  
Так разрешалось все не дракою, а ладом.  
Не лучше ли и вам решить ваш спор закладом?  
Что слово? Ветер. Нет конца словесным спорам.  
Да стоит ли язык сушить подобным вздором?  
Пусть судьи этот спор решают полюбовно,  
А вы уж им должны внимать беспрекословно.  
Я ж попрошу Судью не соблюдать границы,  
Пусть доезжачие потопчут часть пшеницы,  
Пан не откажет мне и даст им позволение».   
И, замолчав, Судью он обнял за колени.

«Коня! — вскричал Юрист.— В заклад коня и сбрую!  
И, как *salagium* \*, арбитру ассигную  
Вот этот перстень я, на что и акт исправлю!»  
Ассессор пожелтел: «А я ошейник ставлю  
С отделкой яшмовой — на кольцах позолота...  
И шелковый смычок, чья самая работа  
По ценности равна одним камням этим!  
Его оставить я хотел в наследство детям,  
Когда б завел семью... От князя Радзивилла  
Я получил его, — на травле это было.  
Он, князь Сангушко \*, я да Мейен, выезжая,

Побились об заклад, чья всех забьет борзая.  
И что же? В этот день — неслыханная штука! —  
Шесть зайцев загнала́ моя борзая сука!  
Тогда охотились мы на Куписком поле \*;  
Слез Радзивилл с коня и дал восторгам волю,  
Он обнимал ее и даже, помню твердо,  
Не раз поцеловал и, нежно глядя морду,  
Сказал, любуясь прекрасною борзюю:  
«Отныне будешь ты Купискою Княжною!»  
Вот так, по месту, где сраженье происходит,  
Своих вожей в князя Наполеон возводит».

Тут Телимена вдруг, уставшая от спора,  
Решила погулять, найдя себе партнера,  
И, взяв корзиночку, окружена гостями,  
Сказала: «Господа, иду я за грибами!  
И предлагаю вам». И, повязав чалмою  
Малиновый платок и взяв одной рукою  
Дочь Подкомория, она рукой свободной  
Приподняла подол, открыв ботинок модный.  
Украдкой вслед пошел Тадеуш молчаливый.

Доволен был Судья такую перспективой:  
Решил он также в лес отправиться с гостями,  
Надеясь кончить спор, и крикнул: «За грибами!  
Кто лучший гриб найдет, тот будет за обедом  
Прелестнейшей из дам слугою и соседом,  
А если панне вдруг достанется победа,  
Пусть выберет она достойного соседа».





## ВОЛОКИТСТВО

*Экспедиция Графа в сад.— Таинственная нимфа пасет гу-  
сей.— Сходство собирающих грибы с тенями Елисейских  
полей\*.— Сорты грибов.— Телимена в «Храме Грез».— Сове-  
щание по поводу судьбы Тадеуша.— Граф пейзажист.—  
Художественные замечания Тадеуша о деревьях и облаках.—  
Мысли Графа об искусстве.— Колокол.— Записка.— Медведь,  
мошпане!*



Граф повернул коня от низенькой ограды,  
Но ехал не спеша, на сад бросая взгляды.  
Почудилось ему, что вновь в одном из окон  
Мелькнула ленточка и золотистый локон,  
И что-то легкое опять с крыльца слетело  
И, пробежав весь сад, на грядках заблестело  
Средь яркой зелени. Как будто луч из тучи,  
Когда на землю он слетит с небесной кручи  
И камни озарит, темневшие в тумане,  
Иль заблестит в ручье, бегущем по поляне.

Граф соскочил с коня и, отослав жокеев,  
К забору поспешил, украдкой затеяв  
Пробраться в сад. Он щель нашел в конце ограды

И, как в овчарню волк, пролез тайком на гряды,  
Но на беду задел засохшие початки;  
И панна вздрогнула, и оглядела грядки,  
И хоть не видела, что за кустом засада,  
Все ж бросилась бежать в заросший угол сада.  
Меж конским щавелем, травой и лопухами  
Граф, как лягушка, вслед стал двигаться прыжками,  
И вот пролез под куст, срывая паутину,  
И тут-то увидал прелестную картину:

Здесь злаки всех сортов, среди кустов и мяты,  
Под вишнями росли,— горох, ячмень усатый,  
Пшеница, просо, рожь и мак вокруг каемкой;  
Тот сад придуман был искусной экономкой,  
Самой Кокосницкой из рода Индюкови-  
Чевых. В те времена все это было внове,  
Не то, что в наши дни,— тогда ее открытье  
Хозяева в Литве ценили, как событие,  
Немногом был тогда секрет известен этот,  
Потом он в Календарь вошел, как «Новый метод  
Бережь от ястребов и всякой птицы хищной  
Цыплят, гусей и кур, испытанный, отличный  
И всеми признанный»; по этой новой моде  
И был для птицы сад разбит на огороде.

И там, чтоб хищники на птиц не посягнули,  
Осанистый петух стоит на карауле,  
Склонивши голову и клюв задрав высоко,  
Уставив в небеса недремлющее око,  
И, видя, что меж туч явился ястреб хмурый,  
Кричит,— и в тот же миг павлины, утки, куры  
И даже голуби, сбегаясь друг за другом,  
Все прячутся в хлеба, объятые испугом.

Хоть птицам в этот миг ничто не угрожало,  
Но солнце летнее так сильно припекало,  
Что, в хлебной рощице укрывшись с головою,  
Одни лежат в песке, другие под травкою.

И рядом с птицами, под вишнями, в сторонке,  
Виднеются детей льняные головенки  
И шеи смуглые, и тут же между ними

Девичья голова с кудрями золотыми,  
А сзади встал павлин, и яркий хвост павлиний  
Как радуга сиял и, словно на картине,  
На фоне зелени и злаков огорода,  
Как венчик ярких звезд в лазури небосвода,  
Глазки павлиньи их прелестно обрамляли,  
И лен волос блестел в сверкающем овале.  
Вокруг пшеница, рожь, кур-зелье и малина  
Коралл и изумруд сплетали воедино,  
Сливались стебли трав и алых вишен четки,  
Как тонкий переплет серебряной решетки,  
Лучами летними так щедро позлащенный,  
Слегка колеблемый, как занавес зеленый.

Над гущей зелени, над яшмой и рубином,  
Повисли мотыльки прозрачным балдахинном,  
На светлых крылышках сверкают перепонки,  
Как стеклышки блестят дрожащие поденки.  
И хоть жужжат они весь день неутомимо,  
Все ж кажется их рой недвижимой тучкой дыма.

Красавица в руке держала опахало,  
Из перьев страуса, и все оно сверкало,  
Казалось, защитить детей хотела панна  
От яркого дождя; в другой какой-то странный  
Предмет — быть может, рог? И, напрягая зренье,  
Граф разглядел сосуд, должно быть для кормленья,  
Недаром рты детей тянулись к ручке фен,  
Как будто этот рог был рогом Амальтеи \*.

Она ж по временам, забыв про малолеток,  
Бросала взор туда, где легкий шорох веток  
Слугнул ее, хоть враг давно был с нею рядом  
И двигался ползком, как скользкий уж по грядкам.  
И Граф вскочил с земли. Взглянула — был он близко,  
Всего шагах в пяти, и, кланяясь ей низко,  
За нею наблюдал. И панна-невеличка,  
Готовая вспорхнуть, как вспугнутая птичка,  
Всплеснула ручками и, громко крикнув, скрылась.  
И детвора, решив, что с ней беда случилась,  
Мужчину увидав, вдруг стала в страхе диком

Кричать и звать ее, пугая птицу криком.  
Услышав вопль детей, их старшая подруга  
Тотчас же поняла причину их испуга;  
Как призрак, вызванный словами заклинанья,  
К ним бросилась она, оставив колебанья,  
Прижала одного, погладила другого,  
И так ее рука и ласковое слово  
Всех успокоили. И, как птенцы к наседке,  
Притихнув, тотчас к ней прижались малолетки.  
Сказала девушка: «Ну, что вы так кричали?  
Ведь так невежливо! Вы пана напугали.  
Ведь пан не нищий-дед, чтоб утащить вас силой...  
Взгляните же, какой красивый он и милый!»

Взглянула и сама и встретила улыбку.  
Граф был польщен. Но тут, поняв свою ошибку,  
Как розовый бутон садовница зарделась,  
Досадуя в душе на собственную смелость.

Пан, точно, был хорош: он был мужчиной статным,  
Продолговатый лик был бледным, но приятным,  
С глазами синими, льняными волосами,  
Хоть в них еще трава зелеными клочками,  
Которую сорвал он, ползая по грядке,  
Торчала, как венка измятого остатки.

«Как мне назвать тебя, небесное творенье?  
Ты нимфа или дух, богиня иль виденье?  
Своей ли волею на землю снизошла ты?  
Иль жребий приковал тебя к земле проклятый?  
Ах нет! Я понял все: отвергнутый влюбленный,  
Ревнивый опекун, вельможа непреклонный,  
Здесь заключил тебя, кляня свои седины!  
Из-за тебя могли б сражаться паладины!  
О, ты достойна стать печальной героиней!  
Открой же тайну мне,— я рыцарь твой отныне,  
Делись со мною всем, страданьем и тоскою!  
Владешь сердцем ты, владей же и рукою!»  
Он руку протянул.

Потупившись смущенно,  
Она его речам внимала благосклонно.

Как тешится дитя раскрашенной виньеткой  
Иль забавляется блестящею монеткой,  
Не зная ей цены, так слух ее ласкали  
Его слова, хоть смысл понятен был едва ли.  
И молвила она, не разгадав загадки:  
«Откуда пан пришел? Что ищет он на грядке?»

Смущенный Граф раскрыл глаза от удивленья  
И, сразу снизив тон, сказал: «Прошу прощенья,  
Что панну я отвлек от милого занятья,  
На завтрак я спешил, боялся опоздать я,  
До дома я хотел добраться поскорее —  
Дорога через сад мне кажется прямее...  
Чтоб долго не кружить, решил пройти я садом...»  
Сказала девушка: «Вот тропка, сударь, рядом...  
Не надо грядки мять... пройдите вдоль посева,  
Тропинкой...» Граф спросил: «Направо иль налево?»  
Садовница, подняв глазенки голубые,  
Дивилась, словно ей случалось так впервые —  
Как на ладони дом стоял, к его порогу  
Ходьбы минуты две, а пан искал дорогу!  
Но пылкий Граф искал лишь повода к беседе:  
«А панна здесь живет? Так, значит, мы соседи?  
И как же до сих пор не встретился я с панной?  
Быть может, здесь она живет не постоянно?»  
Но девушка в ответ головкой покачала.  
«Могу ли я просить, чтоб панна указала  
Где комната ее? Не это ли окошко?»  
А про себя решил: «Конечно, эта крошка  
Не героиня, нет, но страсть души великой  
Незримая цветет, как роза в чаще дикой,  
И стоит вынести ее из заточенья,  
Чтоб ослепило всех прекрасное растенье».

Тут встала девушка, не говоря ни слова,  
Ребенка за руку взяла, потом другого,  
А прочих, как гусят разбредшееся стадо,  
Погнала пред собой куда-то в гущу сада.

Но обернулась вдруг: «Пан сможет, вероятно,  
Всю птицу в садик наш теперь загнать обратно?»  
«Мне птицу загонять?» — воскликнул Граф с досадой.

Но панночка уже исчезла за оградой.  
Еще на миг в листьях, которыми качалась,  
Блеснули два арчика, иль это показались.

И долго он стоял, уставясь издали куда-то;  
И вот его душа, как поле в час заката,  
Вдруг стала остывать, и краски потускнели.  
Он грезил,— но мечты души его не грели.  
Он сам не мог понять, что сердце раздражало:  
Он многого желал, нашел же слишком мало!  
Когда он полз в траве, увидев эту фею,  
Как он мечтал о ней! Как любовался ею!  
Как украшал ее в воображение живо!  
Но все нашел другим. Нет слов, она красива,  
Фигура стройная, но, боже, как нескладна!  
А этот цвет лица! Он говорит наглядно  
О полнокровии и о благополучном,  
Простецком существе, упитанном, но скучном!  
Как видно, дремлет мысль и в сердце нет волнения.  
А речи как просты! Как пошлы выраженья!  
Он принял огород за дикую опушку  
И нимфою считал неловкую пастушку!

И сразу все вокруг померкло и поблекло,  
Исчезло волшебство — решетки, ленты, стекла...  
Увы! За золото он принимал солому!

Очнувшись, бедный Граф все видел по-инному.  
И на пучок травы взглянул он с недоверьем —  
Ему дивился он, как страусовым перьям!  
А золотой сосуд в руках прекрасной феи  
Простой морковкой был, не рогом Амальтеи!  
Мальчишка грыз ее, схватив ручонкой жадной...  
Сменился чудный сон картиной неприглядной!  
Так одуванчика пушистая коронка  
Своею мягкостью манит к себе ребенка,  
Но чуть приблизился, дохнул — и все пропало!  
Лишь белый пух летит, цветка как не бывало.  
И жалобно глядит на стебель беззащитный  
Ботаник молодой, не в меру любопытный.

Схватив шляпу, Граф, боясь чужого взора,  
Из сада поспешил, шагая без разбора  
По овощам, цветам и кустикам рассады,  
И так бежал, пока не миновал ограды.  
Он вспомнил, что сказал о завтраке пастушке,—  
Быть может, все уже узнали от болтушки  
О встрече их? Пошлют на розыски лакея,  
И станет всем тогда ясна его затея?  
Решил вернуться он. И, прижимаясь к тыну,  
В крапиве до колен, он шел, сгибая спину,  
И вышел, наконец, уже к пути прямому,  
Который вел его к соплицынскому дому.  
Он вдоль забора шел, отворотясь от сада,—  
Так осторожный вор проходит мимо склада,  
В котором побывал иль побывать намерен.  
Граф осторожен был и, так как был уверен,  
Что здесь за ним следят, решил смотреть направо.

Там рошица была, вся в зелени кудрявой,  
И по ее коврам меж белыми стволами,  
Под сводчатым шатром, наброшенным ветвями,  
Фигуры странные как призраки блуждали  
И странно двигались, как будто танцевали  
И кланялись. Одни в одеждах узких, черных,  
Другие же в плащах распахнутых, просторных,  
Те в шляпах, те без шляп, с открытой головою,  
А те закутаны прозрачною фатою,  
Казалось, облаком их головы одеты,  
И шарф тянулся вслед, как длинный хвост кометы.  
Все в разных позах: тот прирос к земле,— не сходит,  
Уставив в землю взор, глазами лишь поводит,  
Тот, как сомнамбула, спускается по скату,  
Шагая напрямик, идет, как по канату.  
И то и дело все, взглядевшись в дерн зеленый,  
На миг склоняются, как будто бьют поклоны.  
И если встретятся, так разойдутся снова,  
Не поздоровавшись и не сказав ни слова.  
Граф понял, что попал он к теням елисейским,  
Что, не доступные страданиям житейским,  
Блуждают по полям, оставив мир реальный,  
Спокойны и тихи, но все-таки печальны.

Кто мог бы в тех тенях, исправив Графа промах,  
Узнать гостей Судьи, отлично нам знакомых?  
Обильно закусив, хозяева с гостями  
Отправиться тотчас решили за грибами.  
И, как пристало всем благоразумным людям,  
Что могут угодить и самым строгим судьям,  
Они, чтоб соблюсти обычай польской знати,  
Переменяли вид: поверх простого платья  
Накинули плащи, которые от пыли  
Должны предохранить, и под холстиной скрыли —  
Мужчины — модные костюмы и кунтуши,  
А дамы — кружева, оборочки и рюши,  
И стали походить на праведные души.  
Все, кроме щеголей и пани Телимены,  
Преобразились так.

Однако этой сцены  
Граф разгадать не мог, обычаев не зная.  
Он в рошу поспешил, виденья догоняя.

Грибов там было — тьма. Для юношей лисички,  
Воспетые в Литве, лисички-краснолички —  
Эмблема чистоты: их червь земной не точит,  
И насекомое на шляпку их не вскочит.  
А боровик — для панн, — коль верить песням старым,  
Грибным полковником зовут его недаром.  
Все ищут рыжиков, хоть в песнях безыскусных  
Тот гриб и не воспет, зато из самых вкусных.  
Зимой и осенью соленый рыжик впору.  
Но Войский, как всегда, был рад лишь мухомору.

— Но, кроме тех грибов, повсюду знаменитых,  
— есть много и других невкусных, ядовитых,  
— хоть польза есть и в них: они для зверя пища,  
для жуков и мух уютные жилища.  
скатерти лугов они стоят повсюду,  
— поминая нам столовую посуду.  
сыроежек ряд, блестит наряд их яркий,  
будто бы вином наполненные чарки.  
— козляки — вверх дном поставленные кружки,  
— юмки для ай, высокие волнушки,

И, словно с молоком фарфоровые чашки,  
Белянки круглые, и возле них, в овражке,  
Как перечница мал, наполнен черной пылью,  
Кургузый дождевик, питающийся гнилью.  
Другим названья нет. Как говорят преданья,  
Лишь зайцам да волкам известны их названья.  
Без омерзенья к ним никто не прикоснется,  
А если, впопыхах, не разобрав, нагнется,  
В сердцах растопчет гриб иль, в корешок нацелясь,  
Толкнет его ногой, травы испортив прелесть.

Сестру хозяина грибы не занимали.  
Закинув голову, играя кромкой шали,  
Она по лесу шла. Юрист злословил, меткий,  
Что ищет рыжиков красавица на ветке.  
Ассессор же съязвил похлеще, чем Болеста,  
Мол, птичка для гнезда подыскивает место.

Она же, отделясь от спутников, казалось,  
Искала тишины и молча удалялась  
К пологому холму, где тополи и клены,  
Бросая тень, навес раскинули зеленый.  
Там камень был большой. Из-под него, весь в пене,  
Выскакивал ручей и вновь стремился к тени  
И прятался в траве, сбегая вниз к оврагу,  
Что густо разрослась, впитав его же влагу.  
Там этот озорник, спеленутый травой,  
На ложе бархатном, устеленном листвою,  
Чуть слышно лепетал, привыкнув к новоселью,  
Как резвое дитя, когда над колыбелью  
Задернет полог мать, чтоб сон был на здоровье,  
И маковый листок положит в изголовье.  
И этот уголок не терпящая прозы  
Сестра хозяина прозвала «Храмом Грезы».

И, подойдя к ручью, движением ленивым  
Она стянула шаль с малиновым отливом,  
И, как купальщица, пред тем как искупаться,  
Склоняется к воде, чтоб с силами собраться,  
Склонилась на траву и повернулась боком,  
И, словно схвачена коралловым потоком,

Упала во весь рост, уперлась в мох локтями  
И, голову склонив, укрылась под ветвями.  
И вскоре средь стеблей гвоздики и горошка  
Мелькнула перед ней изящная обложка.  
Над яркой белизной веленовой бумаги  
Повисли локсны, размокшие от влаги.

В смарагде буйных трав, на этой шали алой,  
Украшившей ее, как рамка из коралла,  
Где с одного конца чернел затылок темный,  
С другого тувельки, где белизной нескромной  
Сверкало то плечо, то шея, словно пена,  
То шелковый чулок, казалась Телимена  
Улиткой пестрою, когда на лист березы  
Вползет она.

Увы, вся прелесть этой позы  
И все достоинства напрасно ожидали  
Своих ценителей — ее не замечали!  
Всех увлекли грибы. Один Тадеуш боком  
Стал подбираться к ней, как будто ненароком.  
Так приближается стрелок, скрывая трепет,  
Прикрыв возок кустом, чтоб не заметил стрелет,  
Иль, разглядев зуйка, за лошадью крадется,  
Ружье прикрыв седлом иль гривой — как придется:  
Как будто пашет он, плетется еле-еле,  
А сам, тем временем, подходит ближе к цели.  
Так крался юноша

Но помешал затее  
Племянника Судья,— он выбрал путь прямес.  
Его широкий плащ по ветру развевался,  
У пояса платок завязанный болтался,  
И шляпа круглая от быстрого движенья  
Качалась, как лопух, и каждое мгновенье  
Грозила то на лоб, то на плечи свалиться,  
В руке большая трость,— так шествовал Соплица.  
Склонившись над ручьем и вымыв руки в пене,  
Судья на камень сел, поближе к Телимене,  
И, опершись рукой на трость, без колебаний,  
С такою речью он вдруг обратился к пани:  
«С тех пор как здесь гостит Тадеуш, мой племянник.  
Не сплю я от забот, как будто чей я данник!

Я старый человек, себе не нажил чада,  
И этот мальчуган одна моя отрада.  
Один наследник мой. И милостию неба.  
Ему оставлю я кусок изрядный хлеба.  
Пора его судьбу решить нам обоюдно,  
Но знаешь ли, сестра, о том, как это трудно?  
Отец Тадеуша, мой брат, довольно странный,  
И трудно мне понять его дела и планы.  
Покинул родину, уехал на чужбину  
И объявить, что жив, не хочет даже сыну.  
А им руководит! То в легион сначала  
Хотел его послать \*, — я пережил не мало! —  
То разрешил, чтоб он не покидал усадьбы  
И свадьбу здесь сыграл. Невеста-то нашлась бы...  
Есть партия под стать — любого переспорим!  
Ну кто из шляхты здесь сравнится с Подкоморьем?  
А у него есть дочь, ее ты знаешь: Анна,  
Как раз на выданье, молоденькая панна,  
Так я хотел бы их...» Тут пани побледнела,  
Захлопнула роман, приподнялась и села.

«Да что ты, братец мой, подумай хоть немного —  
Какой же в этом смысл? Да ты побойся бога!  
Тадеуша женить?! Нелепая затея!  
Чтоб сделать из него мужлана-гречкосея! \*  
Он проклянет тебя, и будет основанье:  
На грядках, здесь, зарыть такое дарованье!  
Ты хочешь, чтобы он зачах в твоём повете?  
Ему б пожить с людьми, пообтесаться в свете!  
Послушай, милый брат, ты рассудил бы здраво,  
Когда б Тадеуша решил послать в Варшаву.  
А лучше в Петербург! Ведь я туда зимою  
Поеду по делам, — а я уж там устрою,  
Чтоб мальчик приобрел столичные манеры,  
Чтоб встретил он людей, полезных для карьеры!  
Тут нужно обладать умением особым, —  
Его представлю я влиятельным особам,  
Получит орден, чин, сведет со знатью дружбу,  
А надоест служить, — пускай оставит службу,  
Приобретя уже и вес и положенье...  
Как думаешь, мой брат?» — «Я сам того же мнения, —

Соплица отвечал,— коль разобраться строго,  
Неплохо юноше проветриться немного...  
Я в молодости сам исколесил немало:  
И в Петрокове был с делами трибунала,  
И в Дубне побывал \*,— поездил я на славу,  
И даже как-то раз я посетил Варшаву!  
Полезно, спору нет! Пускай бы и племянник  
Поездил меж людей, но просто так, как странник,  
Как подмастерье лишь, что сам, на старших глядя,  
Жизнь учится ценить. Но только уж не ради  
Чинов и орденов! О них я не забочусь.  
Московские чины! Скажи, какая почесть!  
Ну кто из шляхтичей, и в старину и ныне,  
Когда-нибудь мечтал об ордене и чине?  
Какие пустяки! Да что нам делать с ними?  
Привыкли в людях мы ценить их род и имя  
И должности лишь те, что шляхтою даны нам!  
А чтоб подачки ждать? Да бог с ним, с этим чином!»

«Тем лучше, если так! — сказала Телимена.—  
Полезен нам вояж и места перемена».

«С тобой согласен я,— Судья сказал, уныло  
Затылок почесав,— я сам так думал было,  
Да брат решил за нас, он опекает сына,  
И мне еще прислал на шею бернардина:  
Ксендз Робак, тот, что к нам приехал из-за Вислы,  
Привез его письмо, я в нем не понял смысла,  
Но на словах уже узнал я при расспросе,  
Что брат решил женить Тадеуша на Зосе,  
Питомице твоей... Противиться нельзя нам!  
Обоих обещал он наделить приданым.  
Ты знаешь ведь, сестра, я всем ему обязан:  
Немалый капитал был братом мне отказан...  
Так пусть решает сам. Подумай же об этом,  
Ты мне должна помочь услугой и советом.  
Мы познакомим их. Недолго ждать успеха!  
Хоть Зося молода, но это не помеха.  
Ей жить затворницей, пожалуй, даже странно,  
Она уже теперь не девочка, а панна».

Пока он излагал все это Телимене,  
Она приподнялась и встала на колени.  
И в бешенстве ладонь приблизив быстро к уху,  
Ей начала трясти, гоня слова, как муху,  
Как будто затолкать она хотела снова  
Слова в уста Судьи.

«Ах, вот как? Это ново!

Что вредно для него и что ему полезно,  
Судить об этом вам! Вы сделали б любезно  
Не докучая мне! Что мне-то, посудите?  
Да хоть в корчму его за стойку посадите!  
Пусть водку подает крестьянам на подносе!  
Пусть будет лесником... Мне дела нет! Но Зося?  
Какое дело вам до Зоси? Удивляюсь!  
Лишь я одна судьбой ее распоряжаюсь!  
И если деньги ей пан Яцек выделяет,  
То это, сударь мой, еще не означает,  
Что он ее купил! А впрочем, вам известно.  
И мне напоминать об этом неуместно,  
Но эта щедрость, паи, не милость для девицы:  
Горешкам кое-чем обязаны Соплицы!»  
(Судья, казалось, был смущен ее тирадой,  
Он молча ей внимал со скорбью и досадой,  
И, словно бы боясь, что будет продолженье,  
Он головой кивнул, чтоб кончить объясненье.)

И пани, помолчав, сердито продолжала:  
«Я Зосе ближе всех. Ее я воспитала.  
И нужно раньше всех узнать мое согласие!»  
«А если бы она нашла в том браке счастье? —  
Спросил ее Судья,— а если бы ей душу  
Пленил он?» — «Ах, мой брат! Ищи на вербе грушу!  
Пленил иль не пленил! Как будто это важно!  
Хоть Зося и бедна, зато уж не сермяжна!  
Иль, братец, ты забыл, какой она породы?  
Найдутся женихи для дочки воеводы!  
Отец вельможей был, а мать была Горешко!  
Да чтоб она в глуши сгнила, как сыроежка!  
Затем ли я ее воспитывать старалась?»  
И, глядя ей в глаза, Судья молчал,— казалось,  
Он успокоился. «Ну что же,— дело ясно!

Бог видит, я хотел, чтоб вышло все согласно.  
Но если ты, сестра, решила по-другому,  
Пусть так,— да для чего ж сердиться попустому?  
Так приказал мне брат, не мешкал я с приказом.  
Но если свату ты ответила отказом,  
Я извещу его, что брак не состоится,  
Что Зосе в женихи Тадеуш не годится,  
Как рассудила ты. Но дело мы ускорим  
И, видно, сватовством займемся с Подкоморьем».

Тут собеседница сменила гнев на милость:  
«Ах, братец, погоди... Я вовсе не сердилась!  
Ведь ты же сам сказал, что Зосе лет так мало...  
Посмотрим, подождем... Ведь я не отказала.  
Мы познакомим их... Но так спешить безбожно —  
Решать судьбу других должны мы осторожно!  
И ты не торопи племянника и силой  
Любить не принуждай... Ты не забудь, мой милый,  
Что сердце не слуга, и нет на свете власти,  
Чтоб заковать его иль вылечить в несчастье».

Соплица молча встал и быстро удалился.  
И в тот же самый миг Тадеуш появился,—  
Он шел и делал вид, что увлечен грибами.  
Сюда же шел и Граф неслышными шагами.

Пока тянулся спор Соплицы с Телнмсной,  
Граф прятался в кустах, любясь этой сценой.  
Он вынул карандаш, потом достал бумагу,  
Что брал всегда с собой, и, отыскав корягу,  
Стал тут же рисовать, как это делал часто,  
Твердя при этом вслух: «Ах, сколько в них контраста!  
Как будто кто-то их поставил для природы!  
Как живописен фон! Как красочны фигуры!»

Он протирает лорнет и, приближаясь к цели,  
Прищуривал глаза и думал: «Неужели,  
Едва достигну я прелестного виденья,  
Окажется оно опять обманом зренья?  
Окажется ботвой поляны бархат яркой,  
А нимфа нежная — вульгарною свинаркой?»

Хоть в доме у Судьи, где Граф бывал нередко,  
Встречался он не раз с прекрасною соседкой,  
Но так как он ее не замечал доселе,  
Был удивлен, узнав черты своей модели.  
Изысканный наряд и живописность позы —  
Вот было что виной такой метаморфозы.  
В глазах светился гнев, сверкало оживленье,—  
Недавний спор с Судьей, мужчины появленье,  
Все это кровь ее в тот миг разгорячило  
И бледное лицо румянцем оживило.

Граф поклонился ей: «Простите за вторженье,  
Но я принес, как дань, восторг и извиненья!  
Простите же за то, что я следил украдкой,  
Любуясь издали минутой грезы сладкой!  
Да, да, я виноват! Но стольким вам обязан!  
За этот дивный миг я должен быть наказан!  
Суди же мой порыв, восторги грезы чистой!  
Мужчину обвини, но пощади артиста!  
Взгляни, вот здесь моих мечтаний отголоски!»  
И, на колени встав, он подал ей наброски.

Она судила их, хоть вежливо, но строго  
И тоном знатока, который видел много.  
Скупа на похвалы, щедра на поощренья:  
«У вас большой талант, но станет ли терпенья  
Развить его, мой пан? он требует культуры!  
Достойной лишь искать вам следует природы.  
О ты, Италия! Бессмертный гимн природы!  
Тибура древнего классические воды!  
А Позиллипо грот? \* А розы и агавы?  
Страна художников! У нас же,— боже правый!  
Увы, питомец муз зачах бы в Соплицове!  
Я ваш эскиз беру, уж место наготове  
В коллекции моей. Как жаль, что мы не дома,  
В моем бюро храню я два таких альбома!»

Тут разговор пошел о скалах и заливах,  
О синих небесах и о морских приливах,  
И, восхваляя край, где солнце жарче грело,  
Над родиной они смеялись то и дело.

А между тем вдали тянулись перед ними  
Литовские леса с дубами вековыми,  
Где зелень яркая мешается с багрянцем,  
Рябина налилась пастушеским румянцем,  
Где с жезлами стоит оршник, как менада \*,  
В зеленом жемчуге, как в гроздьях винограда,  
А ниже детвора: терновник и калина,  
И тянет к ним уста пурпурные малина.  
Там, взявшись за руки, как в сельском хороводе,  
С кустами шепчутся деревья на свободе.  
И все любят прекрасною четою,  
Что встала в их кругу, пленяя красотой:  
Прижался стройный граб, как юноша несмелый,  
К березе молодой, к своей невесте белой.  
И, словно старики, любят на внуков  
Ряды высоких лип и престарелых буков,  
И дуб — столетний дед, от моха бородастый,  
Не в силах разогнуть своей спины горбатой,  
Оперся на хребты дубов окаменелых,  
Как на столбы гробниц, от века почернелых.

Тадеушу давно беседа надоела,  
И молча ерзал он, вздыхая то и дело.  
Когда ж они взялись хвалить леса чужие,  
Деревья называть такие и сякие:  
Миндаль и кипарис, лимоны и маслины,  
Алоэ, кактусы, лианы, апельсины,  
Смоковницы и плющ, наперебой при этом,  
Дивясь форме их и восхищаясь цветом,  
Тадеуш хмурился, скрывая раздраженье,  
И, наконец, вскочил в порыве возмущенья, —  
Хоть был он простоват, но чувствовал природу, —  
Окинул взглядом лес и гневу дал свободу:  
«Я в Вильне много раз видал в оранжерее  
Все, что хвалили здесь вы, красок не жалел,  
Деревья южные, растущие средь зноя,  
Но с нашими из них сравню ли хоть одно я?  
Алоэ, может быть, где стебли, словно палки?  
Иль, может быть, лимон, с шарами карлик жалкий,  
Весь лакированный, короткий и пузатый,  
Как маленький урод, противный, но богатый?»

Иль тощий кипарис, по швам держащий руки?  
В том «дереве тоски» я вижу больше скуки!  
Над склепом, говорят, они еще печальней!  
По мне, ваш кипарис — лакей в придворной спальне,  
Который, точно столб, во время туалета  
Навытяжку стоит по форме этикета!

На них бы не сменял я северной березы,  
Которая, как мать над сыном, точит слезы,  
Иль, как вдова, стоит, поникнув в смертной муке,  
Иль, косы растрепав, заламывает руки.  
Все горе в ней и скорбь — и лик и стан понурый...  
Зачем же вам, пан Граф, пренебрегать натурой?  
Ужели нет красот средь северного бора?  
И, право, шляхтичи смеяться станут скоро.  
Что вы, хоть и в Литве у нас живете ныне,  
А пишете и здесь всё скалы да пустыни!»

«Мой друг,— ответил Граф,— прекрасная природа  
Ведь это только фон,— душе нужна свобода!  
Фантазия парит на крыльях вдохновенья!  
Конечно, нужен вкус, но все же для творенья  
Природы мало нам, порыва страсти мало,—  
Артист стремится сам к истокам идеала!  
Не все прекрасное годится для картины,—  
Об этом ты прочтешь со временем доктрины  
Недаром же всегда искали пейзажисты  
Ансамбль и колорит, а также свет лучистый  
Небес Италии — она в нас будит чувства!  
Италия, мой друг,— отечество искусства!  
Здесь двух-трех гениев найдем мы еле-еле:  
Во-первых, Брейгеля, но, чур, не Ван дер Хелле,  
А старшего, затем, конечно, Рюисдаля \*,  
И больше никого на Севере не знали!  
Нам небеса нужны!» — «Художник наш Орловский \*,—  
Вмешалась пани,— вкус усвоил соплицовский  
(А есть у всех Соплиц болезнь такого рода:  
Им нравится одна литовская природа),  
Так жил он при дворе и славой мог гордиться  
(Один его эскиз в моем бюро хранится),  
Жил, как в раю,— и что ж? В течение всей жизни —

Поверите ли, Граф? — скучал он по отчизне!  
Считал, что нет земли на белом свете краше,  
Он все в Литве хвалил: и лес и небо наше...»

«И был, конечно, прав! — вскричал Тадеуш страстно.—  
Ваш южный небосвод, голубенький и ясный,  
Напоминает мне мороженую воду!  
Нет, больше во сто крат люблю я непогоду,—  
Тут поднял голову,— и сколько сцен могучих,  
Картин и образов в меняющихся тучах!  
Все тучи разные — гляди на них и ахай:  
Осенняя ползет ленивой черепахой  
И ливень до земли спускает полосой,  
Как будто бы метет распушенной косою.  
Но, как воздушный шар, несется грозовая,  
Снаружи синяя, в середине — золотая.  
А эти облачка? Едва задержим взор мы,  
Увидим, как они свои меняют формы:  
Вот, кажется, плывут станицей лебединой;  
Как сокол ветер их сгоняет в круг единый,  
Они сжимаются, растут, и снова диво!  
Склоняют головы и распускают гривы,  
Уж ноги их видны,— и вот на небосклоне  
Несутся, как в степи, серебряные кони...  
Смешались... Точно их лучами растопило...  
Но мачты поднялись, из грив растет ветрило,  
Уж не табун — корабль... И вот он над тобою  
Торжественно плывет равниной голубою...»

Граф с Телименою, Тадеушу внимая,  
Глядели вверх, а он, рукою направляя  
Их взор, другой рукой жал ручку Телимены.  
Никто не прерывал словами тихой сцены.  
Достал бумагу Граф, не говоря ни слова,  
На шляпе разложил, но вдруг из Соплицова  
Донесся колокол и тишину встревожил,  
Раздался треск и шум — и лес мгновенно ожил.

Граф головой поник и молвил важным тоном:  
«Так все на свете рок кончает этим звоном —  
Полет фантазии, невинные забавы,

Утеху юности и обольщенья славы!  
Любовь, надежда, страсть — все станет нереальным,  
Исчезнет навсегда со звоном погребальным!  
Что ж остается нам?» И он взглянул на пани.  
Она вздохнула: «Нам? Одно воспоминанье!»  
И, заключив, что Граф расстроен не на шутку,  
Растрогавшись, ему вручила незабудку.  
Цветок к губам прижал мечтатель восхищенный.  
Тадеуш между тем, раздвинув куст зеленый,  
Увидел, что к нему в траве скользит, белея,—  
Что ж? — ручка нежная, как белая лилея!  
И он ее схватил, поднес к губам украдкой  
И, как пчела в цветке, вдыхая запах сладкий,  
Вдруг холод ощутил: в руке была записка  
И ключ... Он их схватил и в ожиданье близкой  
Разгадки стал гадать: что б это означало?  
Но, верно уж, письмо загадку объясняло!

А колокол звонил. И, словно отвечая,  
Проснувшись ото сна, гудела даль лесная.  
Ауканье гостей слышалось из бора —  
Тот колокол служил для них сигналом сбора,  
Он рожу огласил не погребальным звоном,  
Как Граф вообразил,— он не был похоронным,  
Он в полдень прерывал прогулку и беседу  
И приглашал домой гостей и слуг к обеду.  
Соплица сохранил старинный тот обычай.  
И, нагруженная своей лесной добычей,  
С корзинками в руках, столпилась средь поляны  
Компания гостей. В руке у каждой панны,  
Как веер, боровик широкий и пузатый,  
В другой же, как букет, волнушки и опята.  
Был каждый из гостей своим доволен сбором,  
Шел Войский сзади всех с огромным мухомором,  
И лишь зачинщица не хвасталась грибами,  
Да двое юношей с пустыми шли руками.

В столовой общество столпилось в полном сборе.  
Все ждали, чтоб прошел на место Подкоморий,—  
Он заслужил почет и возрастом и чином,  
Шагая, кланялся он дамам и мужчинам,

С ним рядом квестарь встал, хозяин посредине.  
Ксендз громко прочитал молитву по-латыни,  
Мужчины выпили; и сели все в молчанье —  
Литовский холодец привлек гостей сниманье.

Бог знает, почему, в течение обеда,  
Как ни старался пан, не клеилась беседа.  
Сторонники борзых, в свои тарелки глядя,  
Должно быть думали о завтрашнем закладе.  
Мысль важная устам молчать повелевает.  
Сестра хозяина одна не умолкает,  
Смеется с юношей, заводит с Графом споры  
И на Ассессора порой бросает взоры.  
Так хитрый птицелов с раскрытыми сетями  
В ловушку ждет щегла, следя за воробьями.  
И Граф с Тадеушем, довольные собою,  
Мечтали про себя, не тешась болтовнею.  
Граф поправлял цветок, что был в его петлице,  
Тадеуш проверял, на месте ли хранится  
Заветный ключ с письмом. И, наклонясь над миской,  
Украдкою рукой он трогал ключ с запиской.  
И, Подкомория усердно угощая,  
Хозяин молча ел, венгерским запивая.  
Казалось, говорить он не имел охоты —  
Тревожили его какие-то заботы.

Так молча каждый ел, не глядя на соседа.  
Но тут-то скучное течение обеда  
Прервал неожиданный гость. Не обратив вниманья  
На то, что шел обед, на чинное собранье,  
Лесничий подбежал к хозяину поместья —  
Должно быть, важные принес ему известья.  
Все замерли, а он, переведя дыханье,  
Взволнованно сказал: «Медведь! Медведь, моспане!»  
Все поняли тотчас, что этот зверь, идущий  
Из крепки, путь держал в Занеманскую пушу,  
Что нужно снарядить немедленно облаву,  
И каждый предвкушал опасную забаву.  
И стало ясно вдруг по быстрым замечаньям,  
По жестам и глазам, по кратким приказаньям,

Которые тотчас со стольких уст слетели,  
Что славные ловцы к одной стремились цели.

«В село! — вскричал Судья.— Пускай объявит сотник\*,  
Облава на заре! Кто до нее охотник,  
Пусть выйдет, всем скошу за то, что пораделн,  
Повинности два дня да барщины неделю!»  
Пан Подкоморный встал: «Эй вы, седлать гнедого!  
Моих пнявок взять для случая такого!  
Недаром славятся — уж то-то травят лихо!  
Пса звать Исправником, а суку звать Стряпчиха!  
Надеть намордники! Да обвязать мешками!  
И вмиг доставить мне, для скорости, верхами!»  
Ассессор закричал по-русски: «Ванька! Живо!  
Достань-ка мне тесак да наточи радиво,  
Подарок княжеский... Ну, что стоишь, копуля?  
Да патронташ проверь, везде ль в зарядах пуля!»  
«Свинца! Свинца! Для пуль я формочку имею!»\* —  
Нотариус кричал.— Воспользуемся ею!»  
Соплица приказал: «Оповестить плебана,  
Чтоб мессу отслужил в часовне утром рано  
Святого Губерта,— охотничья молитва...  
Нам завтра предстоит серьезная ловитва!»

Когда же шум утих и смолкли восклицанья,  
Задумались ловцы средь общего молчанья.  
К кому же всем им встать отныне под начало?  
И Войского лицо все взоры приковало.  
И это значило, что будет он главою,  
Что жадует его собранье булавою\*.  
Пан Войский угадал, что избран общей волей,  
И важно приступил к своей почетной роли:  
Цепочку потянул из правого кармана  
И, вытащив часы, сказал: «Поутру рано,  
В начале пятого, в часовне, мы назначим  
Собраться всем ловцам, псарям и доезжачим».

И встал из-за стола. За ним пошел лесничий  
Обдумать все, чтоб лов закончился добычей.  
Сегодня до утра им не заснуть обним.  
Так полководцы в ночь перед великим боем,

Пока солдаты спят, вкушая отдых краткий,  
Одни вершат совет в тиши своей палатки.

Итак, остаток дня у всех ушел на сборы.  
Ковали лошадей, затем кормили своры,  
Оружье чистили и ужинать не стали.  
И даже партии свой спор не вспоминали.  
Ассессор и Юрист, как два родные брата,  
Разыскивать свинец вдвоем пошли куда-то.  
И вскоре все легли, чтоб выспаться на славу  
И свежими начать опасную облаву.

Тадеуша Судья в пристройку спать отправил.  
Войдя, он запер дверь, свечу в камин поставил  
И сделал вид, что спит. Он ждал, чтобы стемнело,  
По комнате ходил, томясь, и то и дело  
Поглядывал в окно. Его забыла дрема.  
Он сторожа искал, что ходит возле дома,  
Когда же разглядел, что сторож у сарая,  
Он выскочил в окно, минуты не теряя,  
Уставил в темноту пылающие очи  
И в тот же миг исчез во тьме осенней ночи.





## ДИПЛОМАТИЯ И ОХОТА

*Видение в папильотках будит Гадеуша.— Ошибка, замеченная слишком поздно.— Корчма.— Эмиссар.— Умелое пользование табакеркой дает надлежащее направление спору.— Крепь\*.— Медведь.— Гадеуш и Граф в опасности.— Три выстрела.— Спор Сагаласовки и Сангушовки, решенный в пользу горшковой одностолки.— Бигос.— Рассказ Войского о поединке Довейки и Домейки, прерванный травлей зайца.— Окончание рассказа о Довейке и Домейке.*



убы — ровесники князей Литвы могучих,  
Деревья Святизи, Понарских пущ дремучих!  
Когда-то среди вас, в глуши, от солнца скрытой,  
Охотился Миндовг и Витенес маститый,  
И славный Гедимин, что как-то раз в Понарах,  
На шкуре у костра, под сенью буков старых,  
Лежал и слушал песнь искусника Лиздейки\*  
И, убаюканный журчанием Вилейки,  
Внезапно задремал — и сон ему приснился.  
В том вещем сне ему железный волк явился,—  
Так Вильно основал он в чаще непроглядной;  
Тот город средь зверья сидит, как волк громадный,—  
Не он ли выкормил, как римская волчица\*  
80

Ольгерда с Кейстутом \*, чтоб славой их гордиться,  
Ловцов и рыцарей, привыкших лишь к победе,  
Дрались ли с недругом, следили ли медведя?  
Так вещей сон открыл времен грядущих дали:  
Железо и леса Литвы защитой стали.

Литовские леса! Под сенью ваших кленов  
От лова отдыхал наследник Ягеллонов \*,  
Счастливый ратник, вождь, для недругов несносный,  
Последний на Литве охотник венценосный.  
Деревья милые! Друзья мои! Приду ли  
Опять под вашу сень? Увижу ли? Найду ли?  
Я знал ребенком вас. И часто на чужбине  
О вас я вспоминал. Стоит ли и доньше  
Баублис-исполин? В его дупле, бывало,  
Двенадцать человек свободно пировало,  
Как в прочном домике, за ужином веселым.  
Миндовга рощица шумит ли над костелом?  
Все так же ли стоит в просторах украинских  
Над Росью быстрою в усадьбе Головинских  
Та липа-исполин, под сенью чьей, бывало,  
По праздникам сто пар мазурку танцевало?

Деревья славные! Вас губит год за годом  
Купеческий топор — вы сделали доходом!  
Вы ни певцов, ни птиц не радуете сенью.  
Как часто прежде вы служили вдохновенью!  
Так пел наш славный Ян под липой чернолесской \*.  
Так были старые о чести молодецкой  
Дуб-говорун шептал казацкому поэту! \*

Я сам обязан вам и помню пору эту:  
Добычу упустив, боясь друзей презренья,  
Как часто я тогда искал уединенья!  
Я с вами говорил, охоту забывая,  
И мне в ответ листва шептала, как живая.  
Посмотришь: всюду мох, седобородый, дикий,  
Весь залит синевой раздавленной черники,  
Там вереск розовый, терновник одичалый,  
Брусники по траве рассыпаны кораллы,  
И неба не видать. Повсюду мрак дремучий,

И ветви, спутавшись, нависли, словно тучи,  
Густые, низкие. И слышен ветра хохот,  
Его сменяет стон, рычание, гром и грохот:  
Далекый, странный гул! Как будто, скрытый мглою,  
Бушует океан, нависший над тобою.

Внизу, как городов разрушенных руины,  
Разбросаны грозой деревья-исполины,  
Тут дуб, как черный сруб, там, как колонн обломки,  
Ветвистые стволы чернеют сквозь потемки,  
Над частоколом трав дрожит ветвей завеса;  
За ней, в дремучей тьме живут владыки леса:  
Медведи, кабаны. У входа чьи-то кости, —  
Как видно, были здесь доверчивые гости.  
Порою сквозь траву и ветки в отдаленье,  
Как два фонтана, вдруг встают рога оленьи —  
И зверь мелькнет в кустах, сверкая желтизною,  
Как луч, проникший в крепь и смытый мглой лесною.

И снова тишина. Лишь дятел стукнул где-то  
И дальше улетел, мелькнул в полоске света  
И снова застучал, нарушив отдых краткий, —  
Так, спрятавшись, дитя зовет играть с ним в прятки.  
Там белка ест орех, укрывшись меж листвою,  
Спустив пушистый хвост над самой головою,  
Как перья пышные на кирасирском шлеме,  
С опаскою следя за лесом в то же время,  
Вот, гостя увидав, танцовщица лесная  
По веткам прыгает, как молния мелькая,  
И прячется в стволе, невидима для взгляда,  
Как в дереве родном пугливая дриада.  
И снова тишина.

Но вдруг качнулись ели,  
Шуршит рябины гроздь, и рядом заалели  
Две щечки юные, затмив собой рябину, —  
То ищет девушка орехи иль малину,  
Лукошко подает — малиной угощает,  
А рядом юноша орешник нагибает,  
И девушка плоды сбивает без помехи  
И ловит на лету поспевшие орехи.

Вдруг слышат звук рогов и лай собак с болота  
И, догадавшись вмиг, что близится охота,  
Пугливо оглядась, мгновенно в чаще лога  
Скрываются из глаз, как два лесные бога.

Весь фольварк на ногах; шум, споры, приказанья...  
Но ни повозок скрип, ни лай собак, ни ржанье  
И ни сигналы труб, что во дворе гремели,  
Тадеуша в тот час не подняли с постели.  
Он, как сурок в норе, заснул, не раздеваясь.  
Никто из сверстников, в дорогу собираясь.  
Не вспомнил про него, все нынче так спешили,  
Что в этой суете о нем совсем забыли.

Он спал. И солнца луч через сердечко ставни,  
Как длинный столб огня, рассеяв мрак недавний,  
Упал ему на лоб. И он во сне метался,  
От света прятался и снова забывался,  
Как вдруг раздался стук. Исчезло сновиденье,  
И пробудился он. Какое пробужденье!  
Он так легко дышал и счастлив был, как птица.  
Ему хотелось петь, смеяться и резвиться.  
И он краснел, вздыхал, и сердце сладко билось,  
Когда он вспоминал, что с ним вчера случилось.

На ставень он взглянул, и видит — что за чудо? —  
Два глаза голубых глядят в упор оттуда,  
Раскрытых широко, как и бывает это,  
Когда хотят во тьму взглянуть с дневного света.  
И ручку увидал, — она была раскрыта,  
Как веер возле лба, служа глазам защитой,  
Высокое чело закрыв до половины,  
И пальцы тонкие, как яркие рубины,  
Алели на свету; и рот увидел алый,  
Над жемчугом зубов блестящий, как кораллы  
Румянец нежных щек алел из-под ладони,  
Как первый лепесток на розовом бутоне.

Не видимый никем, воспользовавшись тенью,  
Дивился юноша прекрасному видению,  
Которое над ним так близко наклонилось,

Что он не мог понять: он грезит? Иль приснилось  
Одно из милых лиц, из тех, что в детстве раннем  
Нам снятся и живут в душе воспоминаньем?  
Лицо подвинулось, и в это же мгновенье,  
Смущенный, он узнал прекрасное виденье,  
Узнал по завиткам ее льняных коротких  
Волос, накрученных на белых папильотках,  
Которые в лучах, на неба светлом фоне  
Светились вокруг чела, как венчик на иконе.

Но только он вскочил, виденье сразу скрылось.  
Он ждал его, — увы, оно не возвратилось!  
Лишь кто-то постучал в окошко со словами:  
«Вставайте, пан, пора! Пока пошлют за вами.  
Все в лес отправятся...» И он вскочил с постели  
И ставни так толкнул, что петли заскрипели,  
И створки стукнулись о стены дома с громом.  
Он выпрыгнул в окно, глядел, искал за домом,  
Но двор был пуст и тих. И только возле ряда  
Высоких тополей, за изгородью сада,  
Качался дикий хмель да груша молодая...  
Быть может, кто-то их коснулся, пробегая?  
Иль ветер тронул их? Он не сводил с них взора,  
Но в сад идти не смел; лишь молча у забора  
Стоял, подняв глаза и палец прижимая  
К губам, как будто им молчать повелевая,  
Вдруг по лбу постучал рукой в негодованье,  
Как будто разбудить хотел воспоминанье,  
И, палец закусив, отворотясь от сада,  
С досадою сказал: «Так мне, глупцу, и надо!»

И двор, где миг назад дрожало все от шума,  
Пустынный, как погост, теперь молчал угрюмо.  
Тадеуш слух напряг и, словно трубки, руки  
Прижав к ушам, стоял и вслушивался в звуки,  
Что ветер доносил, уже не отличая  
Далекий звук рогов от топота и лая.

А конь оседланный в конюшне дождался.  
Тадеуш взял ружье и, сев в седло, помчался  
Туда, где две корчмы стояли за часовней, —  
Он знал, что на заре собратья решено в ней.

У тракта две корчмы среди большого луга  
Как старые враги коснулись друг на друга.  
Одну Горешки встарь срубили на границе,  
Другую в пику им поставил пан Соплицца.  
Одной, как вотчиной своей, вершил Гервазий.  
В другой хозяйничал слуга Судьи — Протазий.

Корчма Соплицца на вид была вполне обычной.  
Зато соседняя имела стиль отличный,—  
Он Тира зодчими был выдуман. Позднее  
Их опыт разнесли по свету иудеи.  
От них и мы его в наследство получили  
И множество домов воздвигли в этом стиле.

Фасад являл корабль, а тыл казался храмом.  
С ковчегом Ноевым был схож корабль, с тем самым,  
Который хлевом здесь зовут не без причины:  
В нем птица разная и все роды скотины —  
Коровы, лошади, волы,— все божьи твари,  
Козлы, ужи, шмели, имелись хоть по паре.  
А храм напоминал вид храма Соломона,  
Который украшал возвышенность Сиона.  
Недаром царь собрал для воздвиженья храма  
Искусных в зодчестве строителей Хирама \*.  
По образцу его евреи строят школы,  
От них пошли корчмы, овины и стодола.  
Вся крыша дранкою застелена и схожа  
С жидовским колпаком, над дранкою рогожа,  
Вверху, над стрехою, меж двух оконных створок,  
Балкон, поставленный на множество подпорок.  
Те деревянные колошны, зодчих диво,  
Полупрогнившие, поставленные криво,  
Не в виде эллинских, а вроде башни Пизы \*,  
Держали ветхие стропила и карнизы.  
Над ними, на манер готических, из дуба  
Ряд арок, сделанных хоть прочно, но не грубо,  
Топорик плотничий украсил их резьбою  
Не хуже, чем резец. Своею кривизною  
Они еврейские подсвечники кривые  
Напоминают нам. И шишки вырезные

Свисают с двух сторон, украсив галерею,  
Как цуцес, в час молитв, на набожном еврее.  
Качалась ветхая корчма, напоминая  
Еврея старого, что молится, кивая,—  
Как грязный лапсердак, замызганные стены,  
Резные шишечки, как цуцес неизменный,  
А наверху стреха — всклокоченной бородкой.

Внутри разделена корчма перегородкой,—  
Направо несколько каморок неказистых  
Для проезжающих, убогих, хоть и чистых,  
Налево длинный зал, подобье узкой клетки;  
Вдоль стен дубовые столы и табуретки,  
Похожие на них, как на отца родного  
Ребята малые.

За кружкою хмельного

Крестьяне, шляхтичи, здесь все садятся вместе,  
И только эконоом сидит на главном месте.  
Прослушав проповедь,— ведь было воскресенье,—  
Все к Янкелю пришли развлечься в заведенье.  
Пред каждым из гостей уже стояла чарка,  
С бутылью бегала проворная шинкарка,  
Сам Янкель искоса поглядывал в окошко,  
В кафтане до полу, с серебряной застежкой,  
Он кисти пояса трепал одной рукою  
И важно бороду поглаживал другою,  
Следя за всем вокруг, ходил между столами,  
Служанку понукал, здоровался с гостями,  
То спорщиков мирил, то в разговор пускался,  
Но не прислуживал,— лишь всем распоряжался.  
Почтенный сей еврей, всем издавна известный,  
Арендовал корчму и был хозяин честный.  
И жалоб на него не приносили пану.  
Что жаловаться тут? Расчеты без обману,  
Напитки добрые,— для шляхты и крестьянства,—  
Пирушки он любил, не выносил лишь пьянства.  
В корчме справляли всё — и свадьбы, и крестины,  
А по воскресным дням, для этакой причины,  
Он музыкантов звал потешить вечеринку,  
И гости слушали гудок или волюнку.

Ценитель музыки, он славился талантом —  
Когда-то в юности он сам был музыкантом,  
По фольваркам ходил, играя на цимбалах,  
Игрой и пением дивя людей бывалых.  
Он песни польские любил и пел на славу.  
Когда же посещал он Галич иль Варшаву,  
Он всякий раз в Литву из тех поездоk дальних  
Немало привозил новинок музыкальных.  
И говорили здесь, быть может небылицы,  
Что первым Янкель наш привез из-за границы  
И первым, будто бы, распространил в повете  
Ту песню, ныне всем известную на свете,  
Которую в те дни впервые у авизонов  
Сыграли трубачи варшавских легионов \*.  
Дар певческий в Литве — залог обогащенья,  
Приносит славу он, любовь и уваженье.  
Так Янкель сколотил с годами капиталы,  
Повесил на стене любимые цимбалы,  
Осел с детьми в корчме и зажил так, чин-чином,  
И вскоре выбран бы в помощники раввином.  
Всегда желанный слыл умным и практичным,  
Он знал, как торговать товаром заграничным,  
Как покупать зерно, охотно в деле всяком  
Советом помогал и добрым слыл поляком.

В аренду обе взяв корчмы, он очень скоро  
Навел порядок в них, не допускал раздора  
И правилам своим заставил подчиниться  
Горешки партию и партию Соплицы.  
Еврея уважал и старый спорщик Возный,  
И давний враг его, Горешки Ключник грозный.  
Кулак свой в ход пустить не смел при нем Гервазий,  
И, прикусив язык, молчал старик Протазий.

Гервазий не пришел. Привычную забаву  
Он нынче променял на трудную облаву.  
Граф был неопытен, и потому хотел он  
Быть с ним, чтобы помочь советом или делом.

На месте Ключника, как раз напротив входа,  
Меж двух больших скамей, в углу, за чаркой меда  
Сидел сегодня ксендз; почет был не случаен,—

Как видно, квестаря высоко чтил хозяин:  
Как только замечал, что опустело в чарке,  
Тотчас же подходил и знак давал шинкарке.  
Чтоб меду подлила. Был слух, что бернардина  
Он знал давно, что их свела еще чужбина,  
Что ксендз ходил в корчму к еврею не случайно  
Все больше по ночам, там совещался тайно,  
Что контрабанду он по дружбе многолетней  
Еврею привозил,— но это только сплетни.

Облокотясь на стол, ксендз, к шляхте обращаясь,  
Негромко рассуждал. А гости, наклоняясь  
Над табакеркою, спешили взять понюшки  
И, к носу поднеся, чихали, как из пушки.

«Reverendissime! \* — сказал, чихнув. Сколуба.—  
Вот это, брат, табак! Такой проймет до чуба!  
Мой нос (тут он свой нос погладил, как обычно)  
Не нюхивал таких! (И он чихнул вторично.)  
Табак отличнейший. Небось из Ковно родом,  
Что славится не зря и табаком и медом?  
Давно я не был там...» Ксендз молвил: «На здоровье,  
Честные господа, почтенное сословье!  
А что до табака, что вам понюхать любо,  
То он не ковенский, как думает Сколуба,—  
Из Ясной Гуры он, из ордена святого,  
С собою я его привез из Ченстохова,  
Где чудотворный лик Благословенной Девы,  
Святой заступницы и польской королевы.  
Народ ее княжной литовской величает,  
Корона польская чело ее венчает,—  
Но схизма \* на Литве у нас, проклятье божье!»  
Тут Вильбик перебил: «Я в Ченстохове тоже  
На исповеди был и долго там молился...  
А правда ль, что француз там нынче водворился?  
Что грабит храмы он, не уважая веру \*,  
Коль верить нашему «Литовскому курьеру»?» \*  
«Неправда,— ксендз сказал,— все это просто враки!  
Наш вождь Наполеон католик, как поляки.  
Помазан папой он и связан с ним союзом,  
Чтоб вместе верный путь указывать французам.

Не спорю, серебра пожертвовано много  
В национальный фонд,— на то уж воля бога!  
Был нужен родине тот взнос богоугодный.  
Как алтарю в беде не стать казной народной?  
В варшавском княжестве, в войсках свободной Польши  
Сто тысяч человек, а скоро будет больше.  
А содержать кому? Не шляхте ли литовской?  
Небось даете вы деньжат казне московской?»  
«Даем мы, черта с два! Налог, а не пособие!» —  
Пан Вильбик закричал. «Ох, ваше преподобье,—  
Вмешался мужичок,— по чести рассуди-ка:  
Вам, шляхте, полбеды, а нас дерут на лыко!»  
Сколуба крикнул: «Хам! Ну что болтаешь сдуру?  
Ведь ты мужик! С тебя всегда сдирали шкуру!  
Ты к этому привык! Так и умрешь мужланом...  
А каково-то нам, вельможным вольным панам?  
Ведь шляхтич у себя в поместье, на свободе...»  
«Да,— закричали все,— он равен воеводе!»  
«А нынче крутишься, изыскиваешь средства,  
Чтоб только доказать бумагами шляхетство!» \*  
«Да вам-то, сударь, что? — воскликнул пан Юрага.—  
Ваш дед холопом был — какая тут бумага!  
А я происхожу из княжеского дома,  
Какого ж от меня хотят они диплома?  
Пусть спросят москали у дуба-исполина  
Как смеет над ольхой шуметь его вершина?»  
Воскликнул Жагель: «Князь?! Да если брать на всру,  
У многих митры \* есть! Ты ври, да знай же меру!»  
Но перебил его Подвойский ядовитый:  
«Когда в гербе есть крест, то это признак скрытый,  
Что выкрест был в роду!» — «Врешь! — Бирбаш крикнул  
с жаром.—  
Крест и корабль! Я граф по прадедам-татарам!»  
«Мой Порай с митрою, все поле в позолоте! —  
Мицкевич закричал. — В геральдике найдете!»

Тут шляхта, возмутясь московскою проверкой,  
Вошла в азарт, и ксендз полез за табакеркой.  
Он протянул ее, соседсй угощая,  
И каждый взял табак, по многу раз чихая.  
А квестарь продолжал: «Табак хорош! Еще бы!

Чихали от него высокие особы.  
Из табакерки сей,— и он пригубил кружку,—  
Домбровский генерал три раза брал понюшку!  
«Домбровский?» — шляхтичи подпрыгнули на лавке.  
«Когда мы брали Гданьск \*, я был с ним ночью в ставке.  
Боялся он заснуть; я табакерку вынул,  
Понюхал генерал, чихнул и брови сдвинул:  
«И года не пройдет, коль даст господь дойти нам,  
Увидимся в Литве. Так накажи литвинам,  
Пусть мне поднесут табак из Ченстохова,  
Так и скажи, что я не нюхаю другого!»

Речь ксендза вызвала такой восторг, что в зале,  
Все, словно онемев, невольно замолчали,  
Но через миг уже вся шляхта повторяла:  
«Ксендз в ставке побывал... Он видел генерала...  
Домбровский пожелал... табак из Ченстохова!»  
И, словно с мыслью мысль, слилось со словом слово,  
И все воскликнули, как будто по сигналу:  
«Домбровского! Виват!» И гул пошел по залу.  
Все обнялись, забыв, что угрожали ссорой,  
Татарский граф с Крестом, Гриф с Князем, с Митрой —  
Порай,

Забыли о ксендзе и через пень колоду  
Уже поют, кричат: «Давай вина и меду!»

Ксендз долго слушал хор, потягивая водку,  
Потом достал табак, поднес к ноздре щепотку,  
Прервал чиханием мелодию простую  
И, улучив момент, повел им речь такую:  
«Вы хвалите табак, а вы бы для проверки  
Взглянули, что внутри, на крышке табакерки?» —  
Он вытер пыль платком,— на глянцевой эмали,  
Как муравьи, войска, построившись, стояли,  
И всадник впереди, с жука величиною,  
Поводья ухватив державною рукою,  
В другой держал табак, и лошадь, шпорам рада,  
Взвилась, как будто ввысь вот-вот взлетит с парада.  
«Вглядитесь,— молвил ксендз, склонясь к миниатюре,—  
Иль не узнали вы по всей его фигуре,  
Что всадник — кесарь наш? Тот, кто сулит свободу!» \*

Но не москаль,— их царь табак не нюхал сроду!»  
«Великий человек! — воскликнул Цидзик.— Боже!  
Так что ж он в сюртуке? В такой простой одежде?  
Московский генерал в мундире златотканном,  
Весь золотом блестит, как щука под шафраном...»  
«Ба! — Рымша закричал.— У них не та порода!  
Костюшку видел я — великий вождь народа  
В чамарке краковской ходил, без позолоты...»  
Но Вильбик перебил: «В какой чамарке? Что ты!  
Ты перепутал все,— ведь это — тарататка!»  
«Та со шнурами, пан, а эта сшита гладко!» —  
Мицкевич закричал. И стали спорить паны  
И выяснять покрой чамарки и сукманы.

Но ловкий ксендз, решив прикончить пререканья,  
Вкруг табакерки вновь объединил собрание.  
Все нюхали табак и, наслаждаясь, чихали.  
А квестарь продолжал: «Когда в разгар баталии  
Наполеон табак понюхает, то, право,  
Уж это верный знак, что ждет французов слава.  
Под Аустерлицем так войска его стояли,  
А москали на них — их тьма была вначале;  
Но с каждым выстрелом — уж им француз нашкодил! —  
Московские полки в траву валялись с седел.  
И только падал полк, подбитый нашей пушкой,  
Как лез Наполеон за новою понюшкой.  
Царь Александр и Франц, втроем с великим князем \*  
Пустились наутек, а остальные — наземь!  
Тут усмехнулся вождь, увидя их смятенье,  
И пальцы отряхнул,— мол, конечно сраженье!  
Так если кто-нибудь из панов после станет  
Служить в его войсках,— пусть мой рассказ помянет!»

Вдохнул Сколуба: «Эх, когда же в самом деле  
Французы к нам придут? Нам трижды на неделе  
Пророчат их приход... Глядишь, глядишь — и что же?  
Глаза все проглядишь! А русский царь все строже...  
Задушит нас москаль... Терпеть уже нет мочи!  
Пока взойдет заря, роса нам выест очи!»

«Мой пан,— ответил ксендз,— пусть охают старухи,  
Пускай евреи ждут, прильнув к окну, как мухи,

В свою корчму гостей, чтоб встретить их поклоном.  
Не диво москалей разбить с Наполеоном.  
Вы знаете его серьезную натуру —  
Погнал он англичан, попортил швабам шкуру.  
И так же москалям теперь придется худо.  
Но знаете ль, мой пан, что следует отсюда?  
Тут шляхта на войну, пожалуй, снарядится  
Тогда уже, когда ей не с кем будет биться.  
И скажет Бонапарт: «Вот славные рубаки!  
Да только мне-то здесь на что вы после драки?»  
Когда ты гостя ждешь, то мало глаз нацелишь,  
А надо стол накрыть, и подготовить челядь,  
Да подмести полы, да вычистить палаты...  
Вы поняли меня? Сор вымести из хаты!»

Умолк. И шляхтичи заговорили хором:  
«Очистить? Вымести? Что он считает сором?»  
Готовы действовать мы дружно и согласно,  
Но пусть он объяснит, чтоб сразу стало ясно!»

Но ксендз смотрел в окно, гостей не слушал речи,  
Затем открыл его, просунулся по плечи  
И встал из-за стола. «Продолжим мы беседу,  
Сейчас мне недосуг. Я к вам на днях заеду.  
Я завтра в город наш отправлюсь спозаранок,  
Тогда за сбором к вам и заверну в застянок».

«Ксендз,— эконоом сказал,— мы ждем вас в Негримово,  
Сверните на почлег,— там будет все готово.  
Недаром на Литве есть старое присловье:  
Счастливым человек, как квестарь в Негримове!»  
Сказал Зубковский: «К нам! Живут в Зубкове ладно.  
Найдется и баран, и масла жбан, и рядна.  
Там вспомните слова,— ведь это уж не ново:  
Счастливым человек,— попал, как ксендз в Зубково!»  
Сказал Сколуба: «К нам!»—«К нам!»—молвил Тераевич.—  
Еще голодным ксендз не вышел из Пуцевич!»  
Так все наперебой любимцу вслед кричали,  
Но был за дверью он и слышал их едва ли.

Ксендз увидал в окно Тадеуша. В тревоге,  
Без шляпы, он скакал галопом по дороге.

Угрюмый, сумрачный, лица не поднимая,  
Он торопил коня, нагайкою стегая.  
И ксендз встревоженный поспешными шагами  
Пустился вслед за ним туда, где над полями,  
Насколько видел глаз, сплошную тучей темной,  
Тянулся черный лес, дремучий и огромный.

Кто в пуши те проник, измерил их глубины,  
Пробрался в дебри их до самой сердцевины?  
Рыбак лишь с берегов глядит на дно морское,  
Охотник мимо пущ проходит стороною,  
Он знает только их нарядное обличье,  
Но скрыты от него их тайны и величье.  
Предание гласит, что суждено любому,  
Кто б в пушу захотел пройти по бурелому,  
Наткнуться на барьер стволов, укрытых в сучьях,  
На вал корней и пней, на сети трав ползучих,  
На ядовитых змей, на тучи гнезд осиних  
И тысячи ручьев в обманчивых трясинах.  
Но если бы смельчак преодолел преграды,  
То дальше все равно б он не нашел пощады:  
Там в зарослях травы, укрытые от взора,  
Как волчьи ямы, ждут глубокие озера,  
Чье дно измерить нам дано ценою смерти  
(Недаром говорят, что водятся в них черти),  
Кой-где блеснит вода под ржавчиной кровавой,  
Тлетворный дым ползет, наполнив лес отравой,  
От дыма этого деревья гнилью пахнут,  
Лысеют, корчатся, червивеют и чахнут,  
Мох сбился, как колтун, как страшные коросты  
На их стволах грибов уродливых наросты.  
Склонились над водой, ветвями в тине шарят,  
Как ведьмы над котлом, где труп на ужиин варят.

А там, где топкие кончаются озера,  
Не только шаг ступить — не бросить даже взора.  
Тумана облаком закрыто сердце бора.  
Скрывая пни, кусты, ветвей и трав тенета,  
Туман тот день и ночь встает столбом с бѣлота.  
В народе ходит слух, что в этой чаще вольной  
Стоит среди дубрав могучий город стольный

Деревьев и зверей, где в закромах надежных  
Хранятся семена растений всевозможных,  
И, словно в Ноевом ковчеге, здесь природа  
По паре всех зверей собрала для приплода.  
Владыки пуш живут, как добрые соседи,  
Здесь есть у тура двор, у зубра и медведя.  
И как министры их, не вызывая страха,  
Гнезятся подле рысь и рядом россомаха.  
И как вассалы, всласть вкушая сладость лени,  
Пасутся кабаны и гордые олени.  
Орлы и соколы, слетев с высот дозорных,  
Подачки барской ждут, как рой льстецов придворных.  
Так дружно, парами, вассалы и монархи,  
Не видимы никем, живут, как патриархи.  
Детей отсюда шлют в леса, на поселенье,  
А сами отдыха вкушают наслажденье,  
Им не знаком капкан иль рана ножевая,  
Старся смерти ждут, насилия не зная.  
На свой погост несут, почуяв близость смерти,  
Пернатые — перо, а звери — клочья шерсти:  
Медведь, от старости беззубый и лохматый,  
И дряхлый, чуть живой от старости сохатый,  
И заяц-старичок, когда уж кровь не греет,  
Столетний ворон-дед, когда он поседает,  
Старик-орел, когда его лишает пищи  
Крючком согнутый клюв, слетает на кладбище.  
И даже мелкий зверь, когда теряет силы,  
Бежит в родимый край искать себе могилы.  
Недаром человек в местах, доступных глазу,  
Не находил еще костей зверья ни разу.  
В народе ходит слух, что в том зверином царстве  
Никто не видит зла, не знает о коварстве.  
Цивилизация не проникает в норы,  
Там собственности нет, что сеет лишь раздоры,  
Ни поединков нет, ни воинской науки,  
Как праотцы в раю, живут счастливо внуки.  
Ручные, хищные, — там стали все друзьями,  
Друг другу не грозят клыками и когтями,  
И если б человек забрел к ним безоружный,  
Спокойно б он прошел среди их общины дружной,  
Они ж глядели бы, застыв от удивленья,

Как в тот последний день, шестой от сотворенья,  
Их праотцы в раю, доверчиво и прямо,  
Еще не зная зла, глядели на Адама.  
Но, к счастью, нет пути в урочища лесные —  
Здесь Ужас, Труд и Смерть стоят, как часовые.

Лишь гончие порой, увлекшись гоном,  
В трясину забежав, замрут над мхом зловонным  
И, пораженные картиною ужасной,  
Несутся с визгом прочь, оставив край опасный.  
И долго, хвост поджав, к хозяину ласкаясь,  
Дрожат у ног его, пугливо озираясь.  
Те тайники, болот опутанные цепью,  
На языке своем ловцы назвали «крепью».

Эх ты, дурной медведь! Сидел бы ты на месте,  
И Войский о тебе не получил бы вести.  
Но пасеки ль тебя прельстил медовый запах,  
Иль захотел в овсы пройти на мягких лапах,  
Но только вышел ты из крепки за добычей,  
А тут тебя как раз и выследил лесничий.  
Шпионов-ловчих он послал на ту опушку  
Узнать, где твой ночлег, и выследить кормушку,  
Теперь Гречеха сам устроил здесь заставу,  
Расставил всех и вот готов начать облаву.

Тадеуш знал уже, что опоздал к началу,  
Что гончих в лес давно спустили по сигналу.

Какая тишина! Ни шороха, ни лая.  
И, тщетно чуткий слух в волнение напрягая,  
Охотники стоят, не опуская взора —  
Лишь пуши музыка доносится из бора.  
Ныряют в чаще псы, как в жите перепелки;  
Ловцы, взведя курки, направив в лес двустволки,  
Глядят на Войского, обманутые слухом;  
Он на колени встал, к земле прикинув ухом —  
Как на лице врача толпа друзей больного  
Читает приговор, так и стрелки, без слова  
Искусству Войского доверившись всецело,  
В него вперили взор, и все оцепенело.

«Есть! Есть!» — воскликнул он. Он может дать поруку!  
И вздрогнули ловцы, прислушиваясь к звуку:  
Залаял пес, второй, и вот уже вся стая  
Визжит, напав на след и зверя догоняя.  
Псы лаяли не так, как, след пронюхав верный,  
Несутся с лаем в лес за зайцем или серной,  
Не лай — короткий визг, отрывистый и частый, —  
Не след они нашли, — уж начат гон опасный,  
На зверя ринулись... Вдруг замерли собаки.  
Настигли. Снова визг — начало страшной драки.  
Зверь ранит гончих, взыв от ярости горячей,  
Все чаще слышится предсмертный визг собачий.

Ловцы, едва дыша, в волнение хмуры брови,  
Как луки выгнувшись, стояли наготове.  
Но ждать не вмогуту! И вот, куда попало,  
Они, бросая пост, рванулись без сигнала,  
Чтоб первыми поспеть и не делить успеха,  
Хоть их еще с утра предупреждал Гречеха,  
Что тот, кто бросит пост, мешая всей затее,  
Будь он холоп иль пан, — получит вмиг по шее!  
Напрасно все! Ловцы бегут, не вняв приказу.  
Три выстрела в лесу прогрохотали сразу,  
И началась пальба, — все громче и все чаще.  
И заревел медведь, наполнив эхом чащи.  
Ужасный рев тоски, отчаянья и муки!  
За ним вдогонку лай, рогов победных звуки.  
Одни взвели курки, притихнув в ожиданье,  
Другие в лес спешат, и всюду — ликованье.  
Но Войский закричал, что в зверя не попали.  
Ловцы и егеря рванулись, как стояли,  
Ему наперерез; но, слыша лай собачий,  
Напуганный людьми, медведь пошел иначе:  
Он повернул назад, на дальнюю поляну,  
Где, разбредясь, ловцы ослабили охрану,  
Где из охотников остались возле луга  
Тадеуш, Войский, Граф да графская прислуга.

Тут лес редел. И вдруг донесся рев могучий,  
И вынырнул медведь, как будто гром из тучи.  
Собаки травят, рвут, а он, взбешенный ловом,

На задних лапах к ним идет с ужасным ревом,  
Передними кусты ломает, вырывает  
Обугленные пни, в собак, в людей бросает,  
Все рушит на пути; вот, наконец, осину  
Огромную сломал и поднял, как дубину,  
Идет к охотникам, грозя убить с размаха...  
Но Граф с Тадеушем глядят вперед без страха,  
Два дула навели, как два громоотвода  
На тучу черную. Проверив оба взвода,  
Нажали на курки,— обоим непременно  
Хотелось выстрелить, и вот одновременно  
Раздались выстрелы. Но оба промахнулись.  
Зверь прыгнул. И тотчас их руки потянулись  
К рогатине,— один не уступал другому  
И всяк тянул к себе. Так, споря попустому,  
Они замешкались... Но оглянулись, к счастью,  
И видят — в двух шагах медведь с раскрытой пастью  
Грозит им лапою с огромными когтями...  
Стрелки рванулись прочь, чтоб скрыться за стволами,  
Но зверь догнал их, встал, над Графом поднял лапу  
И был уже готов снять скальп с него, как шляпу,  
Но тут Ассессор к ним с Болестой подоспели,  
Гервазий подбежал — он был всех ближе к цели,  
С ним Робак без ружья,— и, словно по сигналу,  
Все трое дали залп. Медведь же поначалу  
Подпрыгнул, как русак пред гончими, и рухнул  
Вниз головой в траву, но приподнялся, ухнул,  
Задвигал лапами, пополз, ревя все глуше,  
И Графа придавил своей огромной тушей.  
Хотел еще привстать, но только взвизгнул тихо...  
Тут бросились к нему Исправник и Стряпчиха.

И Войский поднял рог крученый, буйволиный,  
Висевший на тесьме, как длинный хвост змеиный,  
Прижал его к губам, надулся, сдвинул брови,  
Полузакрыв белки, багровые от крови,  
Вобрал в себя живот, надул, как тыквы, щеки,  
Напрягся, что есть сил, и сделал вдох глубокий:  
Он заиграл. И рог, как вихрь, в стволах ревуший,  
Нес музыку в леса и отзывался в пуще.  
И замерли стрелки под сенью лип и буков,

Днясь гармонии и силе чистых звуков,  
Старик своей игрой заворожил их чувства  
И снова показал ловцам свое искусство:  
Наполнил гулом дол и оживил дубраву,  
Как будто псов спустил и начал вновь облаву.  
И повторилось все в его игре сначала:  
Раздался звонкий клич, как первый звук сигнала,  
Потом за стоном стон: то псы на зверя лают,  
И резкий тон, как гром: охотники стреляют.

Тут Войский оборвал, но музыка звенела,  
Казалось, он трубит, а это чаща пела.

И снова затрубил. И рог его казался  
То меньше, то длинней, то рос и утолщался,  
Как волчья шея, выл все резче и все гуще,  
То, как медведь, ревел откуда-то из пуши,  
То, словно зубр, мычал, и звуки, нарастая,  
Летели, тишину и ветер разрывая.

Тут Войский оборвал, но музыка звенела,  
Казалось, он трубит, а это чаща пела...  
И повторял весь лес ликующие звуки,—  
Дубы несли дубам, и пели букам буки.

Трубит. Казалось, рог уж не один — их много,  
В их грозном хоре гнев, гул травли и тревога  
Стрелков, зверей и свор. И вот трубач могучий  
Внезапно поднял рог — и гимн ударил в тучи.

Тут Войский оборвал, но музыка звенела,  
Казалось, он трубит, а это чаща пела.  
Запело все вокруг, и все деревья бора  
Ту песню понесли, как будто в хор из хора,  
И музыка лилась все дальше и все выше,  
Все совершеннее, все чище и все тише,  
Пока не смолкла там, у горнего порога!

И руки он разжал, освобождаясь от рога,  
И широко раскрыл; и рог повис, качаясь.  
А Войский поднял взор и замер, улыбаясь,



T

С сияющим лицом, не опуская руки,  
Стараясь уловить слабеющие звуки...  
И тут очнулось все; как ветер по поляне,  
Прошел восторга гул и гром рукоплексаний.

Когда же шум утих и крики прекратились,  
Все взоры, как один, к добыче обратились:  
Пробитый пулями, в крови, раскинув лапы,  
Медведь лежал в траве и трясся весь от храпа,  
С дыханьем из ноздрей хлестала кровь ручьями;  
Зверь двинуться не мог, лишь шевелил ушами,  
Еще открыл глаза, весь дернулся и вскоре  
Их закатил. На нем пиявки Подкоморья  
Повисли с двух сторон, и быстро шла расправа,—  
Исправник слева грыз, Стряпчиха грызла справа.

Гречеха приказал просунуть меж зубами  
Собак железный прут, что было егерями  
Исполнено. И вот повернут труп косматый —  
И снова в облака ударили виваты.

Ассессор закричал, ликуя, как мальчишка:  
«Ну что, брат? Каково? Нет, каково ружьишко? —  
И он погладил ствол,— как говорится, птичка  
Невелика, но есть у ней одна привычка:  
Не пустит зря заряд! А вся-то как игрушка!  
Ее мне подарил на травле князь Сангушко!»  
Он показал ружье отличнейшей работы,  
Клянясь, что это клад для всех родов охоты.  
Юрист, стирая пот, рассказывал соседям:  
«Бегу я со всех ног вдогонку за медведем,  
Вдруг Войский «стой!» кричит! Ослышался я, что ли?  
Чего же тут стоять? Медведь, как заяц в поле,  
Бежит... а я за ним... аж дух перехватило!  
Догнать надежды нет! Гляжу — шалит верзила...  
Тут я прицелился, ну, думаю, брат мишка,  
Постой же... Хлоп в него,— а тут ему и крышка!  
Не сыщете второй такой Сагаласовки!  
Сагалас лондонский,— он из Балабановки,—  
Вот надпись! Мастер был поляк, как говорили,  
Но ружья украшал всегда в английском стиле».

Ассессор крикнул: «Как? Мой сударь, неужели?  
Так это вы его, по-вашему, поддели?»  
Вскипел Юрист: «Тут вам не следствие — облава!  
Я всех в свидетели призвать имею право!»

И завязался спор горячий, голосистый,  
Те за Ассессора, другие за Юриста.  
О старом Ключнике, что был всех ближе к цели,  
Не вспомнили — его заметить не успели.  
Вмешался Войский: «Что ж, теперь по крайней мере  
Придется спорить вам о настоящем звере!  
Уж это не русак! Не стыдно в споре этом  
И саблю решать, а то и пистолетом!  
К решению не прийти в таком туманном деле,  
Вы можете его решить лишь на дуэли.  
Я помню, жили здесь когда-то два соседа,  
Два славных шляхтича от прадеда и деда,  
Меж их усадьбами текла река Вилейка,  
А звали земляков Домейко и Довейко.  
И вот в медведицу попали как-то оба  
И спорят: кто убил? Кипит в соседях злоба,  
Стреляться поклялись через медвежью шкуру,  
Чтоб дуло в дуло, — знай шляхетскую натуру!  
Вот было шуму-то! Потом об их дуэли  
Весь край наш говорил, и даже песни пели!  
Я секундантом был, — при мне все это было,  
И я вам расскажу, как все происходило...»

Пока он говорил, решил спор соседей:  
Гервазий осмотрел внимательно медведя,  
Затем достал тесак и на две равных части  
Медвежью голову от темени до пасти  
Искусно разрубил — в мозгу темнела рана,  
В ней пулю отыскав, обтер полый кафтана,  
Сличил ее с другой, потом к ружью примерил  
И, протянув стрелкам, сказал: «Я все проверил.  
Взгляните-ка сюда, панове, — эта пуля  
Из моего ружья». Охотники взглянули  
На старое ружье, скрепленное веревкой.  
«Но выстрелил не я. Был выстрел слишком ловкий!  
Я помню, видел все от страха словно в дыме —

Тут паничи бегут... Гляжу — медведь за ними...  
На Графа кинулся... От ужаса помешкав,  
Я крикнул: «Господи! Последний из Горешков!»  
И тут мне ангелы послали бернардина!  
Он всех нас пристыдил... Ай, квестарь — молодчина!  
Когда я задрожал и только громко ахнул,  
Он выхватил ружье, прицелился и бахнул.  
Да как? Меж двух голов! На сто шагов! Кому бы,  
Скажите, удалось попасть медведю в зубы?  
Панове, прожил я поболее полвека  
И видел только раз такого человека.  
Он тот, кто побеждал на каждом поединке,  
Кто пулею каблук мог срезать на ботинке,  
Тот Яцек-негодяй, прославивший здесь героем,  
По прозвищу «усач» — фамилию мы скроем...  
Да нынче он забыл и травлю и баталью —  
По самый чуб в аду коптят протоканалью!  
Хвала ксендзу! Он спас двоих, и это чудо!  
А может, и троих... Я хвастаться не буду,  
Но если б ксендз не спас последнего Горешки,  
Я пал бы рядом с ним... Уж, верно, в этой спешке  
Не миновать бы мне, друзья, медвежьей глотки...  
Пойдемте же, мой ксендз, и выпьем с вами водки!»

Но ксендза не нашли. И вспомнилось кому-то,  
Что, зверя застрелив, он только на минуту  
К спасенным подбежал, узнал, что оба целы,  
Молитву прочитал и, словно кончив дело,  
Куда-то побежал, по брови в капюшоне,  
Так быстро, словно он спасался от погони.

Гречеха дал приказ; раздался звон посуды,  
В костер кидают пни, охапки дров и груды  
Сухого хвороста. И дым пополз к вершинам,  
Как серая сосна, накрыв их балдахином.  
Как козлы, над огнем рогатины скрепляют,  
Пузатые котлы на зубья нацепляют,  
С повозок хлеб несут, жаркое притащили;  
Открыли погребец, в нем всех сортов бутыли.  
Соплища выбрал сам одну из лучших марок —  
Он получил ее от Робака в подарок,  
В ней водка гданьская, известная гулякам,

Напиток славный сей по вкусу всем полякам.  
«За Гданьск! — вскричал Судья.— Он был и будет  
нашим!»

И славное вино стал разливать по чашам,  
И он не опустил хрустального сосуда,  
Покуда золото не потекло оттуда.

А бигос уж кипел, и право, будет трудно  
Словами выразить, как пахнет бигос чудно,—  
Звук слов услышит слух, оценит смысла рассудок,  
Но сути не поймет ваш городской желудок.  
Мы кушанья Литвы оценим лишь с условьем:  
В деревне надо жить и обладать здоровьем.

Но бигос наш хорош и без такой приправы.  
В него кладут куски говядины кровавой,  
Отборных овощей и квашеной капусты,  
Что в рот сама идет, и толстым слоем, густо,  
Закрыв говядину, положенные сроки  
Томится так, пока питательные соки  
Не выйдут из нее, исторгнутые жаром,  
И крышку не обдаст горячим влажным паром,  
Таким заманчивым, густым и ароматным.

Готово! И ловцы с виватом троекратным  
Садятся у котлов, и ложки громыхают,  
Звон меди, пар валит, а бигос исчезает,  
Как камфора. Исчез! И лишь на дне казанов  
Еще клубится пар, как в кратере вулканов.

Опустошив котлы, стаканы и бутылки,  
Все сели на коней, медведя погрузили  
И с шумом тронулись. И только втайне злились  
Ассессор и Юрист, что с вечера схватились,  
Когда один из них хвалился Сангушовкой,  
Другой же хвастался своей Сагаласовкой.  
Тадеуш, как и Граф, был полон горькой злобы,  
Свой промах проклинал и бегство в лес. Еще бы!  
Кто зверя на Литве упустит в час облавы,  
Тому уж не легко добиться доброй славы.

Граф говорил, что он взял первым, в ту минуту,  
Рогатину, что пан, вступившись почему-то,

Лишь помешал ему. Тадсуш же ссылался  
На то, что он сильнее, что Графу он старался  
Помочь с рогатиной. Так оба временами  
Срывали злость свою обидными словами.

В середине поезда, ловцами окруженный,  
Гречеха занят был беседой оживленной,  
Стараясь спор унять, был говорлив на совесть —  
Продолжить он спешил о двух соседях повесть:  
«Когда я дал совет, чтоб дрались вы, панове,  
То вовсе не затем, что жажду чьей-то крови,  
Храни господь! Старик хотел вас позабавить,  
Комедию одну веселую представить...  
Из вас обонх мне, поверьте, каждый дорог!  
А шутка славная! Тому назад лет сорок  
Придумал я ее... Теперь она забыта,  
Но некогда была повсюду знаменита.

Домейко оттого с Довейко не дружили,  
Что помешало им созвучье их фамилий.  
Довейки партия на сеймиках, бывало,  
Сторонников себе средь шляхты вербовала,  
Шепнут кому-нибудь: «Дай голос за Домейку».  
А тот, не разобрав, даст голос за Домейку.  
Однажды на пиру провозгласил Рупейко:  
«Мы за Довейко пьем!» Одни кричат: «Домейко!»  
Другие и совсем не поняли, в чем дело, —  
Должно быть, на пиру собрание охмелело.

А в Вильне как-то раз какой-то шляхтич пьяный  
С Домейкой фехтовал и получил две раны.  
И этот человек, уже почти что дома,  
С Довейкой встретился у самого парома.  
Когда отчалили, чтоб переплыть Вилейку,  
Спросил он: «Кто вы, пан?» А тот в ответ: «Довейко».  
Тут шляхтич за клинком полез в свою кирейку  
И мигом срезал ус Довейке за Домейку.

И в довершение, ведь это надо ж было,  
Чтоб пуля каждого на лове угодила  
В одну медведицу: случилось, как на горе,

Соседям рядом встать,— хоть выяснилось вскоре,  
Что ей до этого уж около десятка  
Всадили в брюхо пуль, и вот тебе загадка:  
Калибр у всех один, попробуй-ка реши ты,  
Которым же из них была она убита?

Вскричали шляхтичи: «Довольно! Нужно драться!  
Нас бог связал иль черт,— пора нам развязаться!  
Двоим, как солнцам двум, нам в этом мире тесно.  
Пушкой же сабли нас теперь рассудят честно!»  
Мы бросились мирить, но видим — все напрасно,  
В них ярость лишь растет, распалены ужасно,  
Уж сабли бросили, взялись за пистолеты...  
Мы просим дальше встать,— какие там советы!  
Назло нам поклялись стреляться через шкуру.  
Смерть верная! Гляди — вот встанут в позитуру!  
«Гречеха секундант!» Решив избегнуть драмы,  
«Согласен,— я сказал,— пускай вам руют ямы,  
Не кончить вам добром. Но вы должны достойней,  
Как шляхтичи, сойтись. Ведь мы же не на бойне!  
И вы не мясники. Да разве удал в этом?  
Иль брюхо пропороть решили пистолетом?  
Я сам как секундант дистанцию измеряю,  
Оружье осмотрю и в нем заряд проверю.  
Я не позволю вам убить друг друга сдуру!  
Я сам расставляю вас и сам медвежью шкуру  
Меж вами расстелю,— но только будьте тверды:  
Один встает к хвосту, другой у самой морды!»  
«Идет! Когда и где?» — «Под Ушей, у затона,  
С рассветом...» Разошлись. А я беру Марона...» \*

Но грянуло «ату!» — с дороги прыгнул заяц,  
И Куцый с Соколом помчались, состязаясь.  
Их взяли потому, что по дороге с лова  
Охотники могли наткнуться на косога.  
Псы шли без поводка и, встретив зайца, сразу  
Рванулись вслед за ним, не дожидая приказа.  
Хотели псов нагнать Ассессор и Болеста,  
Но Войский удержал; он крикнул им: «Ни с места!  
Ни шага никому я сделать не позволю!  
Отсюда видно все — косою уходит к полю!»

И точно. Чужа псов, русак от смерти верной  
Мчал, уши наострив, как рожки дикой серны,  
Из леса на поле, минуя все барьеры.  
Он издали ловцам казался шкуркой серой,  
И лапки, как пруты, торчали, не сгибаясь.  
Как птица над водой, едва земли касаясь,  
Он неся, следом пыль, за нею псы лихие,  
И вскоре все слилось: пыль, заяц и борзые.  
Казалось, там змея скользила над трясинной;  
Русак был головой, клуб пыли — шеей длинной,  
А сзади псы, как хвост раздвоенный змеинный.

Ассессор и Юрист глядят и рты раскрыли,  
Стараясь разглядеть косога в клубах пыли,  
Но побледнели вдруг, следят за травлей жадно:  
Змея растёт в длину... Нет, что-то там не ладно!  
Как будто пополам гадюку разорвали,  
У леса голова, а где хвосты? Отстали!  
Замешкались... Стоят... Чего бы это ради?  
Исчезла голова, а хвост остался сзади.

Борзые, обалдев, всё бегали по лугу,  
Казалось, относясь с презрением друг к другу.  
И, словно рассудив, что обе виноваты,  
Смущенные бегут назад, хвосты поджаты,  
Вот встали в стороне, поднять глаза стыдятся  
И точно подойти к хозяевам боятся.

Юрист поник, он был убит и озадачен.  
Ассессор бросил взгляд, но он был также мрачен.  
Потом у них нашлось довольно отговорок:  
Что не привыкли псы ходить у них без сворок,  
Что заяц выскочил внезапно и что в поле  
Хоть обувай собак, чтоб лап не накололи,—  
То камни острые, то яма, то канава.

Так объяснили всё они умно и здраво.  
Их речь могла бы быть полезной в самом деле,  
Но их не слушали ловцы. Одни свистели,  
Другие вспомнили облаву и медведя,—  
И не было конца шумливой их беседе.

Гречеха только раз на зайца покосился,  
Увидел, что русак ушел, поворотился  
И продолжал рассказ: «О чем бишь толковал я?  
Ах да, о том, что с них тогда же слово взял я,  
Что шкура — их барьер, чтоб не забыть посула!  
Все в ужасе: «Как так? Ведь это ж дуло в дуло?»  
А я смеюсь в усы и радуюсь затее:  
Ведь шкура может стать при случае длиннее!  
Читали вы, друзья, есть место у Марона:  
К ливийцам приплыла красавица Дидона.  
Ей дали там клочок земли, но при условии,  
Чтоб поместился весь под шкурою воловьей?  
На этом-то клочке был Карфаген построен!  
Все это ночью я прочел и был спокоен.

Чуть свет, гляжу,— спешат к намеченной лужайке,  
Домейко на коне, Довейко в таратайке.  
А через речку мост — не мост,— глядят сердито:  
Вся шкура наремни разрезана и сшита!  
Тут одного из них к хвосту я посылаю,  
Другого к голове и так им заявляю:  
«Стреляйтесь, шляхтичи! Хоть десять лет деритесь,  
Я вас не отпущу, пока не примиритесь!»  
Все стали хохотать, а тески горячатся.  
Тут мы с ксендзом давай в два голоса стараться —  
Он проповедь завел, а я закон трактую,  
Так и пришлось врагам пойти на мировую.

Что б там ни помогло, писанье иль законы,  
Но все ж Довейко взял сестру Домейки в жены,  
А этот шурина сестру. Всё, что имели,  
Решили поделить. На месте же дуэли  
Построили корчму, где часто пировали,  
И в память прошлого «Медведицей» назвали».





## ССОРА

*Охотничьи планы Телимены.—Садовница готовится к выходу в свет и выслушивает наставления опекунищи.—Охотники возвращаются.—Изумление Тадеуша.—Вторая встреча в Храме Грез и примирение, достигнутое с помощью муравьев.—За столом завязывается разговор об охоте.—Прерванный рассказ Войскового Рейтана и князе Денасове.—Переговоры между сторонами, также прерванные.—Привидение с ключом.—Ссора.—Восный совет Графа и Гервазия.*



речеа, кончив лов, спешит домой со славой,  
А Телимене здесь не терпится с облавой.  
Хоть, руки на груди скрестив, в раздумье пани  
Сидит, не двигаясь, на маленьком диване,  
Но мысленно уже расставила капканы  
И ловит двух зверей, решает, строит планы,—  
Тадеуш или Граф? Граф — юноша приятный,  
Красивый, молодой, воспитанный и знатный,  
Влюблен в нее... Да что ж? Все может измениться!  
Уж так ли любит он? Захочет ли жениться  
На бесприданнице? К тому же он моложе...  
Позволит ли родня? А свет, который строже?

Раздумывая так, расстроенная пани  
Накинула платок, лежавший на диване,  
Чуть приоткрыла грудь и, к зеркалу встав боком,  
Окинула себя, как критик, строгим оком.  
У зеркала совет спросить она хотела,  
Вдохнула, отошла и снова в кресла села.

Граф — пан, изменчив вкус богатого мужчины,  
К тому же говорят, что холодны блондины.  
Тадеуш простоват, — надежнее такие;  
Еще ребенок он, и любит он впервые.  
За ним лишь последить — и будет он привязан,  
К тому же кое-чем он ей уже обязан!  
Мужчина в юности, пока еще застенчив,  
Не то, что зрелый муж, — лишь в мыслях он изменчив.  
Восторга первого в нем живо впечатленье,  
И радуется он, встречая наслажденье,  
Как, весело подчас распорядясь досугом,  
Пирушку скромную мы делим с близким другом.  
Лишь старым пьяницам, пресыщенным кутилам  
Напиток выпитый становится постылым.  
Для умной женщины, знакомой с белым светом,  
Все это много лет уж не было секретом.

Но люди скажут что? Конечно, можно скрыться,  
Уехать сразу в глушь и там уединиться;  
А лучше, может быть, на юг иль за границу,  
Иль совершить вояж, хоть, например, в столицу,  
Там юношу свести с людьми и высшим светом,  
Во всем руководить и помогать советом,  
Чтоб другом стать ему, сродниться, привязаться,  
Покамест молода, любить и наслаждаться!

Раздумывая так, она повеселела,  
Прошлась по комнате и снова в кресла села.

Вот было б хорошо, когда бы удалось ей  
Соединить затем и Графа с бедной Зосей!  
Хоть у невесты нет приданого, но все же  
Не надо забывать, что это дочь вельможи!  
Ведь если б удалось уладить это дело,

Она бы в доме их пристанище имела,—  
Их сваха и родня, она была б как мать им  
И, что бы ни случись, не кланялась бы братьям.

Решенью мудрому была она так рада,  
Что Зосю позвала немедленно из сада.

А Зося босиком, с головкой непокрытой,  
На уровне плеча держа большое сито,  
Стояла к ней спиной. К ее ногам клубками  
Катились курицы; махая шишаками,  
Бежали петухи, вытягивая пятки  
Со шпорами, гребя, как веслами, по грядке  
Большими крыльями. А там индюк спесивый,  
Ворча на болтовню своей жены крикливой,  
Шагает с важностью. Там от кустов малины,  
Руля хвостом, плывут нарядные павлины,  
И, словно снега ком, заслышав птичьи хоры,  
Летит к ее ногам сам голубь среброперый.  
Средь круга зелени, повитого крапивой,  
Круг птиц сжимается, подвижный и крикливый,  
Как лентой белою обвитый голубями,  
Весь в крапинках, блестя павлиньими глазками,  
И клювы, как янтарь, сверкают желтизною,  
Мелькают гребешки, как рыбы над волною,  
И, словно над водой склоненные тюльпаны,  
Все вьется, все дрожит у стройных ножек панны,  
Сверкают сотни глаз, как яркие плеяды.

И Зося среди птиц, над зеленою оградой,  
Вся в белом, легкая, сгибаясь стройным станом,  
Казалась среди цветов сверкающим фонтаном,  
Из сита зачерпнув, в ответ на гогот дружный,  
Жемчужною рукой бросала град жемчужный —  
Ячменную крупу, достойную приправу  
Литовских кушаний, что славятся по праву.  
Чтоб птицу накормить, без колебанья панна  
Украдкою крупу таскала из чулана.

Услышав тетки зов, она в одно мгновенье,  
На птицу высыпав остатки угощенья

И ситом повертев, как бубном танцовщица,  
Выстукивая такт, вспорхнула, словно птица,  
Через павлинов, кур и голубей шагая,—  
И разлетелась вмиг испуганная стая.  
А Зося, ножками едва земли касаясь,  
Порхала, легкая, над ними возвышаясь,  
И голуби над ней летели в виде свиты,  
Как над квадригою прекрасной Афродиты \*.

И девушка, вскочив в окошко к Телимене,  
Тотчас же к тетушке присела на колени,  
И пани, обхватив проказницу за шею,  
Смотрела на нее и любовалась ею.  
Она племянницу как дочь свою любила.  
Но вот нахмурилась и руки отстранила,  
С дивана поднялась и, помолчав немного,  
Ей пальцем погрозив, проговорила строго:

«Ты, Зося, не дитя, тебе пошел сегодня  
Четырнадцатый год! Пора поблагородней  
Забавы выбирать. Ты полешь огороды,—  
Вот славная игра для дочки воеводы!  
С чумазой детворой понянчилась довольно!  
Ведь на тебя смотреть, поверишь ли, мне больно!  
Взгляни на свой загар — ты сущая цыганка!  
А неуклюжа так, как будто ты крестьянка!  
Конечно, в будущем все это я исправлю,  
Сегодня же тебя гостям Судьи представлю.  
Гостей здесь — тьма! Чуть что, начнутся толки, сплетни...  
Смотри, чтоб не пришлось из-за тебя краснеть мне!»

Вскочила панночка и, радуясь затее,  
Повисла в тот же миг у тетушки на шее,  
Смеялась, прыгала, от радости краснея:  
«Ах, тетя, как давно не видела гостей я!  
Все с грядками вожусь да слышу птичьи крики...  
А гость был только раз — и это голубь дикий!  
Мне так наскучило сидеть одной в алькове!  
Судья сказал — скучать опасно для здоровья!»

«Судья мне надоел,— сказала Телимена,—  
Уж он давно бурчит, что надо непременно

В свет вывозить тебя. Не знает, что болтает!  
Он в свете не бывал и мало понимает.  
Нет, юной барышне знать нужно очень много,  
Чтоб в обществе, где всех судить привыкли строго,  
Произвести эффект. Кто вечно в поле зренья,  
Поверь, произвести не может впечатленья,—  
Он примелькался всем. Но если перед светом,  
Сверкая красотой, умом и туалетом,  
В один прекрасный день появится неожиданно,  
Откуда ни возьмись, молоденькая панна,  
К ней сразу каждый льнет, все угодить ей рады  
И ловят на лету ее слова и взгляды.  
А если девушка вошла однажды в моду,  
То хочется иль ист, а обществу в угоду  
Ей восхищаются. Но ты росла в столице  
И нынче не должна в гостинной осрамиться,  
Хоть в этакой глуши живешь второе лето.  
В моем бюро ты все найдешь для туалета,  
Так позаботься же, чтоб ты была готова,  
Охотники вот-вот вернутся в Соплицово».

Служанок кликнули, гремят тазы, кувшины,  
И вот наполнен таз водой до половины  
И Зося плещется, покрывшись мыльной пеной,  
Как воробей в песке. А пани Телимена  
Из петербургского припрятанного склада  
Флаконы достает и баночки с помадой,  
На Зосю брызгает тончайшими духами,  
Помадит волосы, мудрит с ее кудрями;  
На панночке чулки ажурней паутинки  
И белые, как снег, варшавские ботинки.  
Вот горничная лиф на ней зашнуровала,  
На плечи пудерман набросила и стала  
Снимать с ее кудрей тугие папильотки;  
И снова в ход пошли щипцы, гребенки, щетки,  
Сдвоили локоны, спустив их за висками,  
Служанка принесла корзинку с васильками,  
Сплела из них венок,— им поспешила тетка  
Украстить локоны воспитанницы кроткой.  
На светлых волосах цветы темней казались  
И, как в колосьях ржи, прелестно выделялись.

Окончен туалет, и панночка одета.  
Стократ похорошев от смены туалета,  
В руке платочек сжав, она стоит, робея,  
Нежна и хороша, как белая лилея.

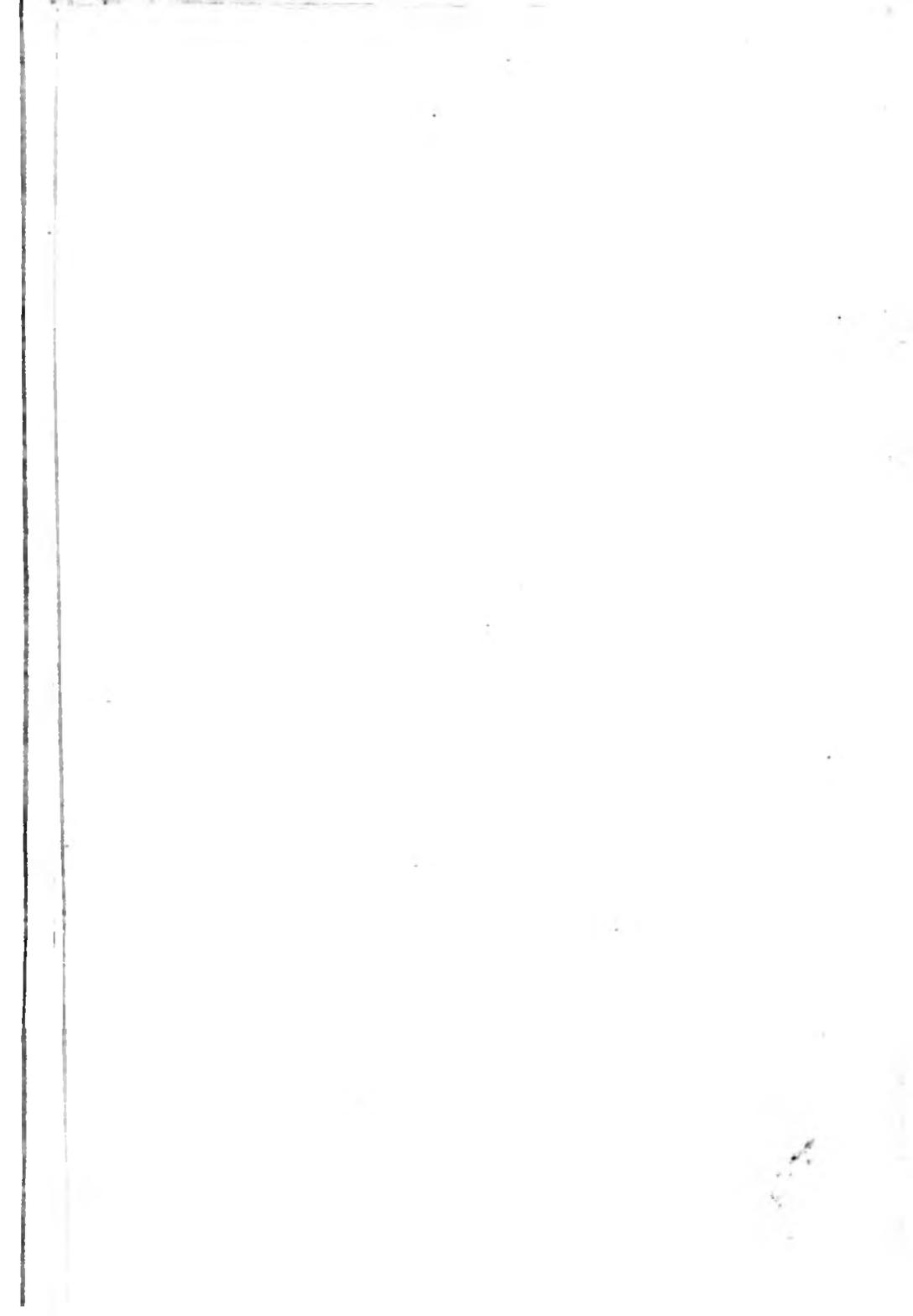
И снова кудри ей пригладив аккуратно  
И приказав пройтись туда, потом обратно,  
Все больше хмурилась взыскательная тетка:  
«Ну что за реверанс! О боже! А походка?  
Так вот, что значит жить средь уток, с пастухами!  
Зачем по сторонам стреляешь ты глазами?  
Как разведенная жена! Присядь, да ну же.  
Ох, милая, и как все это неуклюже!  
Кто ж ногу ставит так? Ты видишь ли сама-то?»  
Вздыхнула девушка: «Но я не виновата!  
Жила я взаперти, без танцев и от скуки  
Привыкла птиц пасти... Какие ж тут науки?  
Но обещаю вам, что, следуя примерам,  
Я скоро научусь изысканным манерам».

«Уж лучше с птицей жить,— ей пани возразила,—  
Чем с этой шушерой, что здесь у нас гостила!  
Перенимать у них мужицкие замашки?  
Кто здесь бывал? Плебан, что вечно дулся в шашки,  
Да писарь с трубками,— вот наши кавалеры!  
Уж нечего сказать, достойные примеры!  
Сейчас, душа моя, хоть есть пред кем стараться,  
На этот раз у нас отлично веселятся,  
Заметь, гостит здесь Граф, потомок воеводы,  
Воспитан и умен, провел в Париже годы,  
Будь полюбезней с ним...»

Тут донеслось к ним ржанье

И голоса. «Они!» — засуетилась пани  
И, Зосю подхватив, пошла поспешно в залу.  
Но было пусто в ней. Должно быть, поначалу  
Охотники пошли переменить костюмы.  
Все в доме замерло, нигде не слышно шума.  
Но Граф с Тадеушем, сменив костюм мгновенно,  
В гостиную вошли почти одновременно.  
Приветствуя гостей, им пани представляла  
Свою племянницу,— Тадеушу сначала,





Ввиду того что он был родственником близким.  
Присела девушка, и он поклоном низким  
Приветствовал ее, заговорить пытался,  
Но, встретив Зосин взгляд, вдруг так разволновался,  
Что сразу онемел и сердце защемило,—  
Он сам не понимал, что с ним происходило.  
Да, он узнал ее, мгновенно, без ошибки,  
По росту, волосам, застенчивой улыбке,  
Ту, что впорхнула в сад, легка, полуодета,  
И кто будил его сегодня в час рассвета.

Гречеха угадал Тадеуша смущенье  
И вывел, наконец, его из затрудненья,  
Советуя вздремнуть. Тадеуш спохватился,  
Смущенный отошел, на печь облокотился  
И, все еще немой, глядел, как на находку,  
Переводя глаза с племянницы на тетку.  
И пани видела, какое впечатленье  
Взгляд Зоси произвел на гостя, но волненья  
Не выдала ничем, лишь зоркими глазами  
Ловила взгляд его, беседуя с гостями.  
Но все ж, не вытерпев, Тадеуша спросила,  
Здоров ли? Чем смущен? — и пальцем погрозила.  
На Зосю намекнув, расспрашивает, шутит...  
Но юноша молчит, в раздумье докон крутит  
Да хмурит лоб, рукой облокотясь о стену,  
Молчанием своим пугая Телимену.  
И пани, рассердясь, метнула взгляд жестокий  
И нежные слова сменила на упреки  
И даже колкости. Но юноша с досадой  
Поморщился, еще не замечая яда,  
И, ощутив укол отравленного жала,  
Толкнул ногою стул и выбежал из зала.  
Дверь громко хлопнула... Но, кроме Телимены,  
По счастью, никто не видел этой сцены.

Тадеуш в лес бежал, ища уединенья.  
Как щука, острой пронзенная, в смятенье  
Нырять, прячется, надеясь на сноровку,  
Но тащит за собой желез и веревку,

Так за собою он тянул свою досаду.  
Он миновал овраг, перескочил ограду  
И шел, задумавшись, куда шагали ноги,  
Блуждая наобум, без цели, без дороги.  
И вот пришел к холму, — нарочно иль случайно, —  
Туда, где счастлив был и где записку тайно  
Он получил вчера, и сел под сень березы.  
В том самом уголке, что прозван «Храмом Грезы».

Взглянул — пред ним она! На маленькой поляне,  
На камне над ручьем, задумчивая пани,  
В ладонях скрыв лицо, в одежде снежнобелой,  
Казалась издали ему окаменелой.  
Не слышал стоны он и все ж, из самой позы,  
Мгновенно угадал, что пани душат слезы.

Как сердце юноши в тот миг ни защищалось,  
Он все ж, растрогавшись, почувствовал к ней жалость.  
Он наблюдал за ней в молчании глубоком  
И, наконец, вздохнув, сказал себе с упреком:  
«При чем же тут она? Сердиться нет резона!»  
И голову слегка просунул из-за клена.  
Вдруг пани вздрогнула и, оглядываясь пугливо,  
Метнулась прямо в лес, стремглав сбежав с обрыва;  
Растрепана, бледна, она то приседала,  
То поднималась вновь и, наконец, упала  
В высокую траву и стала в ней кататься,  
Не в силах муки скрыть, пытается подняться,  
Хватается за грудь, за локти и за шею...  
Тадеуш обомлел: Да что же это с нею?  
Уж не припадок ли? Но от другой причины  
Произошла беда.

Вблизи в корнях осины  
Был муравейник. Там по тропке, в травах скрытой,  
Без усталости сновал народец деловитый,  
И по каким-то нам неизвестным причинам  
«Храм Грезы» был любим семейством муравьиным.  
Тропинку протоптав к ручью, на холм зеленый,  
Бог знает для чего, ползли их легионы.  
Беглянка же как раз присела там на кочке,  
И, увидав ее блестящие чулочки,

Сбежались муравьи и овладели ею:  
Щекочут руки ей, колени, грудь и шею...  
Ну, как же помощи в беде не оказать ей?  
Тадеуш подбежал, стал чистить пани платье,  
Припал к ее ногам и, кончив с муравьями,  
Коснулся невзначай ее виска губами.  
Мир восстановлен был, и, как по уговору,  
Никто не вспоминал про утреннюю ссору.  
И затянулась бы беседа их, пожалуй,  
Когда бы дальний звук знакомого сигнала  
На ужин не позвал. Пора спешить им к дому!  
Уже слышались шаги по бурелому —  
Их ищут! Но вдвоем вернуться невозможно...  
И Телимена в сад пробралась осторожно,  
Тадеуша послав окольною дорогой.  
Так оба шли домой, объятые тревогой:  
Ей все мерещилась сутана за кустами,—  
Казалось, вслед шел ксендз неслышными шагами.  
Тадеуш, раза два заметив у обочин  
Метнувшуюся тень, был также озабочен,  
Решил, что это Граф, ходивший в долгополом  
Английском сюртуке, и побежал к стоdomам.

Стол в замке был накрыт. Туда еще с рассветом  
Протазий поспешил, наперекор запретам.  
Он замок штурмом взял, Судьи спасая право,  
И перенес буфет, куда шла облава.  
Все гости вдоль стены стояли в полном сборе.  
Все ждали, чтоб прошел на место Подкоморий,—  
Он заслужил почет и возрастом и чином,—  
Шагая, кланялся он дамам и мужчинам,  
Направо от него его супруга встала  
(Ксендз Робак не пришел), и, разместив сначала  
Гостей, хозяин сам остался посредине.  
Он громко прочитал молитву по-латыни,  
Мужчины выпили и сели все в молчанье —  
Литовский холодец привлёк гостей вниманье.

Вот раки поданы, цыплята со шпинатом  
В компании с бордо, венгерским и мускатом.  
Но молча гости пьют. Пожалуй, с основанья

Не видел замок столь угрюмого собрания.  
Как часто в старину обширные палаты  
Слыхали крик гостей, их тосты и вишаты,  
Но трапезы такой не знали своды залов.  
Лишь пробок хлопанье да звяканье бокалов  
Звучало в тишине, в пустых покоях зданья,  
Как будто сам злой дух обрек их на молчанье.

Однако для того имелись все причины:  
Из лесу возвратясь, еще полдня мужчины  
Смеялись, спорили, но, вспомнив ход облавы,  
Решили, что она не принесла им славы.  
Ведь надо ж, чтоб как раз поповская сутана,  
Откуда ни возьмись, негаданно-нежданно  
Утерла всем носы! Позор! Ну, что о панах  
Теперь заговорят и в Лидзе и в Ошмянах,  
Которые всегда тягались с их поветом  
За первенство в стрельбе? Все думали об этом.

Ассессор и Юрист сидели туча-тучей.  
Вдобавок ко всему их злил скандальный случай —  
Перед глазами их проклятый, подлый заяц  
Помахивал хвостом, как будто издеваясь...  
И, вспомнив заячью дурацкую проделку,  
Насупились ловцы, уткнувши нос в тарелку.  
Ассессор же имел и новый повод злиться:  
Следил ревниво он, как пани веселится.

Она ж к Тадеушу нарочно села боком,  
Исподтишка за ним следя лукавым оком,  
И Графа развлекать решила разговором.  
Но Граф лишь хмурился, сверкая мрачным взором.  
С прогулки возвратясь, он не скрывал досады  
(Тадеуш знал, что Граф все видел из засады),  
С надменной миною, вертя в руках салфетку,  
Небрежно слушал он любезную соседку  
И, наконец, подсел к смущенной Зосе, — просит  
Попробовать вина, тарелки ей подносит,  
Ей тысячи услуг любезно предлагает  
И, закатив глаза, мечтательно вздыхает.  
Но было видно всем, что это предпочтенье  
Оказывает Граф лишь в пику Телимене:

Хоть Граф и сделал вид, что занят разговором,  
За пани он следил украдкой грозным взором.

Она ж не поняла разгневанного взгляда,  
Подумала: «Чудак!» и тут же, втайне рада,  
Что с Зосей начал он любезную беседу,  
Поближе к милому придвинулась соседу.

Тадеуш хмурился, следил за разговором,  
Но ничего не ел, склонившись над прибором.  
Ее назойливость его все больше злила.  
Здоров ли? Он в ответ зевнул... Вот это мило!  
Уж недоволен он — какая перемена! —  
Что чересчур нежна сегодня Телимена.  
Был недоволен он и взглядом слишком томным  
И вырез платья вдруг стал находить нескромным,  
Теперь он видел все, чего не видел ране!  
Едва он поглядел на щеки бедной пани,  
Он увидал следы коварного обмана —  
Она румянится!

Плохие ли румяна,  
Иль стерлись, может быть, но только щек изъяна  
Их слой не закрывал — так вот они, две розы!  
Быть может, сам же он сегодня, в «Храме Грезы»,  
Беседуя в траве с подругой чернокудрой,  
Как с мотылька пыльцу, смахнул румяна с пудрой,  
А пани второпях, когда домой спешила,  
Забыла подновить румяна и белила.  
Глаза Тадеуша, открыв следы измены,  
Старались отыскать изъяны Телимены,  
Как сыщики, ее осматривали строго:  
Он видел возле губ веснушки — и как много!  
Нет двух зубов во рту... Беззубая красотка!  
И тысячи морщин в углах у подбородка...

Увы, он понимал, что поступает низко —  
Прекрасное нельзя рассматривать так близко,  
А за любовницей следить вдвойне позорно...  
Но что поделасшь? Нам сердце не покорно.  
Как ни терзайся, долг любви не заменяет...  
Уж больше пламень глаз души не согревает,

Сияя, как луна, он, осветив снаружи,  
Не может растопить в нас лед душевной стужи.  
Тадеуш мучился. Кусая губы, красный,  
Сидел он, как в чаду, и вид имел несчастный;  
На Зося взглядывал и вспыхивал, как порох,  
Злой дух толкал его подслушать разговор их.  
А Зося, тронута любезностью такою,  
Сперва зарделась вся, но, овладев собою,  
Вдруг стала говорить о встрече их на грядках,  
Каких-то лопухах и сломанных початках.  
Тадеуш слух напряг, теряясь в догадках,  
Глотал ее слова, пропитанные ядом,  
И издали за ней следил ревнивым взглядом.  
И как змея в лесу иль в парке одичалом  
Сок ядовитых трав высасывает жалом  
И, закрутясь в клубок, лежит в пыли дорожной,  
Грозя исподтишка ноге неосторожной,  
Так и Тадеуш был спокоен только с виду,  
Но затаил в душе жестокою обиду.

Когда в компании, средь звона чаш и шума,  
Насупясь, кто-нибудь сидит в углу угрюмо,  
Он заражает всех. Ловцы давно молчали,  
Теперь же смолк и тот, кто говорил вначале.

И Подкоморий пан не нарушал молчанья,  
Он был за дочерей обижен на собранье,—  
Никто не уделял вниманья бедным паннам,  
А панны взяли всем — красивые, с приданым,  
Невесты первые, по мнению повета.  
Хозяин хмурился, давно приметив это,  
А Войский, рассердясь, что все сидели молча,  
Сказал, что трапеза не польская, а волчья.

Молчанья не любил общительный Гречеха.  
За праздничным столом какая в нем потеха?  
Да что ж дивиться! Пан всю жизнь провел в облавах,  
Пирах, да сеймиках, да всяческих забавах;  
Привык он, чтоб ему всегда бубнили в ухо,  
Молчал ли, крался ли с хлопушкою за мухой,  
Иль так сидел, мечтал, прикрыв ладонью очи;

Искал беседы днем и требовал, чтоб ночью  
Молитвенник ему читали или сказки.  
Он трубки не любил — был старой он закваски,—  
Он говорил: хотят нас немцы изуверчить  
И этой немотой всю Польшу онемечить.  
Он к спорам так привык, что спал под шум, бывало,  
И открывал глаза, когда вокруг стихало.  
Так мельник сладко спит под грохот шестеренок,  
Но смолкли жернова, и он кричит спросонок.

Вот Подкоморию старик кивнул и, снова  
Поворотясь к Судье, дал знак, что просит слова.  
И оба на поклон ответили поклоном,  
Что значило: «прошу». И Войский важным тоном  
Промолвил:

«Господа! Какие в том причины,  
Что молча мы жуем? Ведь мы ж не капутины! \*  
Молчащий, как стрелок, что свой заряд жалеет  
В то время, как заряд в стволе ружья ржавеет.  
Равняться мы должны по нашим славным дедам,  
Что, с лова возвратясь, сходились за обедом  
Не только есть да пить, бурча под нос лакеям,—  
Поспорить, обсудить, похвастаться трофеем.  
Да так-то спорили, что пол дрожал в хоромах,  
Судили сообща удачу или промах,—  
Все выносили мы на суд и на расправу,  
И каждый в споре вновь переживал облаву.  
Поверьте, господа, я знаю, в чем причина,—  
Досадуете вы на мсткость бернардина!  
Стыдитесь промахов! Но рассудите сами:  
Случались промахи и с лучшими стрелками!  
Попасть, промазать... что ж? Все терпят неудачу.  
Стреляю с детства я, а промахнусь — не плачу!  
Тулощик смазать мог, а был стрелок достойный,  
При мне не попадал и сам Рейтан покойный!  
А что до юношей, что нынче промах дали,  
А после, хоть в руках рогатину держали,  
На зверя не пошли, мы их хвалить не будем,  
Но все ж, по совести, и строго не осудим:  
От зверя убежать, не выпустив заряда,  
Вот трусом-то кого назвать по правде надо,

Но наобум стрелять, дистанции не смеря,  
Как делает иной, не подпуская зверя.  
Позорнее стократ. Когда ж опасность рядом,  
И промах дал стрелок уже вторым зарядом,  
Он может отступить, тут честью он не связан,  
Хватать рогатину он вовсе не обязан,—  
Рогатина стрелкам дана для обороны,  
Так диктовали встарь охотничьи законы.  
Хоть и обидна вам такая ретирада,  
Поверьте мне, друзья, тужить о том не надо!  
Но дать один совет я, как старик, вам вправе.  
Когда вы вспомните о нынешней облаве,  
Припомните, что вам наказывал Гречеха:  
Вы не должны вперед друг другу быть помехой,  
И двое не должны стрелять в одну волчицу...»

И только он успел произнести «волчицу»,  
Ассессор пробурчал насмешливо: «Девицу».  
Раздался громкий смех, и кто-то крикнул «браво!»  
Вокруг оратора налево и направо  
Смеются, шепчутся, там слышится: «Волчицу»,  
А на другом конце, смеясь, кричат: «Девицу!»  
«Соседку!» — пробурчал Нотариус. «Кокетку!» —  
Ассессор подхватил, вонзая взор в соседку.

Но Войский был далек от шпилек и упреков  
И разгадать не мог язвительных намеков.  
Старик доволен был, что угодил застолию.  
Он на ловцов взглянул и, увлеченный ролью,  
С улыбкою сказал, хлебнув абрикотина:

«Как жаль, что с нами нет сегодня бернардина!  
Ему бы рассказал я случай презабавный,  
Где так же, как у нас, был сделан выстрел славный.  
Хоть Ключник и сказал, что он стрелка такого  
Знал только одного, но я видал другого.  
Таким же выстрелом стрелок в глуши дремучей  
Двоих от смерти спас. При мне был этот случай,  
Когда Денасов \* князь с Тадеушем Рейтаном  
Попали в переплет... Но этим знатым панам  
И в мысли не пришло завидовать победе

Простого шляхтича,— на праздничном обеде  
Они торжественно его здоровье пили  
И шкуру кабана за меткость подарили —  
Заслуженный трофей, да золота к тому же...  
Ксендз славно выстрелил,— и тот стрелял не хуже!  
И обижаться тут на квестаря нельзя нам,—  
Возьмите-ка в пример Денасова с Рейтаном!»

И, Войскому кивнув, Судья наполнил чаши.  
«Здоровье Робака! — провозгласил,— и ваше!  
Ему б мы поднесли подарков целый ворох,  
Да не возьмет! Но все ж заплатим хоть за порох:  
Медведь, подстреленный рукою богатырской,  
Послужит года два для кухни монастырской.  
Но шкуры не отдам! Пусть он своею волей  
Уступит иль продаст за лучший мех соболей,  
А нет, так отниму. Как сами разумею,  
Распорядимся мы сегодняшним трофеем.  
Честь первая ксендзу, стреляет он на диво!  
Пусть Подкоморий наш рассудит справедливо,  
Кто вслед идет,— тому принадлежит и шкура!»

Тут крякнул славный гость и брови сдвинул хмуро.  
Но зашумели все, и каждый вставил слово:  
Тот зверя выследил, тот в окружение снова  
Загнал его, а тот на след направил гончих...  
Ассессор и Юрист кричали громче прочих,—  
Один перевозносил, конечно, Сангушовку,  
Другой до хрипоты хвалил Сагаласовку.

«Ты прав,— сказал арбитр,— честь первая по праву  
Принадлежит ксендзу: стреляет он на славу!  
Но кто идет за ним, решить не так легко мне...  
Все мужеством равны, все нападали,— вспомни,  
Заслуги есть у всех. Но среди нас есть двое,  
Что были давеча отмечены судьбою,—  
Двоим грозила смерть, и это помнить надо...  
Граф и Тадеуш — вам принадлежит награда!  
Как самый молодой, Тадеуш, и тем боле  
Как родственник Судьи, откажется от доли.  
Трофей получит Граф, и все мы думать смеем,  
Что он свой кабинет украсит тем трофеем,

Храня в нем памятку сегодняшней облавы,  
Знак счастья и залог его грядущей славы!»

Увы, арбитр не знал, как Графу было больно!  
При слове «кабинет» он поднял взор невольной:  
На выцветшей стене висели украшения, —  
Ветвистые рога и головы оленьи,  
Весь тот лавровый лес, посаженный отцами,  
Чтоб увенчать сынов бессмертными венками,  
Портреты прадедов со стен глядели строго,  
На сводах видел он мерцанье Козерога,  
Он слышал голоса... Но миновала дрема,  
Очнулся бедный Граф. Так, значит, он не дома!  
Наследник Стольника, он гость в своих палатах!  
И чей же гость? Соплиц, своих врагов заклятых!  
В тот миг, завидуя Тадеушу ревниво,  
Он ненавидел их. И, улыбнувшись криво,  
Сказал: «Мой домик мал, в нем нет ни ниш, ни арок,  
Где б мог я поместить столь редкостный подарок.  
Так пусть уж подождет медведь среди сохатых,  
Пока я в родовых не поселюсь палатах!»

Арбитр смекнул, к чему клонил он в этой вспышке,  
И, табакерку взяв, он постучал по крышке:

«Достойна похвалы рачительность соседа,  
Как видно, для него дела важней обеда!  
Не то, что сверстники, гуляки и повесы,—  
У Графа на уме не шашни, а процессы.  
Я б миром кончил суд, да есть одна загвоздка —  
В усадебной земле. Однако из наброска,  
Который сделал я, увидите, что можно  
И это обойти и заменить ничтожный  
Клочок земли другим...» И тут наш гость почтенный  
Пустился излагать подробный план замены;  
Но вдруг раздался шум, и в эту же минуту  
Весь стол шептаться стал, дивятся все чему-то,  
И головы гостей, высматривая диво,  
Взметнулись, как грозий взволнованная нива.  
Все смотрят в угол.

Там, покрытый паутиной,

Горешки-Стольника висел портрет старинный,  
Вдруг потайная дверь раскрылась под портретом,  
И призрак в зал вошел... Но тут по всем приметам—  
По росту и гербам на выцветшей ливрее,  
Узнали Ключника и гости и лакеи.  
Не кланяясь гостям и шапки не снимая,  
Он шел, прямой, как столб; в руке, как нож сверкая,  
Торчал огромный ключ... И, не взглянув на Графа,  
Гервазий подошел и отпер дверцу шкафа.

В шкафах, где много лет дремали фолианты,  
Стояли под стеклом старинные куранты.  
С природой не в ладах, их стрелки на закате  
Показывали день, и марш играл некстати.  
Гервазий сам не мог исправить их изъяна,  
Однако всякий день, как и при жизни пана,  
Исправно заводил, чтоб не нарушить хода,  
И вот как раз теперь пришла пора завода.  
Пока глава стола витийствовал о мире  
Враждующих сторон, Гервазий дернул гири,  
И вот колесики часов заскрежетали...  
Оратор речь прервал: «Эй, братец, а нельзя ли  
Работу отложить?» Но Ключник нелюбезный  
Упорствовал назло, и вот снегирь железный  
Сидевший на часах, взмахнул крылом заправски  
И стал насвистывать какой-то марш варшавский.  
Он прежде славно пел, да вот успел сломаться...  
И он шипел, хрипел и начал заикаться.  
Раздался дружный смех, и снова, как на горе,  
Был вынужден прервать тираду Подкоморий.  
«Эй, Ключник,— крикнул он,— ты слышишь, старый  
филин?»  
Ступай-ка прочь, не то получишь подзатылень!»

Но Ключник отвечал усмешкой на угрозу.  
Он подбоченился, лихую принял позу  
И крикнул: «Сударь мой, хоть воробей бессилен,  
Но дома у себя и он смелей, чем филин  
В чужой хоромине, куда ему и носа  
Не следует совать... Тот филин, кто без спроса  
На чердаках чужих проводит ночь, пируя,

И видит бог, его когда-нибудь пугну я!»  
Тут старый пан вскипел:

«Гоните вон болвана!»

Но Ключник, не взглянув на взбешенного пана,  
Воскликнул: «Боже мой! Пан Граф, да это вы ли?  
С Соплицей за столом? О чести вы забыли!  
И вы не вступитесь за Ключника Горешки,  
Чтоб молча он сносил придирки и насмешки  
И в доме Стольника терпел такое лихо?»  
Но тут Протазий встал и трижды крикнул: «Тихо!  
Вниманье, господа! Я, возный трибунальский,  
Протазий-Балтазар, а по отцу Брехальский,  
По форме произвел осмотр всего именья  
И всех сидящих здесь господ, без исключенья,  
Беру в свидетели, что в акте обозначил,  
Прошу Ассессора, чтоб следствие он начал  
По делу нашего Судьи о нарушенье  
Противником границ, а также о вторженье  
В сей замок, коим пан Судья располагает,  
Понеже ест в нем, пьет и шляхту угощает».

«Ты брешешь! Так постой, я дам тебе острастку!»  
И Ключник, выхватив ключей большую связку,  
Взмахнул ей в бешенстве и бросил в Балтазара,  
Как камень из пращи. Однако от удара  
Протазий ускользнул, и только чистый случай  
Помог ему спастись от смерти неминуемой.

Все повскакали с мест. Соплица крикнул слугам:  
«Связать молодчика! Получит по заслугам!»  
И тотчас ринулись дворовые толпою  
И заняли проход меж дверью и скамьею.  
Но Граф, подвинув стул, загородил дорогу,  
На шаткий бастион поставил гордо ногу  
И крикнул: «Стой! Куда? Хотите вы разгрома?  
Гнать моего слугу из собственного дома?  
Я сам решу, кто прав и кто виновен в ссоре!»

Нахмурившись, взглянул на Графа Подкоморий:  
«Без вашей милости проучим мы смутьяна!  
А этот замок, Граф, присвоили вы рано,  
Еще в суде о том пока что не решили.

Не вы хозяин здесь, не вы нас пригласили!  
Коль не желает пан мой уважить лета,  
Пусть уважает он хоть первый чин повета!»

«А, бросьте,— буркнул граф,— стращать меня чинами!  
Довольно и того, что бражничал я с вами.  
Мне жаль, что я примкнул к подобному собранью,  
Где спьяна шляхтича облить готовы бранью!  
Вы мне ответите! Довольно безобразий!  
Проспать надо вам! Пойдем со мной, Гервазий!»

Почтенный пан не ждал столь дерзкого ответа.  
Как раз собрался он налить себе кларета,  
Но, слыша Графа речь, как громом пораженный,  
Оперся о бокал бутылкой наклоненной  
И, оставаясь так без звука, без движенья,  
Никак не мог в себя прийти от изумленья.  
Но вдруг бокал с вином с такою силой стиснул,  
Что лопнуло стекло. В глаза напиток прыснул,  
И, словно в грудь его вино вдохнуло пламя,  
С пылающим лицом, с горящими глазами,  
Вскочил он и хотел заговорить, но губы  
Его не слушались... И, наконец, сквозь зубы  
Пробормотал: «Болван! Наглец! Эй, Томаш, саблю!  
Да я тебя, щенок, сейчас молчать заставляю!  
Графишка этакий! Стращать других чинами!  
Ты уши натрудил? Тогда простись с ушами!  
За двери! Саблю мне! Небось убавлю злости!..»

Но к Подкоморню уже сбежались гости.  
«Мой пан,— сказал Судья,— не надо волноваться,  
Я первый оскорблен, и я с ним должен драться!  
Протазий, мой палаш! Да он, как медвежонок,  
Запляшет у меня! Найду еще силенок!»  
Тадеуш перебил: «Но, дядя, для чего же  
Вам драться с фертиком? Есть люди помоложе!  
Оставьте это мне, прошу, не горячитесь...  
Пан вызвал стариков,— какой отважный витязь!  
Уж так ли храбр герой, иль есть кой в чем заминка,  
Мы завтра поглядим на месте поединка!  
Теперь ступайте вон!»

Но, не ступив и шагу,

Старик-слуга и Граф попали в передрагу.  
Вокруг поднялся шум, какой-то шляхтич пылкий  
В них бросил свой бокал; и вот летят бутылки,  
Салфетки, блюдечки, тарелки и стаканы...  
Моля о помощи, испуганные панны  
В слезах вскочили с мест, крича одновременно.  
И, закатив глаза, упала Телимена  
На графское плечо, к груди его прижалась.  
И Граф, хоть был сердит, почувствовал к ней жалость  
И поспешил помочь.

Но бедному Рубаке  
Пришлось принять удар стремительной атаки,  
Уж он изнемогал, а челядь наступала...  
Вдруг Зося в ужасе вскочила, подбежала  
И ручками его за плечи обхватила...  
Толпа отпрянула, как-будто чья-то сила  
Ее отдернула... И в это же мгновенье  
Старик исчез из глаз при общем изумленье.  
Весь зал обшарили, глазам своим не веря...  
Вдруг, как из-под земли, он вырос возле двери,  
Дубовую скамью взвалил себе на шею  
И стал, как мельница, вертеться вместе с нею,  
Очистил Графу путь и, заслонив скамьею,  
Повлек его к дверям свободно рукою.  
Но вдруг замешкался. Бежать? Но почему же?  
Не лучше ль наступать, когда в руках оружие?  
И, как таран, скамью занес он для удара  
И голову нагнул, в приливе злобы ярой  
Готов смести с пути любого, как помеху.  
Но дрогнула рука — увидел он Гречеху...

Полузакрыв глаза, не отвлекаясь шумом,  
Казалось, старый пан своим отдался думам.  
Когда же дерзкий Граф обидел Подкоморья  
И пригрозил Судье, прислушиваясь к ссоре,  
Гречеха взял табак, чихнул и оживился.  
Хоть дальнею родней Судье он приходился,  
Но, пользуясь его гостеприимным кровом,  
Следил, чтоб друг его был бодрым и здоровым.  
В разгаре ссоры он спокойно, как спросонья,  
Достал старинный нож и руку вверх ладонью

На скатерть положил меж рюмочек и ложек.  
И, лезвием к себе на ней пристроив ножик,  
Он руку оттянул — чего бы это ради? —  
И начал им играть, в упор на Графа глядя.

Метание ножей, прием опасный в драке,  
Давно оставили литвины и поляки.  
И только старикам теперь оно знакомо.  
Слыл Войский знатоком опасного приема.  
И как не видел он, Гервазий, в этой спешке,  
Что Войский целит в грудь последнего Горешки!  
(По женской линии их родича, по прялке! \*) .  
Но этого никто не видел в перепалке.  
Он Графа заслонил — пускай Гречеха целит! —  
И вытолкнул... «Держи!» — ревели сзади челядь.

Как волк, застигнутый у падали средь бора,  
Бросается на псов, и мчитя с лаем свора,  
А он летит за ней и вот уж настагает,  
Но щелкает курок, — тот тихий звук он знает, —  
И видит он ловца: к щеке прижав дустволку,  
Он, на колено встав, грозит неслышно волку  
И дуло на него спокойно направляет...  
И, уши опустив, зверь в чашу убегает;  
Вся свора вслед за ним несется, громко лает  
И хочет разорвать, за шерсть его хватает,  
А зверь оглянется, клыки сверкнут во мраке —  
И с визгом в стороны бросаются собаки:  
Так Ключник отступал. Теснимый слуг напором,  
Он сдерживал толпу скамьей и грозным взором,  
Пока не скрылся вдруг в потемках галереи,  
И снова слышен крик: «Держи! Ушли, злодеи!»

Но гости и Судья торжествовали рано —  
Гервазий вновь стоял на хорах у органа.  
Он трубы стал ломать, чтоб бой вести оттуда,  
И верно бы гостям пришлось сегодня худо.  
Но вся компания уже ушла из зала,  
Бежали слуги вслед, хватая что попало,  
Оставив по углам бутылок винных груду,  
Бросая снедь, вино, приборы и посуду.

Но кто же позже всех покинул поле битвы?  
Протазий-Балтазар. Он, как слова молитвы,  
За креслом у Судьи, торжественный и грозный,  
Провозгласил свой акт, как трибунальский возный,  
И вышел с важностью, не изменяя мины,  
Оставив за собой лишь трупы да руины.

По счастью, не было людских потерь в той схватке,  
Лишь стулья да столы валялись в беспорядке,  
Как рыцарь на щите, облитом вражьей кровью,  
Безногий стол лежал с подносом в изголовье,  
Средь уток и цыплят, упавших на бутылки,  
В чьей раненой груди еще торчали вилки.

Настала тишина. Все в замке одичалом  
Заснуло мертвым сном. Лишь тьма ползла по залам.  
Остатки пиршества, в пустынной тьме громады,  
Напоминали пир, когда справляют «дзяды»\*.  
Казалось, призраки для пиршества ночного  
Уже идут сюда,— уже под крышей совы  
Кричат, как колдуны, восход луны встречая,  
Чей бледный лик скользит, в окошко проникая,  
Как дух чистилища, покинув подземелье;  
Уж крысы-грешники спешат на новоселье,  
Торопятся, грызут, разнюхав угощенье,  
И пробка хлопает, как тост за привиденье.

Но выше этажом, в большой зеркальной зале,  
Где рамы без зеркал вдоль темных стен зияли,  
Граф вышел на балкон, смотрящий на ворота,  
Чтоб охладить лицо, горящее от пота,  
При этом свой сюртук английского покроя  
Накинул, словно плащ, связав рукав с полою.

Гервазий сумрачный расхаживал по зале,  
И оба невпопад друг с другом рассуждали:  
«Пусть сабли! — Граф сказал. — А нет, так пистолеты!»  
«И замок, и земля, и все именье это  
Твое! — кричал старик. — А ты уж добр не в меру!»  
«Племянника, Судью, все племя их — к барьеру!» —

Кричал сердитый Граф. «И замок и поместье  
Ты должен отобрать, и овладеть всем вместе!  
На что тебе процесс? Все ясно в этом деле —  
Четыре сотни лет Горешки всем владели!  
Земля оттянута была при Тарговице \*  
И, как известно вам, приписана Соплице.  
Ты тратился на суд? — и он взглянул на Графа, —  
Так пусть земля Соплиц пойдет вместо штрафа!  
Я говорил давно: пришла пора возмездья!  
Я говорил давно, — подумай о наезде...  
Так в старину велось: кто в поле одолеет,  
Тот победит в суде. Кто взял — тот и владеет!  
И лучше, чем процесс, с Соплицей спор старинный  
Поможет разрешить мой «ножик перочинный».  
Мы с Матеком вдвоем их всех уложим в лежку  
И сделаем из них отличную окрошку!»

«Что ж, — молвил Граф, — твой план готическо-сармат-  
ский \*

Мне больше по душе, чем спор их адвокатский.  
Наезд, ты говоришь? Вот случай небывалый!  
Да мы на всю Литву прославимся, пожалуй!  
Я за два года здесь не видел дельной брани, —  
Дерутся здесь одни из-за межи крестьяне.  
Но этот наш поход сулит кровопролитье!  
Случилось раз со мной подобное событие:  
У князя я гостил в Сицилии, и, кстати,  
Разбойники в горах его поймали зятя  
И в виде выкупа потребовали денег.  
Мы, взяв с собою слуг, нагнали их, и пленник  
Был мной освобожден. Как дрался в этот день я!  
А если б видеть мог ты наше возвращенье!  
Нас, словно рыцарей, народ встречал цветами,  
Дочь князя мне на грудь упала со слезами!  
Когда же прибыл я в Палермо, то об этом  
Уже узнали все, должно быть по газетам,  
Шептались женщины и на меня кивали...  
Потом написан был роман, где называли  
Меня по имени. Там подвиг мой представлен  
Во всех подробностях. Роман был озаглавлен:

«Граф, или тайники дворца Бирбанте-Рокка»... \*  
А здесь подвалы есть?» — «Хоть есть, да что в них  
прока?» —

Гервазий отвечал, — в них крысы да мокрицы,  
А было и вино, да выпили Соплицы!»  
Граф продолжал: «Так вот — вооружить жокеев!  
Вассалов всех собрать...» — «Помилуй, пан, — лакеев?» —  
Гервазий закричал. — Да видано ль такое?  
Ты хочешь мужичье собрать, как для разбоя?  
В наездах пан мой слаб. Не так мы будем драться,  
Возьмем мы усачей, — вот эти пригодятся!  
А надо их искать не в деревнях, — в застынках,  
В Добжине, например, в Центычах да в Ромбанках,  
Всё шляхта старая, кровь рыцарей в их жилах,  
Горешкам преданы. Уж я б уговорил их!  
Три сотни приведу вам шляхтичей усатых,  
Отважных воинов, врагов Соплиц заклятых!  
Я этим сам займусь. А вы уж, ради бога,  
Идите выспитесь, — работы завтра много,  
Вы ж любите поспать — уж петухи пропели...  
А я посторожу, покуда пан в постели,  
И в Добжин поскачу, чтоб быть там до рассвета».

И утомленный Граф послушался совета.  
Но, уходя, взглянул в отверстие бѳйницы —  
Блестело все в огнях имене Соплицы.  
«Иллюминируйте! — вскричал он, — освещайте!  
Но завтра этот свет погаснет, так и знайте!»

Гервазий на пол сел, оперся о перила  
И голову склонил. Луна посеребрила  
Его большую плешь, — на ней он пальцем что-то  
Чертил, должно быть план сраженья... Но дремота  
Клонила старика, и веки тяжелели,  
И он уже со сном боролся еле-еле.  
Тогда отвлекся он от предстоящей битвы  
И начал бормотать вечерние молитвы,  
Но между «Отче наш» и «Верую» Рубака  
Увидел призраков, явившихся из мрака:  
Горешки славные, почтеннейшие паны,  
Те держат палаши, а эти буздыганы \* ,

Тот крутит ус седой и грозный взгляд бросает,  
Тот поднял буздыган, тот саблей потрясает.  
А сзади чья-то тень приблизилась в тумане,  
Кровавое пятно алеет на жупане...  
Гервазий задрожал и быстро стал креститься.  
Он Стольника узнал!.. И снова стал молиться,  
Чтоб эту блазнь прогнать... И помянул он души  
Чистилища... Но вновь напруг глаза и уши,  
Услышал гул копыт, оружия звон и кличи...  
И Рымша впереди — наезд на Кареличи!  
И видит он себя, как с саблей обнаженной  
Летит он на коне, друзьями окруженный,  
Как развеивается по ветру тарататка,  
И на ухо давно сползла конфедератка,  
Но он летит вперед, все по пути сметая,  
Спешит Соплицу сжечь, задвинув дверь сарая,—  
Соплицам не уйти от этой вечной слежки!..  
Так спит старик, слуга последнего Горешки.





## ЗАСТЯНОК

*Первые военные приготовления к наезду.— Поход Протазия.— Робак и пан Судья совещаются о делах общественных.— Дальнейшие действия Протазия и его неудача.— Замечание о конопле.— Шляхетский застянок Добжин.— Описание домашнего быта и личности Матвея Добжинского.*



а небо, крадучись, из сумрака выходит  
Бесцветная заря и бледный день приводит,—  
Чуть брезжит тусклый свет. Над сонною  
долиной,  
Как старая стреха над хатою литвина,  
Повис сырой туман. С востока в мутной  
дымке

Встает бесцветный диск светила-невидимки.  
Казалось, солнышко шло нехотя и, вяло  
Роняя бледный луч, в пути еще дремало.

Позднее, чем всегда, проснулась и долина.  
Поздней пришла в поля понурая скотина  
И зайцам не дала полакомиться вволю,—  
Обычно на заре они уходят с поля,  
Но нынче все еще, обмануты туманом,

Хрустя мокричкою, шныряют по полянам,  
На свежем воздухе играют и резвятся,  
Но вот идут стада,— пора им возвращаться.

И в рощах тишина. Листва вздыхает тяжко.  
Страхнув с себя росу, разбуженная пташка  
Молчит, нахохлившись, прижавшись к ветке плотно,  
И солнца ждет. Вдали над зеленью болотной  
Встал аист, клекоча. Уже, покинув кроны,  
Расселись на скирдах крикливые вороны,  
Затеяв нудный спор — предвестник непогоды.  
И все подавлено унынием природы.

В полях жнецы поют, и песня их тосклива,  
Как этот серый день, как пасмурная нива,  
Не вторит эхо ей, и тонет звук в тумане;  
Хрустят серпы во ржи, и где-то на поляне  
Проходят косари — чуть слышно кос жужжанье,  
Окончив полосу, прилежно косы точат;  
Во мгле не видно их, лишь оселки стрекочут  
Да песни стройные над тишиною бора  
Звучат, как голоса невидимого хора.

Средь поля, на снопе, в раздумье молчаливом  
Уселся эконо́м, но не следит за жнивом —  
Уж он давно на тракт глядит в недоуменье:  
На большаке с утра сегодня оживленье.  
Крестьянские возы летят, как эшпафета,  
Там бричка тарахтит, навстречу ей карета,  
А рядом с большаком, вдоль по тропинке пыльной,  
Несется, как курьер, весь взмыленный посыльный,  
Вдогонку всадников проносится орава,  
И все торопятся, те влево, эти вправо,  
Что б это значило? Пан эконо́м в тревоге  
Решил пойти и встать поближе у дороги,  
Но все-таки не смог узнать, что там творится;  
Кричал, махал рукой, просил остановиться,—  
Напрасно! Ездоки, к его призывам глухи,  
В тумане перед ним проносятся, как духи,  
Лишь слышен сабель ляг да пыль по окоёму...  
И стало радостно и страшно эконо́му.

В те времена в Литве хоть и спокойно было,  
Но вести о войне молва уже носила,  
Шел о Домбровском слух и о Наполеоне...  
Так, может быть, война и он уже в Короне?  
И эконоом тотчас отправился в поместье,  
Чтоб принести Судье тревожное известье.

В усадьбе у Судьи на утро после ссоры  
Все встали хмурые. Умолкли смех и споры.  
Напрасно Войская колоду стасовала,  
Чтоб дамам погадать, напрасно приглашала  
Мужчин играть в марьяж,— надули панны губки,  
Все вяжут по углам, мужчины курят трубки,  
И даже мухи спят.

Гречеха, негодуя

На эту тишину, вздохнув, побрел в людскую,  
На кухню заглянул, где повар благим матом  
Бранился и грозил неловким поварятам,  
Пока не ощутил дремоты и покоя,  
Следя за вертелом, вращающим жаркое.

Судья писал с утра, закрывшись в кабинете,  
А Возный ждал с утра; шел час, второй и третий,  
Соплища дописал, достал печать из шкафа  
И Возного позвал, чтоб жалобу на Графа  
Прочесть ему. И вот Судья прочел прошение,  
Где Графа он винил в ужасном оскорбленье,  
А Ключника его в насилье и побоях  
И требовал за то привлечь к суду обоих,  
Издержки полностью взыскать и, в довершение,  
В реестр судебных дел просил внести прошение.  
Повестку должен был ответчикам сам Возный  
Вручить сегодня же. И, вид приняв серьезный,  
Соплищу слушал он, а сердце ликовало,—  
Он вспомнил, как носил повестки трибунала,  
О том, как был он бит, о щедрых награжденьях...  
Так старый инвалид, проведенный век в сраженьях,  
Остаток дней своих в больнице доживая,  
Заслышав барабан, как лошадь полковая,  
Тотчас же рвется в бой, и, прыгая с постели,

«Бей москаля!» — кричит, и, не найдя шинели,  
Швырнув костыль, бегом бежит на деревяшке.

Протазий был одет. Хотя поверх рубашки  
Надел он не жупан и не кунтуш нарядный,—  
Считаются они одеждою парадной,—  
Широкие штаны, приспособанные в сборы,  
Да куртку до колен, на полах у которой  
Две пуговицы, к ним он полы уголками  
Всегда пристегивал, и шапку взял с ушами,  
Связал сверху,— он их спускал лишь в непогоду,—  
Взял палку толстую и был готов к походу.  
Как прячется шпион, когда к врагу вползает,  
Так возный до суда свой облик изменяет.

Протазий поспешил и сделал это к стати.  
И часа не прошло, как план мероприятий,  
Намеченный Судьей, был им же забракован.  
К Соплице ксендз вбежал, он чем-то был взволнован,  
И, хмурясь, закричал: «Беда нам с пани теткой!  
И надо ж быть такой вертушкой и чечеткой!  
Когда решил твой брат, отправившись в изгнание,  
Сиротку Зосю ей отдать на воспитанье,  
Он в ней ценил ее радушье и породу.  
Но вижу, что она нам только мутит воду:  
Тадеуша в свои заманивает сети,  
Но, видно, что и Граф у пани на приметел  
Пора избавиться от этой балаболки,—  
Ведь уж, того гляди, пойдут в повете толки.  
Ревнуют, дуются... И, право, эти ссоры  
В конце концов сорвут твои переговоры».  
«Переговоры? Нет! Конец переговорам!» —  
Сказал в сердцах Судья.— Мы кончим с этим вздором!»  
«Как! — закричал монах.— В уме ли ваша милость?  
Ты шутишь, может быть? Да что еще случилось?»  
«Не я в том виноват,— нахмурился Соплица,—  
Граф глуп и горд,— он сам не пожелал мириться.  
А Ключник негодяй! Тут суд строжайший нужен!  
Как жаль, что в замок ты не смог прийти на ужин,  
Ты б слышал Графа брань... Наглец не знает рамок!»  
«Зачем же, сударь мой, залез ты в этот замок?»

Так знай,— моей ноги не будет там отныне.  
Опять поссорились! Да по какой причине?  
Что вышло? Говори. Обиделся оплошно?  
На ваши глупости смотреть мне, право, тошно!  
Есть поважней дела, чем с дрязгами возиться...  
Но вас я помирю». «Кого? — вскричал Соплица.—  
Меня? Ну, черта с два! Не жди такого чуда.  
Да знаешь ли, монах, проваливай отсюда!  
Еще смеется он! За то, что с ним чинились!  
Знай, сударь, никогда Соплицы не мирились,—  
Судились по сто лет и, всем на удивленье,  
Выигрывали суд в четвертом поколеньи!  
И так уж я сглупил, по вашему совету  
Созвав третейский суд. Но нынче глупость эту  
Исправлю! Мира ждешь? — и, топая ногами,  
Он крикнул: — Нет! Его не будет между нами!  
За то же, что вчера Граф дерзок был не в меру,  
Пусть извиняется, а если нет — к барьеру!»  
«Но если Яцек вдруг узнает о дуэли?  
Ведь с горя он умрет! Подумай, неужели,  
Еще вы мало зла Горешкам причинили?  
Иль страшный случай тот, быть может, вы забыли?  
Ты знаешь, часть земли горешковской Соплицы  
Присвоили еще во время Тарговицы.  
Твой брат, раскаявшись в ужасном преступленье,  
Поклялся возвратить наследникам владенье.  
Он Зосю потому и взял на воспитанье  
И денег не жалел, чтоб дать образование,  
Тадеуша на ней женить решил, чтоб ссора  
На этом кончилась и мог он без позора  
Наследнице вернуть все то, что было взято».  
«Да мне то что? Ведь я в глаза не видел брата!  
Хоть и слышал о нем, о жизни гайдамацкой,  
Но не было у нас привязанности братской,—  
У иезуитов я учился в эти годы,  
А после при дворе служил у воеводы.  
Именье дали,— взял. И Зосю приютил я,  
Как брат велел, ее лелеял и растил я.  
И надоело ж мне все это бабье дело!  
При чем же Граф, скажи? Кому в башку засело,  
Что он горешковский наследник? Да нисколько!

Десятая вода на киселе — и только!  
Он смеет оскорблять, и должен я мириться?»  
«Да, должен, — ксендз сказал. — А помнишь ли, Соплица,  
Что брат твой в легион хотел отправить сына,  
Потом оставил здесь? А есть на то причина:  
Он нужен родине! Слышал ты, вероятно,  
О чем идет молва? Я сам неоднократно  
Вам вести приносил, их обсуждал с тобою,  
Теперь настал момент открыть и остальное.  
Война подходит к нам! И это знает всякий.  
Война за Польшу, брат! Иль мы уж не поляки?  
Когда меня сюда из Польши направляли,  
Форпосты польских войск на Немане стояли.  
К нам армию ведет Наполеон такую,  
Какой не видел свет, — идут напропалую.  
С ним войско польское, Домбровский наш, князь Юзеф \*,  
Их белые орлы летят в войсках французов!  
Они уже в пути и только ждут сигнала,  
Чтоб Неман перейти. Из праха Польша встала!»

Соплица снял очки, сложил, опять расправил  
И удивленный взгляд на Робака уставил,  
Как будто на момент лишился дара речи,  
Но обнял, наконец, приятеля за плечи.  
«Мой Робак! — крикнул он. — Да правда ли все это?  
Мой Робак! — повторял. — Да правда ли все это?  
Ведь нам давно твердят здесь о Наполеоне...  
Ты помнишь? Слух прошел, что он уже в Короне,  
Пруссаков уж разбил... не нынче-завтра ждите!  
А он вдруг заключил с Россией мир в Тильзите! \*  
Да правда ли? Скажи! Не слухи ли пустые?»  
«Все правда! — крикнул ксендз. — Клянусь святой  
Марией!»

И, руки вверх подняв, сказал Соплица с дрожью:  
«Да будет на тебе благословенье божье!  
И не раскаешься ты в миссии почетной, —  
Отборнейших овец две сотни я охотно  
Пожертвую для нужд монастыря святого...  
Ты карего вчера хвалил мне и гнедого?  
Сейчас же в твой возок запрячь их прикажу я.  
Что хочешь, ксендз, — проси! Ни в чем не откажу я!»

Но только о суде, уж сделай одолжение,  
Со мной не говори,— уж подал я прошение  
И не возьму назад!»

Монах всплеснул руками  
И, на Судью взглянув, сказал, пожав плечами:  
«Когда Наполеон несет Литве свободу  
И польские войска готовятся к походу,  
Ты не желаешь знать об общих интересах  
И думаешь опять о тяжбах да процессах?  
Ты должен действовать!» — «Но как? Ведь не сказал  
ты!»

«Еще в моих глазах о том не прочитал ты? —  
Ответил ксендз.— Ах, брат, когда хоть капля крови  
Соплиц в тебе течет,— ты будешь наготове!  
Подумай — Бонапарт идет с большою силой,  
А мы на москаля должны ударить с тыла,  
Погоня лишь заржет, Медведь взревет на Жмуди \*,  
Поднимется Литва. Давно уж наши люди  
Готовы выступить и только ждут сигнала,—  
Восстанье, как пожар, повсюду б запылало,  
Отбив у москаля оружие и штандарты,  
Мы вышли бы встречать отряды Бонапарта!  
И спросит кесарь наш: «Что это за дружины?»  
А мы ему в ответ: «Повстанцы мы, литвины!  
Мы с армией твоей пришли соединиться!»  
«А кто ваш командир? — «Наш командир Соплица!»  
Небось забудется тогда и Тарговица!  
И будешь славен ты, пока наш Неман старый  
Не перестанет течь, пока стоят Понары.  
На правнуков твоих литовская столица  
Укажет, говоря: «Глядите, вот Соплица,  
Из рода тех Соплиц, что первые восстали!»

Сказал Судья: «Меня и сроду не прельщали  
Ни слава, ни почет, ни подвиги солдата,  
И не повинен я в грехах и ссорах брата,  
Политикой всю жизнь я мало занимался,  
Служил, потом пахал, чинов не домогался,  
Но шляхтич я! Хочу пятно позора смыть я,  
И, как поляк, готов отчизне послужить я  
И даже жизнь отдать... Хоть саблей я владею

Неважно, все ж не раз я пользовался ею,—  
В один из сеймиков я ранил на дуэли  
Двух братьев Бузвиков — насилиу уцелели...  
Но не об этом речь. Так как же ваше мнение?  
Настала ли пора начать нам выступление?  
Стрелки не подведут,— лишь дать сигнал о сборах.  
В приходе у ксендза и пушки есть и порох,  
А острия для пик у Янкеля,— об этом  
Он сам мне говорил, конечно под секретом,  
Он из Крулевца их привез в тюках зашитых,  
Есть сабли, и стрелков довольно знаменитых,  
Коль надо, всякий жизнь за родину положит,  
Всей шляхтой выступим,— а там, как бог поможет!»

«Вот истинный поляк! — и ксендз раскрыл объятья  
И кинулся к Судье.— Обнимемся, как братья!  
В тебе Соплицы крови! Теперь я верю свято,  
Что ты искупишь грех отверженного брата,  
Который столько лет томится на чужбине!  
Я уважал тебя,— но полюбил отныне!  
Мы подготовим все, чтоб предрешить удачу,  
Я место укажу и время сам назначу.  
Есть слух, что будто царь, боясь в войне урона,  
О мире послал просить Наполеона,  
Но Юзеф наш слышал от самого Биньона \*,  
Что кесарь отклонил такое предложенье  
И что на днях начнут французы наступленье.  
А к вам имею я от князя порученье:  
Должны вы доказать теперь Наполеону,  
Что не забыли вы сестру свою — Корону,  
Что о слиянье с ней мечтают все литвины,  
Что Польша стать должна попрежнему единой.  
А с Графом нынче же вам надо помириться.  
Граф честный человек,— ты должен согласиться,—  
Он фантазер, чудак, он не нашел опоры,  
Но революции нужны и фантазеры.  
Скажу по опыту, дурак — и тот годится,  
Но только надо им умно распорядиться.  
Граф знатен и богат, имеет здесь влияние,  
Поднимет весь совет, когда начнем восстанье;  
Все скажут: «Если уж магнат идет сражаться,

Так дело верное и нечего бояться». Бегу сейчас к нему...» — «Иди,— сказал Соплища,— Но только пусть придет и первый извинится, Ведь я уже старик, пусть он не забывает! Пускай уж наш процесс третейский суд решает». Ксендз вышел, и Судья вдогонку крикнул: «С богом! Счастливого пути!»

Монаха за порогом

Давно уж ждал возок, что был готов заране,  
Он сел, стегнул коней и вот исчез в тумане,  
И только капюшон, нависший над сутаной,  
Мелькал по временам, как коршун из тумана.

У цели Возный был, и все в нем трепетало.  
Так хитрая лиса бежит на запах сала,  
Но, зная хорошо охотничьи ловушки,  
С опаской оглядываясь, садится у опушки  
И воздух нюхает, как будто беспрестанно  
Советуется с ним: уж нет ли тут обмана?  
Протазий палку взял и шел вдоль сенокоса,  
По временам на дом поглядывая косо,—  
Прикинулся, что он во ржи увидел стадо,  
И вот, остановясь у изгороди сада,  
Нагнулся, словно дичь заметил под травой,  
Пролез и в конопле укрылся с головою.

В тех зарослях густых не только зверь и птица —  
Мог даже человек при случае укрыться.  
Здесь заяц от собак скрывается порою,  
И не достать его ни с гончей ни с борзою,—  
Борзые не пройдут по роще конопляной,  
А гончих со следа сбивает запах пряный.  
Сюда бежит холоп, спасаясь от побоев,  
Пока пройдут часы, гнев пана успокоив,  
Здесь от рекрутчины спасаются крестьяне.  
Во время всяких смут, наездов и восстаний,  
При обороне ли, при нападенье ль смелом,  
Противники всегда стремятся первым делом  
Занять позицию у этой части сада,  
Где прямо от плетня до самого фасада  
Доходит конопля, как рожища густая,  
И отступление и приступ прикрывая.

Хоть Возный был не трус, но чувствовал смущенье.  
И запах конопли и самый вид растенья  
Напомнили ему о том, что с ним бывало,  
Когда он разносил повестки трибунала.  
Он вспомнил, как он был изруган Дзиндолетом,  
Как пан ему велел, махая пистолетом,  
Залезть под стол и там пролаять по-собачьи,  
Но, прыгнув в коноплю, он спасся от задачи;  
Как Володкович пан, вельможа странных правил,  
Что сеймики громил, а суд и в грош не ставил,  
Повестку разорвал, затопал, как в припадке,  
И Возному велел, чтоб съел ее остатки,—  
Припер его к окну, к груди приставив шпагу.  
И Возный делал вид, что он жует бумагу,  
А сам соображал, как избежать позора,  
И, прыгнув в коноплю, ползком достиг забора.

Хоть шляхта уж давно забыла те замашки,  
И возный не встречал нагайки или шашки.  
И только слушал брань без всяких опасений,—  
Протазий знать не мог об этой перемене:  
Он не носил давно повесток по округе,  
Хоть часто предлагал Судье свои услуги,  
Но до сих пор, щадя лета его, Соплица  
Ни разу не хотел на это согласиться  
И сдался в первый раз.

Встал Возный, замирая:

Повсюду тишина,— и, стебли раздвигая,  
Как опытный пловец, нырнувший с головою,  
Он медленно поплыл, укрытый коноплею.  
Повсюду тишина, здесь все ему знакомо...  
Пустынно во дворе, а вот и окна дома...  
Он входит на крыльцо. В молчании суровом  
Стоит пустынный дом, как будто зачарован.  
Протазий дверь открыл и в дом вошел без спроса.  
Повестку вслух прочел. Но скрипнули колеса,  
Послышались шаги, и двери отворились...  
Да кто бы это? Ксендз! И оба удивились.

Как видно, отбыл Граф со всей своею свитой  
И, верно, второпях оставил дверь открытой,

Ушел вооружась,— вон штуцера на полке,  
А на полу курки, патроны и двустволки,  
Бумага и пыжи,— здесь делали заряды.  
Куда же пан-чудак повел свои отряды?  
Не поохотиться ль собрался на досуге?  
Но для чего ж тогда вооружились слуги?  
Там сабля ржавая, а там темляк от шпаги,—  
Заметно по всему, что для своей ватаги  
Оружье он искал на складах и в подвале.  
И Робак, осмотрев мушкеты и пищаля,  
На фольварк поспешил, чтоб там ему сказали,  
Куда уехал Граф с прислугой иль хотя бы  
Когда приедет он. И две каких-то бабы,  
Оставшиеся там, сказали бернардину,  
Что пан с дружиною направился к Добжину.

Добжинский на Литве прославился застянок  
Отвагой шляхтичей и красотой шляхтянок.  
Когда, решив пойти войной на иноземцев,  
Ян Третий \* созывал шляхетских ополченцев,  
Шесть сотен шляхтичей из одного Добжина  
Явились к королю. Но нынче их община  
Уже невелика. Бывало, с паном в дружбе,  
В наездах, сеймиках иль на военной службе  
Добжинцы славные не ведали заботы,  
А нынче спину гнут и сохнут от работы,  
И только что сермяг крестьянских не надели,  
А ходят в крашеной холстине на неделе,  
А в праздник в кунтушах. Так и одежды женской  
Не спутаете здесь с рубахой деревенской:  
Здесь в ситец рядятся да в тик, а не в холстину,  
В изящных башмачках идут пасти скотину,  
В перчатках лен прядут и полют десятину.

Всем взяли жители Добжинского застянка,  
И польским языком, и ростом, и осанкой.  
Добжинца никогда не спутаешь с литвином,—  
По черным волосам, по их носам орлиным,  
По их высоким лбам определяет всякий,  
Что эти шляхтичи исконные поляки.  
Хоть пять веков назад в Литве они осели,

Но нравы и язык хранят еще доселе;  
По имени святых всех мальчиков крестили,—  
Матвей, Варфоломей, иных имен не чтили.  
Так сын Матвея был всегда Варфоломеем,  
А сын последнего опять-таки Матвеем,  
И также женщины — все Кахны да Марины.  
А чтоб не спутаться средь этой мешанины,  
Давались прозвища и добрые и злые,  
Смотря по качествам. Так шляхтичи иные  
Имели по пяти подобных кличек вместе,  
Как знак презрения или особой чести.  
Бывало, шляхтич знал одно прозвание дома,  
А у соседей он был назван по-другому.  
Вся шляхта местная, добжинцам в подражанье,  
Давала также всем подобные прозванья.  
Теперь в любой семье даются эти клички,  
И позабыл народ, в чем корни сей привычки:  
В Добжине прозвища служили для отличий,  
В других местах вошли, по глупости, в обычай.

Матвей Добжинский был здесь старшим. Говорят, он  
Был прозван «Флюгером», но в девяносто пятом  
В том памятном году, теперь уже далеком \*,  
Он прозвище сменил и зваться стал «Забоком».  
Добжинцы «Кроликом» его прозвали сами,  
А у литвинов он слыл «Матьком над Матьками».

Глава Добжинцев жил хоть бедно, но в почете.  
Усадьба за корчмой стояла, на отлете.  
Хоть видно по всему, что бедность в ней ютилась,—  
Ворота сломаны, ограда развалилась,  
На грядах выросли березки молодые,—  
Но все же фольварк был красивей, чем другие.  
Казался он дворцом, был выстроен отлично,  
Жилая часть была, что редко здесь, кирпичной,  
Потом амбар, гумно, конюшни, хлев,— всё рядом,  
Как шляхта строила,— и огород за садом.  
Повсюду ветхость, гниль. На крыше из расщелин,  
Как жезл, блестели мох, травы проросшей зелень,  
На стрехах, как сады висячие, красиво  
Пестрели мак, шафран, кур-зелье и крапива,

Сплетая с зеленью соцветья ярких пятен,  
Десятки птичьих гнезд и старых голубятен,  
Под крышей — ласточки. В траве и у порога  
Шныряли кролики, и было их так много,  
Что двор кишел, вокруг валялись их объедки.—  
И двор казался вам подобьем тесной клетки.

А был он крепостью! И сколько нападений  
Когда-то испытал,— везде следы сражений,  
В крапиве у ворот огромная воронка,  
В ней ржавое ядро, как голова ребенка,  
Со шведских войн еще оно сюда попало \*  
И много лет потом ворота подпирало.  
У хлева во дворе среди зарослей полыни  
Разбитые кресты валялись и поныне,  
Как знак того, что здесь в безвременной могиле,  
Когда-то, наскоро, усопших схоронили.  
И если рассмотреть все стены и заборы,  
То можно увидеть пунктирные узоры,  
Где в каждом пятнышке засажено по пуле,  
Как будто там шмели приткнулись и заснули.

И в доме каждый крюк и гвоздь, коль он заметен,  
Иссечен или вбит, хранит следы отметин,—  
Испытана на них закалка зыгмунтовки \*,  
Которой шляхтич мог срубить с гвоздей головки,  
Не выщербив клинка. Карнизы над дверями  
Пестро украшены Добжинскими гербами,  
Хоть полки с сыром их частично заслонили  
И гнезда ласточек повсюду облепили.

В парадных комнатах, в чулане и в подвале  
Оружье свалено, как в старом арсенале:  
Под крышей шишаки валяются в забвенье,  
Питомцев марсовых былое украшенья,  
И служат голубям,— позорная услуга!  
В них кормятся птенцы. Огромная кольчуга  
Висит над яслями, забыв годы славы,  
И клевер для коней насыпан в панцырь ржавый.  
Трофейным бунчуком кухарка мелет зерна,  
Ей вертелом служба, рапира стала черной,  
А две других в углу покрыты пылью серой,

Так изгнан грозный Марс хозяйственной Церерой,  
Что, взяв в союзники Помону и Вертумна \*,  
Заполонила всё — и дом, и двор, и гумна.  
Но ныне скипетр свой должны отдать богини, —  
Марс возвращается.

Чуть рассвело в Добжине,  
Гонец стучит в дома, всех будит спозаранок  
И, как на барщину, сзывает весь застянок.  
Толпа растет, гудит, не умолкают речи,  
В корчму народ валит, зажгли в приходе свечи,  
И все спешат узнать, в чем дело? С кем сраженье?  
Уж молодежь коней седлает в нетерпенье,  
Горюют женщины, мужчины в битву рвутся,  
Хоть неизвестно им, за что и с кем дерутся.  
Все поневоле ждут. К плебану часть поселка  
Собралась на совет, но, не добившись толка,  
Судили, спорили и вот ватагой всюю  
Решили слать послов за помощью к Матвею.

Старик конфедерат и на восьмом десятке  
Был полон бодрости и сил имел в достатке.  
Запомнили его враги на поле боя  
Дамасской сабли звон и лезвие кривое, —  
Он «Розгой» звал ее, — шел слух о ней далеко, —  
Он пики и штыки крошил ей, как осоку.  
И хоть когда-то был Матвей конфедератом \*,  
Он к королю примкнул, стал ревностным солдатом,  
Когда же вдруг король приехал в Тарговицу \*,  
Оставив короля, он скрылся за границу.  
Так «Флюгером» его прозвали, не за то ли,  
Что обращался он, как флюгер на костеле,  
Меняя партии? Однако о причине  
Столь частых перемен не знают и доньше, —  
Любил ли так войну, что после поражения  
На стороне врагов опять искал сраженья,  
Имел ли верный нюх и, применяясь к жизни,  
Всегда был там, где мог служить своей отчизне, —  
Кто мог бы угадать? Одно наверно знали:  
Ни слава, ни расчет Матвея не прельщали.  
И с москалями он не только не водился,  
Но, даже издали завидев их, сердился,

И, чтоб не встретить их случайно на дороге,  
Он, как медведь, один сидел в своей берлоге.

В последнюю войну он в Вильне был с Огинским \*,  
Куда они пошли за доблестным Ясинским.  
Известно всей Литве, что чудеса отваги  
Там проявил Матвей,— он прыгнул с вала Праги,  
Спеша на выручку к Потею-великану,  
Что получил в бою семнадцатую рану.  
Все думали в Литве, что смельчаки убиты,  
Они пришли в крови, исколоты, как сито.  
Тогда решил Потей, что преданному другу  
Он должен отплатить за важную услугу:  
В дар фольварк предложил Матвею всенародно  
И золотых тысячу назначил ежегодно.  
Но возразил Матвей: «Пусть не Матвей Потей,  
А пан Потей его почтет за добродеея».  
Так пренебрег Матвей богатыми дарами  
И, возвратясь домой, своими жил трудами.  
Он улы мастерил, чтоб поддержать достаток,  
Частенько посылал на рынок куропаток,  
А также скот лечил.

Хоть множество в Дсбжине  
Имелось знатоков в науках и в латыни,  
Когда-то в городе учившихся законам,  
И хоть старик Матвей был сроду неученым  
И, целый век трудясь, жил в бедности, однако  
В большом почете был не только как рубака,  
Который Розгою в боях себя прославил,  
Но как и человек высоких, мудрых правил.  
Старик во всем знал толк — в хозяйстве и в законах,  
В охоте, лекарстве, во всех делах мудреных  
Мог дать совет. И все, кто был знаком с Матвеем,  
(Хоть спорил ксендз) его считали чародеем:  
Казалось, знал он все и, чувствуя природу,  
Верней календаря предсказывал погоду.  
И оттого всегда,— вицины ли отправить,  
Покос ли начинать, бумагу ли составить,  
Вести ль в суде процесс и по любым предметам  
В Добжине каждый шел к Матвею за советом.  
Влиянья этого старик не добивался,

Напротив, он всегда избавиться старался  
От таких гостей — и побранит иного  
И вытолкнет за дверь, не говоря ни слова,  
Лишь в важных случаях он делал исключенье  
И кратко излагал свои соображенья.  
Все думали, что он одобрит это дело  
И согласится им руководить всецело,—  
Походы он любил и воевал годами  
И, верно, будет рад схватиться с москалями.

Старик был во дворе. Он ладил жердь в заборе  
И тихо напевал: «Когда восходят зори» \*.  
Он рад был, что рассвет погоду обещает:  
Сырой туман пополз не к небу, что бывает  
Перед дождем, а вниз, и ветер стал руками  
Разглаживать его над мокрыми полями,  
И солнца яркий луч, как пряжей, заиграл им,—  
Все стало золотым, серебряным и алым.  
Как в Слуцке мастера ткут пояс золоченый  
И в кросны девушка вдвевает шелк крученный,  
Разглаживает ткань, а сверху ткач в избытке  
Бросает алые и золотые нитки,  
И оживает ткань,— так и с туманом было:  
Ткань ветер разостлал, а солнце расцветило.

Молитву прочитав, он постоял немного,  
Принес ведро с ботвой, поставил у порога  
И, сев на бревнышке, лежащем возле дома,  
Тихонько засвистал. На этот свист знакомый  
Почуяв запахи капусты и редиса,  
Сбежались кролики. Их уши, как нарциссы  
Белели над травой, торча до половины  
И глазки яркие блестели, как рубины,  
В зеленом бархате разросшегося дерна,  
И вот уже встают на лапки и покорно  
Глядят на старика и, чуя угощенье,  
Бегут к его ногам, влезают на колени,  
На плечи прыгают; и, сам, как кролик, белый,  
Он гладит теплый пух рукою загорелой,  
Другой рукой пшено вокруг себя бросая,—  
И с шумом со стрехи слетает птичья стая.

Но прервана была любимая забава.  
Вспорхнули воробьи, и кроликов орава  
Запрыталась в траву, напугана гостями,  
Что шли по фольварку поспешными шагами.  
А это шли послы к Матвею за советом.  
Вот поклонились все и подошли с приветом:  
«Хвала всевышнему!» Матвей прищурил веки,  
Нахмурясь, поглядел и отвечал: «Вовеки!»  
Когда же он узнал о важности посольства,  
То не осталось в нем и тени недовольства,  
Он в дом их пригласил; вошли, на скамьи сели,  
И главный стоя стал рассказывать о деле.

А между тем гостей все больше прибывало,  
Добжинцев и чужих,— уж места не хватало,  
Те были с ружьями, другие с палашами,  
В повозках и пешком, на бричках и верхах,—  
Те, привязав коней, вбегают на ступени,  
Но в дом уж не войти, забиты даже сени,  
Те лезут на столбы, желая слушать вече,  
А те стоят, в окно просунувшись по плечи.





## СОВЕТ

*Спасительные советы Варфоломея, прозванного Пруссаком.—  
Воинственная речь Матвея-Кропителя.— Политическая речь  
пана Бухмана.— Янкель советует заключить мир, который  
расскажет «Перочинный ножик».— Речь Гервазия, свидетель-  
ствующая о большой пользе сеймиковского красноречия.—  
Протест старого Матска.— Внезапное появление военных под-  
креплений прерывает совещание.— Гей, на Соплиц!*

**Р**ечь вел Варфоломей, тот самый, что с судами  
В Крулевец \*заходил и в шутку земляками  
Пруссаком прозван был за то, что ненавидел  
Пруссаков сызмальства. Он много знал и видел,  
По свету странствуя, и многим занимался,  
В политике всегда неплохо разбирался,  
Поспорить был горазд, любил читать газеты  
И в трудный час давал разумные советы.  
Он так закончил речь:

«Мой брат и благодетель,  
И наш отец родной, подумай — бог свидетель, —  
Нельзя пренебрегать в войне таким союзом:  
Как четырем тузам, я верил бы французам!  
Когда бы ты видал их армию и пушки!

Пожалуй, не было со времени Костюшки  
Такого гения. Кто равен Бонапарту?  
Когда его войска переходили Варту,  
В году осьмсот шестом,— я о житье застьянском  
Еще не помышлял, а вел торговлю с Гданьском  
И навещал родных, а их в краю Познаньском  
Имел я множество,— мы с Юзефом Грабовским \*,  
С тем самым, что полком командует литовским,  
А раньше тихо жил близ Обезежа, вместе  
На травлю ездили. И вдруг пришло известье  
К нам о сражении... Хоть мир царил в Короне  
И слухов о войне и о Наполеоне  
Не слышали,— и вдруг посланец от Тодвена! \*  
Депешу прочитав, Грабовский крикнул: «Иена!  
Победа! Бонапарт разбил пруссаков в Иене!  
И, соскочив с коней, мы встали на колени,  
Чтоб славить господа... Мы в город поскакали,  
Решив прикинуться, что новость не слышали.  
Глядим, а там уже бегут ландраты эти,  
Хофраты всякие \*, все эти сучьи дети,  
Белехоньки, дрожат, о чем-то тарабарят,  
Как прусаки, когда их кипятком ошпарят!  
Как будто не слыхав о прусском пораженье,  
Мы спрашиваем их, что слышно, мол, о Иене?  
Они же, в ужасе, что все об этом знают,  
Кричат: «Хергот! Майнгот!» \*, как зайцы удирают,  
Собрали барахло, да и давай бог ноги!  
Вот был переполох! Все тракты и дороги  
Запрудили окрест... На каждом перекрестке  
Кишат, как муравьи. Крик, брань, скрипят повозки,—  
Они «вагонами» зовут их. За возами  
Мужчины, женщины, с постелями, с узлами...  
Тут мы, чтоб помешать немецкой ретираде,  
Составили отряд,— кто спереди, кто сзади,—  
Как начали лупить по шее важных херров,  
Да за косы таскать немецких офицеров!  
А тут Домбровский наш уж объявил в Познани,  
Что император нам велит начать восстанье,  
И так мы за шесть дней расчистили их царство,  
Что немца б не нашел аптекарь на лекарство!  
Вот если бы и нам поднять народ к восстанью,

Устроить москалям в Литве такую баню?  
Ведь если Бонапарт поссорится с Москвою,  
Он спуску им не даст,— ручаюсь головою!  
Не зря прославился он перед целым светом...  
Ну, Кролик, наш отец, что думаешь об этом?»

Умолк. Все молча ждут Матвеева решения,  
А тот, как будто бы не слыша обращенья,  
И глазом не повел и, лишь спустя мгновенье,  
Рукой ударил в бок, как будто бы искал он  
Заветный свой клинок. Его не надевал он  
С раздела родины, решив оставить стычки,  
Но, встретив москаля, хватался по привычке  
За левый бок, за что и прозван был «Забоком»,  
Все ждали слов его в молчании глубоком.  
Напрасно! Он молчал, седые брови хмурил,  
Потер рукою лоб и голову понурил.  
Но вот заговорил, как будто с раздраженьем,  
Произнося слова раздельно, с удареньем:  
«Спокойней, земляки! Откуда слух исходит?  
Далёко ли француз? И кто им верховодит?  
Объявлена ль война? Когда начнут сражаться?  
И по какой должны дороге продвигаться?  
Пехоты много ли? А конницы? Кто знает?»

Взглянул. Но все молчат, никто не отвечает.  
Сказал Пруссак: «Ксендза дожидаться б не мешало,—  
Все вести от него. А нам бы, для начала,  
Разведчиков послать да намекнуть народу,  
Чтоб потихоньку все готовились к походу;  
Весь край вооружить, да так, чтоб москаля-то  
Пронюхать не смогли... Чтоб было шито-крыто!»

«Как! Медлить? Ждать? Брехать? Брехать  
я не любитель!» —

Сказал Матвей второй, по прозвищу Кропитель,—  
Матвей Кропилком звал огромную дубинку,  
С которой он ходил. Откинувшись на спинку  
Скамьи, он оглядел собрание: «Прохлаждаться?  
Да языком молоть? А после разбежаться?  
В Крулевце не был я. Пусть разум крулевецкий

Для немца в самый раз, а для меня шляхетский!  
Кто хочет воевать, тот верит пусть Кропилу,  
А ксендза те зовут, кому пора в могилу!  
Я жить хочу! Крушить! Что ждать? Уж я заждался!  
Ведь мы ж не школяры! На что нам Робак сдался?  
Москву подтачивать, как черви? Слать шпионов?  
Да кланяться царю? Устал я от поклонов!  
Эх, братцы,— рохли вы! Пускай следит борзая,  
Пусть квестарь квестует,— а нам, не рассуждая:  
Кропить! Кропить! Вот так!» — и он занес Кропило.  
«Кропить! Кропить!» — тотчас вся сходка подхватила.

Кричал Варфоломей, прельщенный близкой битвой  
(За саблю острую его прозвали Бритвой),  
Матвей, которого в застынке Лейкой звали  
За то, что из ружья Матвея вылетали  
Струей десятки пуль: «Виват Матвей-Кропило!»  
Хотел им возразить Пруссак,— не тут-то было!  
Кричат: «Молчи ты, трус! Известно хорошо нам!  
Накройся, коли трус, монашьим капюшоном!»

Вдруг поднял голову старик Матвей, который  
Молчал уже давно, и сразу стихли споры:  
«Оставьте Робака, не цель он для насмешек,—  
Покрепче вашего сей червь разгрыз орешек<sup>1</sup>.  
Я только поглядел — увидел, что за птица,  
А он глаза отвел, я понял, что боится,  
Чтоб исповедовать его не стал я строго;  
Но дело не мое, чего болтать тут много!  
Сюда он не придет... Не ждите бернардина,  
Коль слухи от него... Кто знает, в чем причина,  
Что он их распустил?.. Не зря на нем личина.  
А если поточней не знаете событий,  
Так отвечайте мне: чего же вы хотите?»

«Войны! — кричат. — Войны!» — «Да с кем же?» —  
«С москалями!»  
Вперед! На москаля! А ты командуй нами!»

<sup>1</sup> Р о б а к — по-польски: червь.

Истошным голосом среди шумного собрания  
Кричал Пруссак, пока не вымокнул вниманья  
Мольбой, поклонами и голосом крикающим.

Он стукнул в грудь себя, охваченный порывом!  
«Кропите! Хоть у меня Кропила нет, дитинка,  
Но трем пруссакам раз устроил я крестини  
Веслом, когда они меня топили свиньями!»  
«И молодец! Кропи! Кропи его, смурьона!» —  
Кропитель закричал. «Но надо знать сначала,  
С кем будем воевать? На-за чего багальни?» —  
Кричал Пруссак. — И как народ пойдет за нами,  
Коли куда идти еще не знаем сами?  
Нет, братцы, тут нужны согласие и порядок,  
Чтоб не было потом ни ссор, ни неполадок,  
Конфедерацию бы нам! Вот это сила! \*  
В Великопольше вет когда-то так же было:  
Лишь про немецкую узнали ретираду,  
Так что мы сделали? Собрали тайно раду,  
Всей шляхтой подняли крестьянскую громаду, —  
Домбровский знал уже, что по его приказу  
Мы тотчас — на коней! И выступаем сразу!»

«Позвольте мне!» — сказал седетый по-немецки  
Опрятный господин, что жил у князя в Клецке\*,  
Пан Бухман, слышавший здесь поляком от рожденья,  
Хотя никто не знал его происхожденья.  
Из шляхты ль вышел он — здесь было неизвестно;  
Но всеми был он чтим, служил у пана честно,  
Был дельным, сведущим и добрым патриотом,  
Способен был ко всем хозяйственным работам;  
Любитель новшеств, он воспринимал их мигом,  
Хозяйством управлял по иностранным книгам  
И то, что был учен, доказывал наглядно, —  
Знал толк в политике, писал легко и складно  
И говорить умел. Все стихло, и, с поклоном  
К собранью обратясь, сказал он звучным тоном;

«Здесь все ораторы, чье рвение похвально,  
Предмет наш разобрать успели досконально,  
Благодаря чему дискуссия ведется

На должной высоте. И мне лишь остается  
Собрать их мнения, чтоб в прениях напрасных  
Не тратить времени, связав всех несогласных.  
Дискуссия у нас имеет два раздела,  
В таком порядке мы и разберем суть дела,—  
Пункт первый: почему и как вести восстание?  
В чем мысль его? Сей пункт примите во вниманье.  
Пункт следующий — власть. Мне нечего добавить,  
Хотел бы только я порядок переставить,—  
Сперва обсудим власть: чего бы вы хотели?  
И станет ясен дух восстания и цели.  
Когда в историю заглянешь беспристрастно,  
То многое в ее законах станет ясно:  
Вот племя дикарей, род дикий, распыленный,  
Объединяется для общей обороны,  
Решает сообща, как проводить походы,  
И каждый жертвует частицею свободы  
Для блага общего: вот первый пункт устава,  
В котором, как в ручье, берет начало право.  
Так создается власть, правители, вельможи,—  
Контрактами, отнюдь не милостию божьей.  
Деленье власти есть лишь следствие контракта,  
Разумный результат общественного акта...»

«Он о контрактах нам! О киевских аль минских? \* —  
Сказал Забок.— Вот член республики бабинских!  
Бог дал царя иль черт, о том не стану спорить,  
Ты, Бухман, перестань пустое тараторить,  
Скажи, как москаля покрепче пришпандорить!»

Сказал Кропитель: «Эх, вот было б мне по силам,  
Залез бы я на трон, да хрясь царя Кропилом!  
Уж не вернулся б к нам по киевскому тракту,  
Ни по какому там научному контракту,  
Не воскресила б вся монашеская каста,  
Ни бог, ни сатана! Кропить, кропить и баста!  
Пан Бухман, вашу речь сказали вы умело.  
Но что слова? — шлям-блям... Кропить, вот это дело!»

«Так! — Бритва пропищал.— Я дело разумею! —  
Он от Кропителя перебежал к Матвею,

Как вдоль станка челнок.— Командуйте дружиной,  
Ты с Розгою, Забок, а ты, Матвей, с дубиной!  
Покажем москалю! Уж то-то будет битва!  
Скомандует Забок,— не подкачает Бритва!»

«Команда хороша, да только на параде,—  
Кропитель перебил,— а в ковенской бригаде  
Командовали так: «Бей часто, двести на сто,  
Бей, не робей, стреляй, руби-кроши и баста!»

«Так! — Бритва подхватил.— Вот это, братцы, сила!  
Зачем писать контракт да изводить чернила?  
Конфедерация? Все это клин да палка!  
Маршалок есть у нас! А Розга — жезл маршалка!» \*  
Кропитель закричал: «Ура, наш предводитель!»  
И закричали все: «Ура! Виват Кропитель!»

Но тут со всех сторон внезапный шум поднялся,—  
На партии совет, как видно, разделялся.  
«Согласья не терплю! Вот, к сведению совета,  
Мой метод!» — закричал пан Бухман. «Вето! Вето!» \*  
Кричали сзади... Вдруг раздался голос грубый  
Стоявшего в дверях богатыря Сколубы:

«Добжинцы! Как же так? Без нас вы всё решили?  
Иль мы не шляхтичи, что права нас лишили?  
Когда пронесся клич по нашему застянку,—  
А звал Рубака нас, ну, знаете? — Мопанку,—  
Сказали нам, что здесь нужны мы для совета,  
Что дело важное и что всего повета  
Касается оно, не одного Добжина.  
И Рубак намекал, хотя у бернардина  
Ни беса не поймешь... Но все же мы явились,  
А тут уже без нас добжинцы сговорились!  
Тут наших шляхтичей поболее, чем двести,  
Поэтому решать должны мы с вами вместе,  
Маршалка выберем и всё обсудим здраво,  
Проголосуем все,— ведь это наше право!  
Да будет равенство!»

Мицкевичи, все трое,

И Тераевичи, которых было двое,  
Воскликнули: «Виват! Сколуба правду рубит!»  
А Бухман все свое: «Согласье все погубит!»  
Кропитель закричал: «Без вас решим мы сами!  
Да здравствует Забок! Наш Матек над Матьками!»  
Добжинцы гаркнули: «Командуй нашим краем!»  
А прочие кричат: «А мы не позволим!»  
Да будет равенство!» И разгорелись страсти,  
Мгновенно весь совет разбился на две части:  
Одни кричат: «Забок!» Орут другие: «Вето!»

Один старик Матвей, прикрыв глаза от света,  
Сидел в молчании, привыкнув к шумным сходкам.  
Кропитель, опершись о палку подбородком,  
В азарте головой вертел,— она моталась,  
Как тыква на шесте,— и ничего, казалось,  
Не слышал, лишь кричал: «Послушайте же нас-то!  
Мы дело говорим: кропить, кропить и баста!»  
А Бритва между тем, пища, как канарейка,  
Вертелась возле них. И грузным шагом Лейка  
То к шляхте подходил, то шел к Добжинским, словно  
Хотел, чтоб ссора их решилась полюбовно.  
Тот «Бриты!» кричал, а тот: «Залить их! Не скупиться!»  
Матвей молчал, но он уж начинал сердиться.

Крик нарастал. Как вдруг над шумною толпою  
Блеснул из-за голов клинок в сажень длиною,  
Он словно луч упал через окно чулана,  
Был обоюдоостр и не имел изъяна,—  
Тевтонский старый меч из нюрнбергской стали.  
И, увидав его, все тотчас замолчали...  
Но чей он, этот меч, такой широкий, длинный?..  
И закричали все: «Да это Перочинный!»  
«Виват наш славный герб, стяжавший честь застанку!  
Виват Рубака наш! Наш Козерог-Мопанку!»

Гервазий сквозь толпу прошел до середины,  
Почтительно склонил свой Ножик перочинный,  
Приветствовал совет и, поклонясь Матвею,

Сказал: «Склоняю Нож пред Розгою твоею!  
Добжинцы славные, товарищи и братья!  
Открою вам, зачем вас здесь решил собрать я.  
Уже не первый день в застянках бродят слухи,  
Не нынче-завтра жди всеобщей заварухи,  
Вам Робак намекал,— не стану говорить я,  
Но в мире предстоят великие события».  
«Мы знаем!» — крикнули. И Ключник начал снова:  
«Ведь умной голове довольно и полслова,  
Не так ли?» — «Правильно!» И продолжал оратор:  
«Когда ведет войска французский император,  
А русский царь идет навстречу, это значит,  
Что близится война. Поход великий начат:  
Король на короля, а их князья с князьями,  
Начнут друг друга бить. А что же будет с нами?  
Всяк душит своего — большой тузит большого,  
А малый малого. Закона нет другого.  
Порубимся! Вернем Отечеству свободу!»  
«Вот это говорит! Как будто смотрит в воду!»  
Кропитель закричал: «Врагов кропил я сроду!»  
И Бритва вставил: «Мне пусть скажут лишь:  
«Побрей-ка!»  
«Договориться б вам,— просил охрипший Лейка,—  
Кропитель и Матвей, к кому нам под начало?»  
Пан Бухман перебил: «В согласье толку мало,—  
Дискуссия всегда в решеньях помогала!  
Но тише! Слушайте! Пан Ключник все поправит:  
Вы видите — вопрос по-новому он ставит!»

«Да,— Ключник отвечал,— по-старому мы судим:  
Великие дела решать великим людям!  
На это кесарь есть, сенат есть у поляков,  
Об этом судят пусть Варшава или Краков,  
Такие акты нам составить не по силам,—  
Не мелом на трубе их пишут, а чернилом  
Да на пергаменте, а в помощь заправилам  
Есть в Польше писари, скрипеть пером гусиным!  
Нам бог велел писать вот этим Перочинным!»  
Кропитель подхватил: «Да поливать Кропилом!»  
И Шило закричал: «Колоть вот этим Шилом!» —  
И шпагу сбнажил.— Уж то-то колет славно!»

Но Ключник продолжал: «Вы слышали недавно,  
Как Робак говорил насчет того, что скоро  
Понадобится нам очистить дом от сора?  
Вы поняли? — взглянул на шляхтичей Рубака,—  
Кто этот самый «сор»? Кто лучшего поляка  
Предательски убил? И кто отнять стремится  
Добро наследника? Сказать ли, что за птица?»  
Но Лейка перебил: «Мы знаем кто! Соплицу!»  
И Бритва пропищал: «Известный притеснитель!»  
«Так окропить его!» — нахмурился Кропитель.  
«Изменник? — Бухман встал,— тогда казнить лисицу!»  
И закричали все: «Так гей же на Соплицу!»

Но тут вскочил Пруссак: «Да что вы, ошалели?  
Пан Ключник... Козерог... Да ты в своем уме ли?  
Ну что ты говоришь? Подумай хоть немного!  
Соплицу окропить! Да вы побойтесь бога!  
Выходит, если был у шляхтича когда-то  
Безумный брат, так что ж? Карать его за брата?  
Тут мутит воду Граф! Вот главный вертопрах-то!  
А от Соплицы зла не видывала шляхта!  
Ей-богу, это так! Ведь вы же тяжбы сами  
С ним затеваете, он ищет мира с вами,  
Издержки платит, штраф, а мог бы быть построже...  
А если с Графом он судиться стал, так что же?  
Пусть паны ссорятся,— соваться нам негоже!  
Он — притеснитель? Он, кто запретил крестьянам,  
Чтоб в землю кланялись пред ним, законным паном,  
Сказав, что это грех? Кого же он обидел?  
С ним мужики за стол садятся,— сам я видел!  
Не раз налог за них платил, не то что в Клецке,  
Хоть управляет там пан Бухман по-немецки.  
Судья — предатель! С ним учились мы... Да что там?  
Хороший малый был и вырос патриотом!  
Обычаи отцов хранит он год за годом,  
Наперекор царю и всем московским модам.  
Когда из Пруссии в Литву я возвращаюсь,  
Иду я в дом к Судье и там уж очищаюсь  
От духа прусского,— я Польшей упиваюсь!  
Добжинцы, я ваш брат, одну мы делим долю,  
Но обижать Судью я, право, не позволю!

Эх, шляхтичи, не так в Великопольше бывал  
Какой там мир царил! А дружба — это сила,  
К примеру, вздор такой, — кого бы стыл *он* тешить?»  
Но Ключник закричал: «Не вздор мерзавцев вешать!»

Вдруг Янкель-цимбаллист, протиснувшись *сквозь лавку*,  
Вниманья попросил, тотчас же влез на лавку  
И поднял бороду курчавую, длиною  
Почти до пояса, потом одной рукою  
Снял свой колпак, что был знаком всему поселку,  
Другую подтянул сползавшую ермолку  
И, не спеша, колпак пред каждым снял с поклоном:

«Панове! Я еврей и вырос неученым,  
Судье ни сват, ни брат. Его я уважаю  
Как пана доброго, как всех, кого считаю  
Хорошими людьми, соседей добродеев,  
Матвеев Добжинских и всех Варфоломеев.  
Я так скажу: коль вы худое причините  
Судье, то и себе хорошего не ждите.  
Убьете — а тюрьма? Ведь вас тотчас в колодки!  
Солдат в поместье — тьма. И разговор короткий.  
Они же у Судьи в деревне квартируют,  
Ассессор свистнет лишь, — тотчас примаршируют.  
И что ж получится? Вы ждете войск французских,  
Но далеко француз. Намаетесь в кутузках!  
Политик я плохой, но, будучи в Белице,  
Евреев видел я, бывавших на границе:  
Французы до весны не двинутся с Лососны \*, —  
А только раз в году у нас бывают вёсны.  
Придется подождать, чтоб не было загвоздки.  
Усадьба не ларек, что разобрал на доски  
Да на возу увез! Судья не арендатор,  
Не убежит от вас... — тут помолчал оратор  
И продолжал: — Теперь спокойно расходитесь.  
Окончен наш совет. Да не проговоритесь  
О том, что было здесь. К чему болтать пустое?  
А кто окажет честь — пожалуйста за мною,  
Мне сына родила моя супруга Сара,  
Для каждого в корчме найдется нынче чара

И музыка, какой не слыхивали сроду:  
Гудок, кларнет, басы... Поставлю вволю меду,—  
Пан Матек любит мед и новые мазурки,  
А их уже зер фэйн поют мои дочурки...»

Советы Янкеля собранье убедили.  
Поднялся крик и смех, о диспуте забыли,  
Все предвкушали пир в корчме. Как вдруг Рубака  
На Янкеля с ножом набросился... Однако  
Еврей шмыгнул в толпу... А Ключник надрывался:  
«Поддайте-ка жиду! Чтоб больше не совался!  
Я понял, пан Пруссак, не зря ты протестуешь,—  
Ведь ты на двух судах соплицинских торгуешь!  
Но вспомни, твой отец когда-то гнал десятки  
Горешковских вицин и начал жить в достатке,  
Да так, что у семьи есть средства и поныне...  
Да что,— Горешке все обязаны в Добжине!  
Здесь помнят старики и знает каждый житель,  
Что Стольник был для вас отец и покровитель!  
Кто комиссаром был в его поместьях пинских?  
А экономом кто? Из ваших же Добжинских!  
Лишь вам он доверял. Весь дом его был полон  
Добжинской шляхтою. Все тяжбы ваши вел он,  
Горой за вас стоял, бывало, в трибуналах,  
И милостей для вас добился он не малых.  
Десятками детей пристраивал учиться  
И сам за них платил,— он не любил скупиться  
И сроду не был глух ни к радостям, ни к бедам,  
А все, брат, потому, что вашим был соседом!  
А нынче ваш сосед Соплица пан. Не так ли?  
А много ль вам добра он сделал?»

«Да ни капли! —

Ответил Лейка.— Он, хоть так себе шляхтишка,  
А как заносится! Как будто впрямь он шишка!  
Я помню, пригласил его на свадьбу дочки,  
Поил — не хочет пить, сказал: «Вы пьете бочки,  
А я так не привык». Подумаешь, вельможа!  
Да что ж он, сахарный? Не лучше нашей рожал  
Не пьет! Так мы ему насильно влили водку.  
Постойте-ка, ему из Лейки брызну в глотку!»

Кропитель крикнул: «Плут! Мой сын был славный  
малый,

А нынче поглупел и мечется, как шалый,—  
Теперь уже Мешком зовут его, дурного,—  
А все из-за Судьи! Стал бегать в Соплицово.  
Я говорю ему: «Ты, малый, бегать брось-ка,  
Поймаю — выдеру». Гляжу,— опять он с Зоськой!  
Уж прямо протоптал сквозь конопляник тропку...  
Тут я его поймал и задал парню трепку.  
А он ревет, дурак, как маленький... Ей-богу!  
Я говорю ему. «Забудь туда дорогу!»  
А он мне: «Не могу! Хоть выгони с порогу!»  
Без Зоси свет не мил...» Стал сохнуть мой детина.  
Тут я к Судье: «Отдай, мол, панночку за сына».  
А он: « Мала еще. Пока ей рано замуж».  
Ведь вот как мне наврал! Мала еще! А сам уж  
Сосватал, говорят... Так я неприглашенным  
Явлюсь к ним окропить постель молодоженам!»

«И этот негодяй беспечно процветает,—  
Гервазий закричал,— соседей разоряет!  
Чтоб память Стольника никто не чтит отныне...  
Где ж благодарность есть, коль нет ее в Добжинце?  
Хотите вы с царем российским порубиться,  
Так отчего же вас пугает вор Соплица?  
Тюрьмы боитесь вы? Но я ж не для наживы  
Зову... Помилуй бог! Мы будем справедливы!  
Граф выиграл процесс, решений есть немало,—  
Мы в жизнь их проведем. Так в старину бывало.  
Что трибунал решит, то шляхта выполняла.  
Добжинцы шли всегда за волей трибунала!  
Хоть мыский взять наезд, ведь знаете вы сами:  
Добжинцы, словно львы, рубились с москалями,  
Московский генерал привел их, Войнилович,  
И друг его, подлец, пан Волк из Логомович.  
Мы Волка взяли в плен, не долго рассуждали,  
Решили вздернуть в ночь его на сеновале,—  
Он был слугой царя и палачом крестьянам.  
Но, сдуру, сжалились крестьяне над тираном.  
(Я все ж когда-нибудь пырну его, паскуду!)  
Наезды прочие я вспоминать не буду,

Где так же честно мы отстаивали право  
И где всегда ждала победа нас и слава!  
Зачем их вспоминать? Как видно, толку мало;  
Что получает Граф решения трибунала.  
Никто из вас помочь не хочет сиротине,  
Наследнику того, кто всех кормил в Добжине!  
У Графа нет друзей, забылся долг старинный, —  
Один слуга его да Ножик перочинный!

Кропитель рявкнул: «Нет! Еще один — Кропило!  
Где ты, брат, там и я, пока в руках есть сила.  
Вдвоем всегда придем друг другу на подмогу —  
Кропилом я махнул, а ты Ножом... Ей-богу!  
Шах-мах! Плюск-пляск! А вы пока поговорите!»

Тут Бритва закричал: «Меня с собой возьмите!  
Когда намылите и скажете: «Побрей-ка!»,  
Уж я побрею всех!» — «Я с вами! — крикнул Лейка. —  
Коль выбирать они маршалка не хотели,  
Так что мне их шары? Мои, брат, потяжеле... —  
И он достал горсть пуль, подкинув на ладони. —  
И все пойдут Судье, пусть помнит о законе!»  
Сколуба закричал: «Не будем в дураках-то!  
Мы с вами!» — «С вами! Все! — заволновалась  
шляхта. —

Да славься Стольник пан! Почтим его гробницу!  
Виват Рубака наш! Так гей же на Соплицу!»

Так шляхтичей увлек Гервазий за собою,  
Всяк счета старые свести хотел с Судьею:  
Не мало поводов в соседстве есть для спора, —  
То за траву штраф, то за порубку бора,  
Одних влекла вражда, другие из злорадства  
Спешили отомстить Соплице за богатство,  
Толпясь вокруг Ключника, вздымали в нетерпенье  
Оружие...

Матвей, сидевший без движенья,  
Поднялся со скамьи и, выпрямляя спину,  
Поморщился, вздохнул и вышел на средину.  
И, как бы нехотя, взглянув на них с презреньем,  
Он стал ронять слова, раздельно, с удареньем:  
«Эх вы, глупцы, глупцы! Глупцы и пустомели!

Узнаете теперь в чужом пиру похмелье!  
Пока о благе вы отчизны рассуждали,  
Как все вы ссорились! И как вы горло драли!  
Вы даже не могли, средь брани и нападок,  
Ни выбрать главаря, ни учредить порядок.  
Но стоит вам узнать о личном оскорбленье,  
Как тотчас вы прийти готовы к соглашению!  
Так убирайтесь вон! И запрещаю впредь вам  
Совать сюда свой нос! Ко всем чертям и ведьмам!  
Ступайте к дьяволам!..»

Поражены, как громом,  
Замолкли все, Но крик послышался за домом:  
«Наш Граф! Виват!» Во двор, толпою окруженный,  
На статном скакуне, въезжал вооруженный,  
С отрядом, Граф. Его встречали, как героя.  
На нем был темный плащ авзонского покроя,  
Большой, без рукавов, застегнут пряжкой ловко,  
Спускающийся с плеч изящной драпировкой,  
И шляпа круглая с пером. Горя отвагой,  
Восторженной толпе салютовал он шпагой.

«Да здравствует наш Граф! Мы с ним в огонь и в воду!»  
Граф к дому подскакал, за ним толпа народу,  
Все в окна глянуди и ринулись к проходу,—  
Их Ключник увлекал. Матвей стоял суровый  
И, выгнав всех гостей, закрылся на засовы,  
Но выглянул в окно и крикнул: «Шалопай!»

И, Графского коня толпою окружая,  
Все двинулись в корчму. Гервазий, как бывало,  
Дал приказание, чтоб бочки из подвала  
Ташить на поясах. Их притащили живо;  
В одной был мед, в другой вино, а в третьей пиво.  
Затычки вынуты — забили три фонтана  
Серебряной струей, янтарной и багряной,  
Горя, как радуга, и каждый был так ярок,  
Что падал, как огонь, на дно гремящих чарок.  
И шляхта пьет, шумит и, хмелем подогрета,  
Кричит: «Долой Соплиц! А Графу многи лета!»

Сам Янкель, под шумок, верхом куда-то скрылся.  
Пруссак хотел бежать, но, только изловчился,

Его заметили и вслед помчались грозно.  
Мицкевич порешил уйти, пока не поздно,  
Но был он уличен. И кто-то из ватаги  
«Предатель! — закричал. — Эй, шляхта, все за шпаги!»  
И, тяжело раненный, он был прижат к забору,  
Но подоспели Зан с Чечотами и ссору  
С трудом уладили. Лишь двое пострадали:  
Кого-то ранили, кому-то в ухо дали.  
Все сели на коней.

Уж Граф перед отрядом  
Приказы отдает, любитесь парадом.  
Дан знак, и всадники огромной вереницей  
Летят вдоль улицы, горлана: «Смерть Соплице!»





## НАЕЗД

*Астрономия Войскового.—Замечания Подкомория о кометах.—Таинственная сцена в комнате Судьи.—Тадеуш, стараясь выпутаться, попадает в большие затруднения.—Новая Дидона\*.—Наезд.—Последний протест Возного.—Граф захватывает Соплицово.—Штурм и резня.—Гервазий-виночерпий.—Пиршество.*



бывает пред грозой мгновенье роковое,  
Когда затихнет все, и туча над землею  
Застынет, грозная, и вдруг глазами молний  
Сверкнет из-под бровей, и мир окинет дольний,  
И место выберет, куда ударить громом.

Миг тишины такой навис над панским домом.

На всем лежала тень грядущих потрясений,  
И души унеслись в волшебный край видений.

Отужинав, Судья провел гостей вдоль сада,  
И, чтобы подышать вечернею прохладой,  
Все на завалинках, застеленных травюю,  
Расселись, скованы всеобщей тишиною.  
В молчанье на небо глядели все. Казалось,

Что небо все быстрее на землю опускалось,  
Вот оба встретились и под ночным покровом,  
Как два любовника, глазами, полусловом  
И шепотом ведут свой разговор влюбленный,  
И слышится то смех, то вздох, то шелест сонный,  
Звучащие вдали, как музыка ночная.

Концерт тот начал сыч, на чердаке стеная,  
Под крышей нетопырь повис, как черный кокон,  
Но вот его крыло шуршит о стекла окон,  
И вновь повис, схватясь за ставню или планку,  
Рой бабочек ночных летит, как на приманку,  
На платья белые; трепещут, как поденки,  
Льнут к паннам, к Зосе льнут, приняв ее глазенки  
За свечки. Мошкара слетается лесная,  
И вот уже гудит гармоника ночная \*.  
И Зося узнает ее аккорд гнусавый  
И комаров дискант фальшивый и писклявый.

Так начали концерт ночные музыканты.  
Настроились на лад степные оркестранты,  
Вот крикнул коростель, и выпь с болота басом  
Ему ответила. Пора вступать бекасам;  
Кузнечик затрубил, и, звук услышав трубный,  
Бекасы крикнули, забили, словно в бубны.

Звучит ночной оркестр. И вот в финале хора  
Вступили два пруда, как дивные озера,  
Что средь кавказских гор весь день лежат в молчанье,  
А по ночам поют, как говорит преданье.  
Пруд с ясной глубиной, где берег был пологий,  
Издав глубокий тон, торжественный и строгий.  
Ему ответил пруд, покрытый желтой тинной;  
Как жалоба тот звук пронесся над долиной,—  
На том и на другом лягушек пели орды:  
Два хора, слитые в согласные аккорды,  
Один фортиссимо, другой, как отзвук дальний,  
Один, как громкий стон, другой, как вздох печальный.  
Так два ночных пруда, над тишиною дола,  
Друг-другу вторили, как струны арф Зола \*.

Сгущался мрак ночной. Лишь в лозняке, у речки,  
Во тьме глаза волков блестели, словно свечки,  
Да там, где край земли сливался с небесами,  
Пастушечьи костры горели над полями.  
И месяц, взяв фонарь, поплыл вдоль пашен сонных  
И, землю озарив, сорвал покров с влюбленных:  
Земля и небо спят, прижавшись друг к другу,  
И небо, обхватив счастливую супругу,  
Вкушает мирный сон, усталой головою  
Припав к ее груди, блестящей под луною.

Уж возле месяца зажглась звезда, другая,  
Десятки, тысячи горят, во тьме мигая,  
Вон Кастор и Поллукс над бездной засияли,  
Их встарь Полель и Лель славяне называли \*,  
Но с некоторых пор народною молвою  
Они окрещены Короной и Литвою.

От круглых чаш Весов расходится сиянье,  
На них, как говорят, в день первый мирозданья,  
Создатель, перед тем как укрепить в орбиты,  
Планеты взвешивал. С тех пор Весы прибиты  
Самим создателем к сияющему своду,  
Чтоб образцом весов служить людскому роду.

На Севере горит кружочек звездный — Сито \*.  
Когда-то сквозь него создатель сеял жито,  
Адаму-праотцу с небес его бросая,  
Когда он за грехи изгнал его из рая.

А там Давида воз готов к упряжке парной,  
Чье дышло ко звезде направлено Полярной,—  
Хоть старики в Литве не могут согласиться,  
Что ехал в нем Давид. По слухам, колесница  
Служила ангелам и даже Люциферу,  
Когда, посмев восстать, проник он в божью сферу,  
Но Михаил, храня небесные чертоги,  
Безумца осадил и Воз свернул с дороги.  
С тех пор он между звезд валяется забытый,—  
Не приказал господь чинить тот воз разбитый.

И есть еще одно поверье у литвинов  
(Они об этом встарь слышали от раввинов),

Что всем известное созвездие Дракона,  
Ползущее меж звезд по черни небосклона,  
Есть рыба, а не змей, как кажется профанам,  
И эту рыбу мир зовет Левиафаном.  
Когда прошел потоп, в морях иссякли воды,  
Левиафан издох. Но как игру природы  
Скелет чудовища на небо поместили,  
Чтоб сей диковины народы не забыли.  
Вот так в костелах, встарь, у ксендзов расторопных  
Висели костяки животных допотопных.

Гречеха звезды знал по книгам и рассказам,  
О них рассказывал и, хоть простым их глазом  
Не мог уж различить и даже в окуляры  
Уже не видел их, но, как любитель старый,  
Он знал по памяти не только их названья,  
Но также место их, их путь и очертанья.

Но нынче вечером Гречехе не внимали:  
Ни Сито, ни Дракон гостей не занимали.  
Все взоры привлекла огромная комета,—  
Недавно на небе явилась гостья эта,  
Ее ярчайший свет поспорить мог с алмазом;  
Косясь на звездный Воз своим кровавым глазом,  
Как будто метила на место Люцифера,  
Она неслась вперед. Казалось, неба сфера  
Вся подчинилась вдруг стремительной комете,  
Мирьяды звезд в косе запутались, как в сети,  
Она же, ввысь влача их поезд лучезарный,  
На Север устремясь, неслась к звезде Полярной.

В предчувствии беды вздыхая бояливо,  
Смотрел народ Литвы на это божье диво,  
Читая знак худой в явлении кометы.  
Грозил бедствием и прочие приметы:  
Все чаще вёроны в пустых полях кричали,  
Оттачивая клюв, как будто трупов ждали.  
Все чаще по ночам собаки землю рыли  
И, словно чуя смерть, до света громко выли,  
Видали сторожа, за лесом наблюдая,

Как мимо кладбища шла Дева Моровая \*,  
Как голова ее виднелась над дубравой  
И как в руке она держала плат кровавый.

Об этом толковал прижавшийся к воротам  
Приказчик, что пришел к хозяину с отчетом,  
И писарь во дворе шептался с экономом.

Но Подкоморий пан, сидевший перед домом,  
Беседе юношей внимающий в молчанье,  
Взял табакерку, — знак, что просит он вниманья  
(Блеснула, как огонь, алмазная оправа,  
Украшена внутри портретом Станислава).  
«Тадеуш, — молвил он, — рассказ твой о планетах  
Лишь отзвук школьных слов. Успел ты в сих предметах,  
Но, знаешь ли, — куда занятнее о чуде  
Толкуют старики, неграмотные люди.  
Я астрономию штудировал когда-то,  
Жил в Вильне, где тогда супругою магната  
Был отдан весь доход с поместья и холопов  
Лишь на покупку книг да разных телескопов.  
Был астрономом ксендз Почобут, муж маститый,  
Ученый человек и ректор знаменитый \*,  
Но вскоре пренебрег он светской канителью  
И, бросив телескоп, опять вернулся в келью.  
Был также я знаком и с ректором Снядецким \*,  
Он человеком был умнейшим, хоть и светским.  
И все же астроном толкует про комету,  
Как здравый мещанин про встречную карету:  
Он знает про нее — заедет ли в столицу,  
Иль прямо покатит с заставы за границу,  
А кто в ней был и в чем король его наставил,  
И с миром ли посла, или с войной отправил, —  
Ему и дела нет. Я помню, ехал в Яссы  
Браницкий \*, а за ним народу — прямо массы;  
Как звезды мелкие за нынешней кометой,  
Так хвост тарговичан тянулся за каретой.  
И что ж? Простой народ, увидев эту сцену,  
Тотчас же угадал, что хвост сулит измену.  
Комету, говорят, народ прозвал метлою:  
Она, мол, миллион утащит за собою».

Гречеха, поклонясь, сказал на это: «Право,  
Ясновельможный пан, народ толкует здраво.  
Еще ребенком я, мой пан, слышал об этом.  
Я помню случай тот: у нас, однажды летом,  
Гостил Сапега пан \*, теперь уже покойный,  
Поручик, кирасир и человек достойный,  
Тот, что маршалком стал и канцлером литовским,  
И жил сто десять лет. Он вместе с Яблоновским \*,  
При Яне Третьем, был под Веной,— помню эти  
Рассказы, как сейчас: когда король Ян Третий  
Садился на коня и кардинал в дорогу  
Его благословлял, посол австрийский ногу  
Ему поцеловал и молча подал стремя  
(Граф Вильчик был послом) \*, король, простясь со всеми,  
Воскликнул радостно: «Смотрите, в небе чудо!  
То божье знаменье,— врагу придется худо!»  
Все глянули наверх: по небу шла комета  
Путем, которым шли отряды Магомета,—  
С востока к западу. Ксендз королю в угоду  
Триумф наш описал и озаглавил оду  
«Orientis Fulmen» \*. В ней кометы появленье  
Трактует он. Но есть другое сочиненье:  
«Янина» \*,— в книге той описаны пространно  
Походы, подвиги прославленного Яна  
И нарисованы хоругви Магомета  
И вот такая же зловещая комета».

«Аминь,— сказал Судья,— я предсказанья эти  
Приемлю от души,— да явится Ян Третий!  
Гордится запад весь героем-исполином,  
Комета приведет, даст бог, его к литвинам!»

Гречеха, помолчав, отвел от неба взоры:  
«Комета — знак войны, но иногда и ссоры!  
Явилась не к добру она над Соплицовым  
И, может быть, грозит нам бедствием суровым.  
Вчера мы не вели простого разговора,—  
На лове ссорились, и в замке снова — ссора,  
Юрист с Ассессором успели раскричаться,  
Тадеуш объявил, что будет с Графом драться...  
Медвежья шкура — вот причина всех раздоров,

Не помешай Судья, уж я б, без разговоров,  
Тогда же, за столом, смирил их пылкий нором,—  
Хотел я рассказать им случай презанятный,  
Такой, как был у нас вчера, невероятный,  
Случившийся давно с ясновельможным паном  
Лихим Денасовым и доблестным Рейтаном.  
А дело было так:

К нам из земель подольских  
Заехал генерал, пожить в поместьях польских,—  
Как помнится, на сейм он следовал в Варшаву  
И шляхту навещал, стяжать желая славу  
И популярным стать. Заехал так же к пану,  
Блаженной памяти Тадеушу Рейтану,  
Что новгородским стал позднее депутатом.  
Я с детства жил в его имении богатым.  
Итак, по случаю приезда генерала  
Рейтан созвал гостей, и шляхта пировала,  
Князь представленья дал тогда в своем театре,  
Устроил фейерверк пан Кашиц, живший в Ятре,  
Танцоров Тизенгауз прислал на две недели,  
Огинский и Солтан, который жил в Зденцеле,  
Прислали нам оркестр. И начались забавы,—  
В имении балы, в окрестностях облавы.  
А Чарторыйские, уж коль хотите честно,  
Все не охотники, и это всем известно \*,  
Хоть и ведут они свой род от Ягеллонов.  
Тут много есть причин. А главный из резонов,—  
Их иностранный вкус. Был генерал поляком,  
Однако книги он предпочитал собакам,  
И более, чем крепь, его прельщали дамы.

А в свите князя был Денасов князь, тот самый,  
Который в Африке бывал, в большом почете  
У эфиопов жил и как-то на охоте  
Копьемшиб тигра так, что мертвым тот свалился,—  
Князь этим случаем не раз при мне хвалился.  
У нас на кабанов охотились в ту пору.  
Из штуцера Рейтан сбил самку,— зверь матерый,  
Риск был не маленький, но выстрел был на редкость,  
И удивила всех гостей такая меткость.  
Один Денасов князь кривил с презреньем губы,

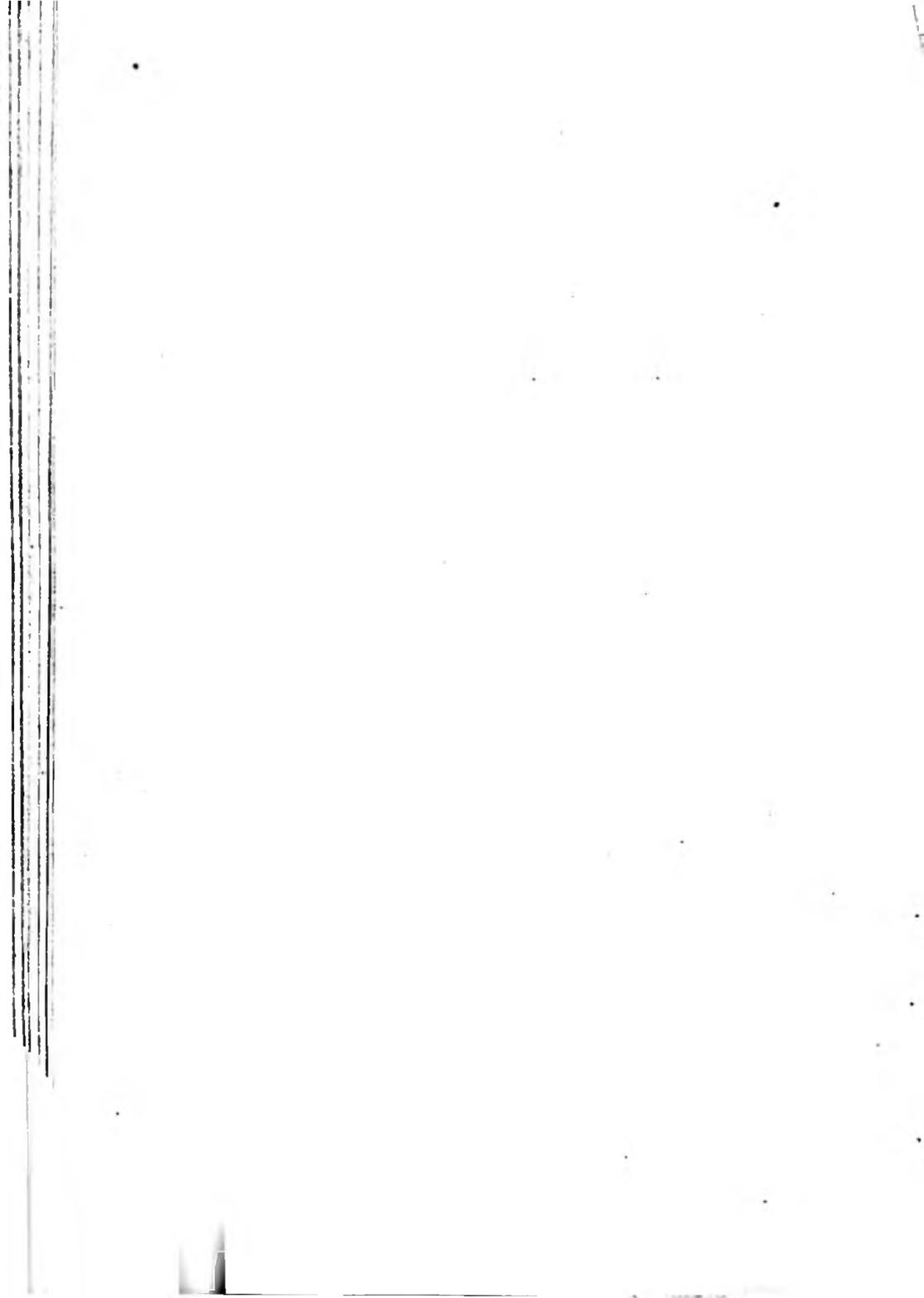
Восторг не разделял и бормотал сквозь зубы,  
Мол, выстрел — меткий глаз, а вот ему б хотелось  
С копьем увидеть нас, вот там нужна, мол, смелость,  
И снова хвастать стал своей былой удачей.  
Рейтан был человек любезный, но горячий,  
Решил он осадить немецкого повесу  
И так ему сказал, ударив по эфесу:  
«Кто метко бьет, тому не страшен бой великий,  
Тигр стоит кабана, а эта сабля — пики!»  
Тут завязался спор. Но генерал вступился,  
Он по-французски к ним, нахмурясь, обратился  
И спор их помирил двумя-тремя словами.  
Но мир их был золой, в которой тлеет пламя.  
Обиду затаив. Рейтан, хоть вял рассудку,  
Но с немцем порешил сыграть плохую шутку.  
Ужасный случай тот на завтра приключился,—  
Он жизнью за него едва не заплатился...»

Тут Войский помолчал, взял табакку щепотку,  
Пнюхал и провел рукой по подбородку,  
Но кончить не спешил свое повествованье,  
Казалось, он хотел разжечь гостей вниманье.  
Вот начал, наконец, но снова перебили  
Рассказчика — Судье внезапно доложили,  
Что прибыл человек и требует свиданья  
По делу важному. И, поклонясь собранью,  
Судья ушел. За ним, кряхтя, слуга поплелся,  
И вскоре весь кружок по сторонам разбрелся:  
Те — в дом, а те — в овин, чтоб спать на сене свежем.  
Судья пошел к себе, поговорить с приезжим.

Все спят. Тадеуш лишь в сениях, чего-то ради,  
Во тьме, как часовой, стоит под дверью дяди.  
Советоваться он пришел и вот — робеет,  
Хоть надо нынче же. Но постучать не смеет.  
Дверь заперта на ключ. У дяди совещанье.  
Тадеуш молча ждет. И слышит вдруг рыданье...

И с осторожностью, дверных не тронув скобок,  
Он в скважину взглянул... И что же видит? Робак  
С Судьею на полу, обняв друг-друга, плачут...





Тадеуш обомлел — да что же это значит?  
Встав на колени, ксендз Судье целует руки...  
Молчат... Лишь слышатся глухих рыданий звуки...  
Тадеуш стал гадать — в чем этих слез причина?  
Но вскоре услышал он шепот бернардина:

«Брат! Видит бог,— всю жизнь хранил я тайну эту,  
Раскайвшись в грехах, я следовал обету  
Всецело посвятить остаток грешной жизни  
Не славе суетной, а богу и отчизне!  
Хотел я умереть безвестным бернардином,  
Я имени решил не открывать литвинам,  
Таясь перед тобой и даже перед сыном!  
Однако в смертный час пред близкими родными,  
Ксендз-настоятель мне открыть позволил имя...  
Кто знает, буду ль жив? Вернусь ли я? В Добжинне  
Воленья начались. И хоть французы ныне  
Стоят не двигаясь, и лишь весною ранней  
Их можно ждать сюда, но все хотят восстанья.  
Быть может, слишком я за дело взялся рьяно...  
Гервазий спутал все! Сегодня утром рано  
Граф свиту снарядил и в полдень был в Добжинне.  
Я не догнал его лишь по одной причине:  
Матвей меня узнал... Коль выдаст он литвинам,  
Придется мне тогда столкнуться с Перочинным...  
Не смерть меня страшит — я жизни не жалею,  
Но заговор сгубить так глупо я не смею!  
Все ж должен я там быть! Пусть смерть меня постигнет...  
Я их уговорю. А нет, так все погибнет.  
Прощай, мой брат, прощай... Храни же тайну свято.  
Умру, так ты один помолишься за брата...  
Я все тебе открыл. Когда ж война случится,  
Кончай, что начал я, и помни — ты Соплиця!»

Тут слезы вытер ксендз и капюшон надвинул,  
Бесшумно ставни вдруг оконные откинул  
И прыгнул прямо в сад. И сел Судья в молчанье,  
Стараясь подавить беззвучное рыданье.

С минуту подождав, Тадеуш расхрабрился  
И постучал. Судья открыл, он поклонился

И начал: «Дядюшка! Я прожил здесь в именье  
Не много дней,— они промчались, как мгновенье!  
Я не успел еще ни домом насладиться,  
Ни вашим обществом, а должен торопиться,—  
С рассветом должен я в дорогу отправляться.  
Мы Графа вызвали, и с ним я буду драться.  
Я к вам поговорить пришел об этом деле;  
Вы знаете: в Литве запрещены дуэли,—  
В Варшавском княжестве такого нет порядка.  
Граф — фанфарон, но нет в отваге недостатка,  
Туда явиться он за честь себе положит,  
Тогда сочтемся с ним. И, если бог поможет,  
Наказан будет мной противник ваш несносный.  
А там уж путь один,— к отрядам за Лососной.  
Мне завещал отец за родину сражаться,  
Хоть завещания не мог я доискаться».

«Мой друг,— сказал Судья,— зачем же горячиться?  
Иль, может, ты хвостом виляешь, как лисица,  
Сбивая со следа? Но здесь ведь не засада!  
Граф вызван, спору нет, конечно, драться надо,  
Но для чего ж спешить? Ты, сударь, больно скорый...  
Сперва пошлем друзей, начнем переговоры,  
Как это принято. Граф может извиниться!  
Зачем же, сударь мой, без нужды торопиться?  
Иль мухой ты какой укушен ядовитой?  
Так для чего хитрить? Признайся мне открыто.  
Хоть дядя твой и стар, но кое-что смекает.  
Я был тебе отцом! Уж мой мизинец знает  
И мне успел шепнуть, как мой шпион всегдашний,  
Что с дамами ты здесь успел затеять шашни.  
Эх, нынче молодежь влюбляться стала рано...  
Так расскажи мне все, но только без обмана!»

Смутился юноша: «Да, дядюшка, вы правы...  
Причина есть, и в ней должны винить меня вы...  
Ошибка страшная... ее исправить трудно!  
Я сам всему виной... Но юность безрассудна!  
Простите, больше вам я не скажу ни слова,  
Но должен я скорей покинуть Соплицово!»

«О! — подмигнул Судья,— любовная размолвка!  
Так то-то же вчера слонялся ты без толка,  
На панну взглядывал, вздыхал весь вечер тяжко,—  
И у нее была прекислая мордашка!  
Все это глупости. Расстроен несогласьем!  
Коль дети влюбятся, так нет конца несчастьям,  
То радость через край, то слезы,— смех и горе!  
Бог знает от чего, то мирятся, то в ссоре,  
То оба по углам запрячутся, надуты,  
То в поле убегут,— а всё на две минуты!  
И с вами, верно, так. Да что ж поделывать — детство!  
Но только потерпи, уж есть на это средство,—  
Берусь вас помирить и гнев сменить на милость.  
И сам я молод был... Скажи же, что случилось?  
И я кой-что скажу,— быть может, будет ценно...  
Итак, поговорим друг с другом откровенно».

«Открою правду вам,— в глаза Судье не глядя  
Тадеуш отвечал,— люблю я Зосю, дядя...  
Но знаю хорошо, что ждут меня препоны...  
Я слышал, дядюшка, вы прочите мне в жены  
Дочь Подкомория, красавицу с приданым...  
Но как жениться мне? Ведь было бы обманом  
Жениться на одной, когда люблю другую...  
В любви не вольны мы, как сердцу продиктую?  
Жениться без любви и трудно и постыдно!  
Уехать должен я... А там уж будет видно».

«Вот так! — сказал Судья.— Спешешь ты постоянно!  
Бежать от тех, кого ты любишь? Это странно!  
Вот видишь, что бы ты наделал, уезжая?  
А что бы ты сказал, когда бы за тебя я  
Сосватал Зосю? Что? Иль ты не рад, строптивый?»

Тадеуш помолчал... «Я знаю, как добры вы.  
Но, дядюшка, теперь, скажу вам откровенно,  
Все это ни к чему. Вам пани Телимена  
Не даст согласия... Надеетесь вы ложно!  
«А мы поговорим!»

«Но это невозможно! —  
Вскричал Тадеуш.— Нет! Уж я решил — отсюда  
Уехать должен я... И это не причуда!

Вы только дайте мне свое благословенье,  
И завтра же, чуть свет, покину я имень!»

И, теребя усы, Судья вскричал сердито:  
«Да, сударь, ты правдив, душа твоя открыта!  
Сперва была дуэль, потом любовь до гроба...  
Я вижу, за тобой следить, брат, надо в оба!  
Ты думал, что солжешь, так будет шито-крыто?  
Ты, сударь, вертопрах, болтун и волокита!  
Где был позавчера? И что ты, как борзая,  
Выслеживал впотьмах, по фольварку шныряя?  
Смотри же, если ты встревожил сердце Зосе  
И чести нет в тебе, в таком молокососе,  
Так знай, что дядя твой сумеет сам вмешаться,  
И, любишь или нет,— придется обвенчаться!  
Заставлю розгою, и вмиг на коврик встанешь! \*  
О чувствах он твердит! Меня, брат, не обманешь!  
Вот учиню допрос, весь твой обман открою  
И уши надеру... И так мне нет покою —  
Заботы, хлопоты... Ступай уж, бога ради,—  
И дверь Судья открыл,— пора дать отдых дяде!  
Ступай... Обдумывай, как лучше отпереться...»  
И кликнул Возного, чтоб он помог раздеться.

Тадеуш сумрачный брел темным коридором,  
До глубины души взволнован разговором.  
Впервые дядей он отчитан так жестоко...  
Но он признал в душе всю правильность упрека.  
А если вдруг дойдет до Зоси эта сцена?  
Просить ее руки? Что ж скажет Телимена?  
Псзор! Нет, должен он уехать непременно!

Так несколько шагов прошел он в размышленье,  
Как вдруг перед собой увидел привиденье.  
С протянутой рукой, неслышными шагами  
Оно навстречу шло... Под лунными лучами  
Одежда длинная бросала свет янтарный...  
И слышит голос он: «Ты здесь, неблагодарный!  
Ты взгляда ждал — теперь меня ты избегаешь,  
Ждал слов моих — теперь ты уши затыкаешь,  
Как будто есть в них яд! Но я во всем повинна,

И мучусь поделом! Я знала — ты мужчина!  
Чужда игры, тебе я предалась всецело...  
Но сердце, победив, мгновенно очерствело!  
Что с легкостью берешь, то с легкостью теряешь...  
И вот награда мне — меня ты презираешь!  
Но более, чем ты, научена уроком,  
Поверь, казню себя заслуженным упреком!»

Тадеуш ствечал: «Бог видит, Телимена,  
Что сердцем я не черств, и эта перемена  
Не от презрения... Но разве этак можно?  
Здесь могут видеть нас... Как ты неосторожна!  
Ведь это грех, пойми... Нельзя же так открыто...»  
«Грех? — крикнула она с усмешкой ядовитой.—  
Невинное дитя! Я, женщина, забыла  
О чести для любви! А ты?.. Вот это мило!  
Боишься сплетен ты? Но разве для мужчины  
Связь с женщиной — позор? Ведь вы всегда невинны!  
Хоть десять заведи! Нет, дело тут не в сраме...  
Меня бросаешь ты!» — и залилась слезами.

Тадеуш возразил: «Но что бы говорили  
О юном шляхтиче, здоровом, в полной силе,  
Который бы вкушал всю прелесть сельской жизни,  
Тогда, как молодежь, спеша помочь отчизне,  
Бросая все, встает под польские знамена?  
Сознайся, что любовь для долга не препона!  
Так завещал отец, и с ним согласен дядя,—  
Мне быть давно пора средь шляхтичей, в отряде,  
Решенье принял я,— в дорогу все готово  
И завтра же, чуть свет, покину Соплицово».

Сказала пани: «Я мешать тебе не вправе,  
И мне ли преграждать твою дорогу к славе?  
Мужчина ты,— найдешь любовницу красивой,  
Достойнее, чем я, и, может быть, счастливей!  
Но должен ты меня утешить на прощанье,  
Я выслушать твое хотела бы признание,  
Что ты меня любил, а не шутил лукаво,  
Что для тебя любовь — не праздная забава!  
Хоть раз из уст твоих «люблю» услышать снова!

Я в сердце сохраню навеки это слово  
И все тебе прошу... Имей же к мукам жалость,  
Скажи, что ты любил!» И пани разрыдалась.

Тадеуш, поражен невинностью желанья,  
Растроган был до слез и полон состраданья.  
Он в сердце ощутил раскаянье и жалость,  
И если б захотел узнать, что в нем скрывалось,  
То, верно бы, и сам не сразу разобрался:  
Любил ли он, иль нет? Но он не колебался  
И отвечал: «Пусть гром убьет меня на месте,  
Коль не был я влюблен, и это слово чести!  
Хоть радостей моих минуты были кратки,  
Но для меня они так живы и так сладки,  
Что их в душе моей я сохраню повсюду  
И, видит бог, тебя вовеки не забуду!»

И тут к нему на грудь упала с криком пани:  
«Я этого ждала! Настал конец страданий!  
Я на себя едва не наложила руки!  
Но еслилюбишь ты, не будет и разлуки!  
Я сердце отдала, отдам и состоянье,  
Поеду за тобой, не страшно мне скитанье,—  
Да хоть на край земли! Лишь быть с тобою рядом!  
Верь: может власть любви пустыню сделать садом!»

Но с силой вырвался Тадеуш из объятий:  
«Да ты в своем уме? Со мной? С какой же стати?  
Чтоб маркитанткой стать? Мне предстоит сражаться!  
Ведь я простой солдат!» — «Мы можем обвенчаться! —  
Сказала пани,— все стерплю я, будь уверен!»  
«Ах, боже мой, но я жениться не намерен! —  
Воскликнул он.— Все вздор! Ну, рассуди же здраво...  
Ах, милая, тебе признателен я, право,  
Но верь, жениться я теперь не в состоянье...  
Друг друга будем мы любить на расстоянье:  
Я должен уезжать... Ведь дал себе я слово  
И завтра тронусь в путь... Прощай и будь здорова!»

И он хотел уйти, спеша расторгнуть узы,  
Но встретил пани взор,— она с лицом Медузы  
Стояла перед ним, бледна и недвижима,

Лишь гнев в ее глазах пылал неугасимо.  
Вдруг руку, словно меч, простерла, вся пылая,  
И палец на него, как будто обличая,  
Направила: «Ты змей! И твой язык, как жало!  
Ты знал — из-за тебя другим я отказала!  
Я всем пренебрегла! Моей руки искали  
Нотариус и Граф... И как они страдали!  
Меня ты соблазнил... О змей неблагодарный!  
Да это полбеды! Мужчины все коварны!  
Но я не думала,— и это мне обидно,—  
Что ты способен лгать так низко и бесстыдно!  
Я слышала, как ты у дяди на допросе  
Сознался, наконец, что ты увлекся Зосей!  
Теперь ты с ней хитришь? Едва нарушил слово,  
Как на моих глазах ты ищешь жертвы новой?  
Так знай — ты не уйдешь от моего проклятья!  
О подлости твоей посмею рассказать я!  
Других не обольстишь, как обольстил меня ты...  
Прочь, подлый человек! Ты гадок мне, проклятый!»

От оскорбления, которое едва ли  
Соплицы гордые когда-нибудь слышали,  
Тадеуш побледнел, взглянул на пани хмуρο  
И, закусив губу, сквозь зубы буркнул: «Дура!»

Он поспешил уйти. Но все в ушах звучало:  
«Подлец!» Увы, она недаром обвиняла!  
Он понял, сколько зла принес он Телимене,  
И как постыдно он был уличен в измене.  
Но к ней он охладел... И это очевидно!  
А Зося... Боже мой! Подумать даже стыдно!  
Ведь Зося, как цветок, сияет чистотою...  
Быть может, стать она могла его женою,  
Когда б не сатана, что в грех вовлек соблазном  
И отступился вдруг... Каким пустым и грязным  
Казался он себе! Он оскорблен, обруган...  
Погибло все! И он наказан по заслугам!

И в этой буре чувств, средь полного смятенья,  
О поединке мысль явилась, как спасенье:  
«Я Графу отомщу! Стреляться, непременно!»

Хотя за что? Не знал... И вспыхнувший мгновенно  
Внезапный гнев угас, и сердце охватила  
Жестокая тоска, и снова все постыло.  
«Убить его? А вдруг,— подумал он с испугом,—  
Как Зося, так и Граф увлечены друг другом?  
Быть может, Граф давно в ее любви уверен?  
И любит искренно? Просить руки намерен?  
И, может быть, на брак получит он согласие...  
Несчастный, смею ль я мешать чужому счастью?»

И тут отчаянье им овладело снова —  
Он должен умереть, исхода нет иного!

И, стиснув голову руками, как безумный,  
С пригорка он сбежал на луг, к воде бесшумной,  
И, жадный взор вперив в густую муть трясины,  
Ловил раскрытым ртом тлетворный запах тины.  
Самоубийство — грех, и столь же прихотливо,  
Как всякий грех. И он себе представил живо,  
Как будет он тонуть, и это ощущение  
Несло больной душе покой и наслажденье.

Но пани, угадав, что он замыслил что-то,  
И видя, как бегом сбежал он на болото,  
Хотя не отошла еще от вспышки гневной,  
Весьма встревожилась по доброте душевной.  
Изменника она лишь наказать желала,  
А вовсе не губить. И пани побежала  
В испуге вслед за ним на топкую поляну  
И закричала: «Стой! Мешать тебе не стану!  
Женись... Иль уезжай!» Но он ее не слышал,  
Шел все быстрее и вот на самый берег вышел.

По воле случая сюда же приближался  
И Граф с жокеями. Он молча наслаждался  
Ночной прохладой и красотой природы,  
И слушал, как поют мерцающие воды,  
Чей стройный хор звучал, как музыка Эола,  
И замирал вдали, во тьме ночного дола.  
(Ну, где еще поют лягушки так красиво?)  
Граф придержал коня и слушал молчаливо

И, глядя в синеву ночного небосвода,  
Обдумывал эскиз, забыв про цель похода:

Картина впрямь была прекрасною: средь луга  
Два светлые пруда глядели друг на друга,  
Как два влюбленных. Пруд направо был прозрачный  
И чистый, как лицо прелестной новобрачной,  
Пруд слева был темней, как смуглый лик мужчины,  
Покрытый, как пушком, налетом серой тины.  
Вкруг правого песок блестящею оправой,  
Как косы светлые. И, словно чуб кудрявый,  
Над левым рос лозняк. Так нежились в молчанье  
Пруды, прекрасные в зеленом одеянье.

От них шли две струи, сплетаясь, словно руки,  
Образовав ручей, спадавший на излучке  
В овраг, но и во тьме, на самом дне оврага,  
Дробила лунный свет сверкающая влага.  
Вода слоями вниз неслась, теряясь где-то,  
А на нее луна бросала горсти света.  
И свет, попав в овраг, дробился вдруг на щепки,  
Их снова на лету поток хватает цепкий,  
Вода стучит в песок, но сон не будит крепкий.  
Казалось, у пруда, как юная шляхтянка,  
С кувшином спряталась русалка-Свитезянка \*,  
Льет воду, свой кувшин бездонный наклоняет  
И горсти золота из фартучка бросает.

Миная темный ров, ручей смирял течение,  
Но также хорошо был виден в отдаленье,  
Затем, что на его поверхности скользкой  
Лежал во всю длину луч месяца дрожащий,  
Как змей Гивойтос наш \*, что, словно дремлет лежа  
В кустах, но нет — ползет, и отликает кожа,  
Как золото, пока не вполз он в конопляник.  
Вот так же полз ручей и прятался в ольшаник,  
Темневший над землей на дальнем расстоянии,  
Чьи еле видные для глаза очертанья,  
Закрыты тучами почти до половины,  
Как призраки ползли в прозрачной тьме долины.

В овраге мельница, покрыта мхом зеленым.  
Как старый опекун, подкравшийся к влюбленным,  
Подслушав шепот их, беснуется, и злится,  
И, головой тряся, грозит им, и бранится,  
Так эта мельница, тряся башкой лохматой  
И став на корточки, как тайный соглядатай,  
Вдруг подняла кулак со скрежетом зубовным,  
Рассержена прудов свиданием любовным.  
От грез очнулся Граф.

Окинув берег взглядом.

Соплицу видит он,— враг был почти что рядом!  
«К оружию!—крикнул Граф.—Пред вами пан Соплица!»  
И прежде чем понять, что вокруг него творится,  
Тадеуш схвачен был. И весь отряд во мраке  
Помчался в дом Судьи. Залаяли собаки.  
Раздались крики, треск... Судья в ночном шлафроке  
На крики выскочил, решив, что там жестокий  
Разбой... И видит: Граф командует ватагой!  
«В чем дело?» — крикнул он. И Граф, сверкая шпагой,  
Наехал на него, но должен был смириться:  
Был безоружен враг. И крикнул Граф: «Соплица!  
Ты отнял у меня исконные владенья  
И нынче же за все ответишь преступленья!»

«Святая троица! — Судья перекрестился.—  
Ты что же, сударь мой, разбойничать пустился?  
Иль ты уж о своем забыл происхожденье?  
Да можно ль это вам, при вашем положенье?  
Но я не лыком шит и буду защищаться!»  
И тут, вооружась, сбежалась дворня драться,  
Гречеха лишь стояла спокойно на балконе,—  
Глядел на Графа он и нож держал в ладони.

Бой начался. Но тут Судья решил вмешаться —  
Враг новый подступал, нелепо защищаться:  
Дан выстрел за рекой, и вот, как дальний ропот,  
Донесся от моста коней летящих топот.  
«Гей на Соплицу! Гей!..» — послышалось из мрака.  
И вздрогнул пан Судья — да, это был Рубака...  
«Постойте! — крикнул Граф.— Подходит подкрепление!  
Сдавайся же, Судья! Бессмысленно сраженья!»

Ассессор закричал: «Куда вы? Стой! Ни шагу!  
Я арестую вас! Отдайте, сударь, шпагу!  
Иль вы раскаетесь! Я именем закона  
Приказываю вам! Кто пеший или конный  
Ворвется ночью в дом, тот подлежит, согласно  
Указу тысяча двухсотому, где ясно  
Об этом сказано...» Но Граф, в пылу отваги,  
Свалил его в траву одним ударом шпаги.

«Я знал,— сказал Судья,— что пахнет тут разбоем!»  
Но вопль прервал его: испуганная боем,  
К ним Зося бросилась, к Судье прижалась в страхе,  
Рыдая, как дитя, бегущее от плахи,  
И пани вслед за ней, перескочив ступени,  
Упала, вся дрожа, пред Графом на колени,  
Полуодетая, с распущенной косою:  
«Где честь твоя, злодей? Опомнись! Бог с тобою!  
Молю тебя — убей! Иль женщине несчастной  
Посмеешь отказать? Не мучай же напрасно,  
Убей нас первыми! Не будь жестоким с нами!»  
Она лишилась чувств. И Граф, как рыцарь, к даме  
На помощь поспешил, смущенный этой сценой:  
«О панна Зофия! О пани Телимена!  
Ввек безоружных кровь мне не пятнала шпаги!  
Вы Графа пленники, не жалкого бродяги!  
Когда-то так же я в Италии далекой,  
Вблизи скалы, что там зовут Бирбанте-Рокка,  
Сломил разбойников, грозу земель окружных,  
Я всех тогда убил, связав лишь безоружных.  
Каков был наш кортеж! А гул толпы приветный!  
Потом их вздернули там, у подножья Этны...»

Граф, к счастью для Соплиц, имел коней отборных.  
Он шляхту обогнал. И лишь жокеи, в черных  
Коротких курточках и в снаряжение новом,  
Скакали вслед за ним в порядке образцовом,—  
Граф требовал от них примерной дисциплины.  
Иной имели нрав шляхетские дружины,—  
Таков обычай их, им медлить не по нраву,  
Все были горячи и скоры на расправу.

Граф быстро охладел и, расценив события,  
Решил окончить бой, но без кровопролитья.  
Итак, семью Соплиц и их гостей почтенных  
Велел он в дом ввести и охранять, как пленных.

Вдруг: «Гей же на Соплиц!» И шляхта повалила,  
Свист, топот, крики, треск... Усадьбу окружила  
И приступом взяла. Но где же оборона?  
Дивятся шляхтичи,— не видно гарнизона!  
Все ищут недруга, всем хочется подраться.  
Узнав, что в дом попасть теперь уж не удастся,  
На фольварк бросились, на кухню. Распахнули  
Широко дверь, вошли... Глядят — стоят кастрюли,  
Горит очаг, в углу собаки гложут кости...  
И свежий запах яств, прогнав остатки злости,  
Их мысли изменил: с приливом аппетита  
Их бранный пыл угас. Вражда была забыта.  
«Есть!» — крикнули одни. «Пить!» — подхватили рядом,  
Два хора стройные одним звучали ладом,—  
Все вспомнили: они ж не ели ровно сутки!  
И глотки высохли, и подвело желудки!  
Дан знак, и, побросав мушкеты и рапиры,  
По фольварку бойцы снуют, как фуражиры.

Гервазий, прискакав на двор Судьи, тотчас же  
Хотел ворваться в дом, но был отброшен стражей,  
И, так как мстить не мог, он отошел от входа,  
И вспомнилась ему другая цель похода:  
Он должен сделать так, чтоб было все легально,  
И Графа утвердить в правах его формально.  
Он Возного искал, но тот как в воду канул.  
Уж он отчаялся, когда за печку глянул  
И беглеца нашел (в закуток он забился),  
И, вытащив во двор, к нему он обратился:  
«Пан Возный! Просит вас пан Граф небезызвестный,  
Чтоб огласили вы пред нашей шляхтой местной  
Ту интермиссию, что вводит во владенье \*  
Как замком, так и всем в соплицынском именье,  
Как есть: cum gais, boris et graniciebus  
Kmetonibus, scultetis, et omnibus rebus  
Et quibusdam aliis \* — что надо, всё брешите,

Да, чур, не пропускать!»—«Пан Ключник, не спешите!—  
Протазий отвечал, заткнув за пояс руки.—  
Готов я огласить, как надо, по науке,  
Однако этот акт, хоть я и буду точен,  
Как силой вызванный, не будет правомочен!»  
«Зачем же силою? — сказал старик ехидно.—  
Я вежливо прошу. А если плохо видно,—  
Я посвечу Ножом,— от первого укола  
Из глаз, брат, свет пойдет такой, как из костела!»

«Гервазенька, дружок, да что ж ты больно грозный? —  
Протазий отвечал.— Ведь я же только Возный!  
А Возный, знаешь сам, процессов не решает,  
Ему диктуй хоть что, а он провозглашает,  
Слуга закона я, не вор и не мошенник,  
За что же я, скажи, под сражу взят, как пленник?  
Пусть принесут фонарь, и буду оглашать я.  
Теперь же возглашу: «Утихомирьтесь, братья!»

И, чтобы видеть всех, Протазий хладнокровно  
К забору подошел, кряхтя залез на бревна,  
Наваленные там, и вдруг — как ветром сдуло —  
Исчез! Лишь видели, как в конопле мелькнуло,  
Как голубь, белое пятно конфедератки,  
И снова все слилось на конопляной грядке.  
Хоть Лейка выстрелил, но, видно, мимо цели,—  
Протазий в хмель залез — и палки захрустели.  
Он спасся, как всегда, шмыгнув в траву густую,  
Добрався до реки и крикнул: «Протестую!»

Крик этот, помешав Гервазия затес,  
Был как последний залп в захваченной траншее.  
На этом кончилось сражение ночное;  
Вся шляхта бросилась разыскивать съестное.  
Кропитель занял пост в хлеву; тут на жаркое  
Он окропил вола, двух телок и ягненка,  
А Бритва тут же их пырнул своей шпажонкой.  
И Шило не зевал, — он убивал десятки  
Свиней и поросят, коля их под лопатки.  
Бегут на птичий двор... И все затрепетало!  
И гуси, что спасли когда-то Рим от галла,

Моля о помощи, ждут Манлия — напрасно! \*  
Ворвался Лейка к ним, враг хитрый и опасный,  
И, штуцер выхватив, стал расправляться с ними,—  
Одних перестрелял, других схватил живыми,  
Подвесил к поясу и, весь обвешан птицей,  
Носился по двору, как в белой колеснице,  
Несомой крыльями, и, весь обсыпан пухом,  
Казался Хохликом, крылатым ночи духом \*.

И куры не спаслись. Неутомимый ратник,  
Мешок, сломав замок, с веревкой влез в курятник  
И с помощью крючков, на барской кухне взятых,  
Стал петушков ловить и курочек хохлатых.  
И тут же, задушив, спешил за жертвой новой.  
А птица жирная,— всё от крупы перловой..  
Какой же ты, Мешок, детина твердолобый!  
У Зоси ты просить прощенья уж не пробуй!

И, вспомнив старину, велит подать Рубака  
С кунтушей пояса, и началась атака  
На погреба Судьи, тотчас же, без отсрочки,  
Был выполнен приказ и вытащены бочки.  
В них водка и вино,— на всех сегодня хватит!  
Часть открывают здесь, другую к замку катят,  
Кишат, как муравьи. Готово все для пира.  
И к замку все спешат,— там Графа штабквартира.

Вот разожгли костры, на них шипит жаркое,  
От яств трещат столы, течет рекой хмельное,  
Хотят пропить, проесть, пропеть остаток ночи,  
Но хмель берет свое, и дрема гасит очи.  
Тот клонится на стол, тот к бочке прислонился,  
И каждый, охмелев, где пил, там и свалился,—  
Тот дремлет, этот спит, тому уж снятся черти...  
Так победителей осилил сон — брат смерти.





## БИТВА

*Об опасностях, возникающих от беспорядка в лагере.— Неожданная помощь.— Печальное положение шляхты.— Прибытие квестаря предвещает спасение.— Майор Плут чрезмерной любезностью навлекает на себя грозу.— Выстрел из пистолета подает сигнал к бою.— Подвиги Кропигеля.— Подвиги и опасное положение Матека.— Лейка засадой спасает Соплицово.— Конное подкрепление и атака на пехоту.— Подвиги Тадеуша.— Поединок вождей, прерванный изменой.— Войский искусным маневром решает исход боя.— Кровавые подвиги Гераазия.— Великодушный победитель Подкоморий.*



стальных ратников, дремотою сраженных,  
Не разбудил отряд людей вооруженных,  
Подкравшихся во тьме с ручными фонарями.  
Так пауки, что здесь зовутся косарями,  
Хватают спящих мух, лишь муха встрепенется,  
Как лапами паук вокруг жертвы обовьется.

Был крепок шляхты сон,— ведь шляхтичи не скупы,  
Хлебнули через край и полегли, как трупы.  
И хоть вертели их, как на току солому,  
Ни свет огней, ни боль не прогоняли дрему.

Лишь Лейка-богатырь, которому, бывало,  
Случалось выпивать за раз по два антала \*,  
Что всех перепивал на дружеской гулянке  
И все же не терял рассудка и осанки,  
Хоть много нынче пил и спал, тревог не зная,  
Но глаз один открыл и видит... Мать честная!  
Над самой головой две мерзостные рожи!  
У Лейки бедного мороз прошел по коже,  
Они ж снуют над ним, щекочут лоб усами  
И машут вкруг него, как крыльями, руками.  
Тут шляхтич в ужасе хотел перекреститься,  
Не мог поднять руки — ни шуйца, ни десница  
Его не слушались... Решил он, что спросонок  
Он призраками был спеленут, как ребенок.  
И он, ни жив ни мертв, стал про себя молиться  
И крепко веки сжал, боясь пошевелиться.

Кропитель, пробудясь, пытался встать,— но тщетно!  
Он, сонный, поясом был связан незаметно.  
И все ж напрягся он, подпрыгнуть изловчился,  
И вот по головам соседей покатился,  
Как шука на песке, по сторонам кидаясь.  
«Измена!» — он ревел, бранясь и чертыхаясь.  
Услыша этот крик, проснулись все мгновенно.  
И грянул дикий вопль: «Нас предали! Измена!»

Тот крик был так силен, что долетел до зала,  
Где спал спокойно Граф со свитою усталой.  
Гервазий чутко спал. Услыша вопль ужасный,  
Проснулся он, хотел подняться — но напрасно!  
Он связан был... Над ним блеснула сталь рапиры...  
И вдруг заметил он зеленые мундиры,  
Каскетки черные... и ужас взял беднягу,  
Один, что был одет получше, вынув шпагу,  
Командовал: «Вяжи!» И люди слуг вязали.  
Граф хоть не связан был, но по бокам стояли  
Солдаты с ружьями,— должно быть, он очнулся  
Уже под стражею... Гервазий содрогнулся:  
Так это москали!

В такие переделки  
Он попадал не раз за дерзкие проделки,

Но каждый раз бежал. Был человек он ловкий  
И опытный — он знал, как разорвать веревки,  
И начал действовать тотчас, без колебанья:  
Прикинувшись, что спит, вобрал в себя дыханье,  
Втянул живот и грудь, напрягся, что есть мочи,  
И, быстро съежившись, вдруг сделался короче,  
Как прячущие хвост и голову гадюки.  
Веревки скрипнули, врезаясь в грудь и в руки,  
Но все ж не поддались! Не повторяя пробы,  
Пылая от стыда, отчаянья и злобы,  
Уткнувшись в пол лицом, лежал он, как колода,  
Кляня и день и час злосчастливого похода.

Вдруг барабанный треск ворвался в стены зала.  
Все ближе, все сильнее... Услыша звук сигнала,  
Дал офицер приказ, чтоб Графа здесь держали  
С его жокеями, а шляхту всю пригнали  
Во двор, куда уже пришла вторая рота.  
Кропитель пуги рвал — напрасная работа!

Штаб во дворе стоял. Сюда же, взяв доспехи,  
Оставив все дела, заботы и потехи,  
Пришли Подгайские, Бирбаши и Гречехи,—  
Приятеля Судьи, лишь про наезд узнали,  
Явились все — они с Добжином враждовали.

Кто вызвал москалей из ближнего селенья?  
И кто оповестил соседей о сраженье?  
Ассессор? Иль корчмарь? Рассказов есть немало,  
Но ни одна душа эсей правды не узнала.

Кровавый солнца диск, тревожа тьму долины,  
Вползал на небосклон, закрыт до половины  
Громадой черных туч, и отливал багрово,  
Как раскаленная на углях подкова.  
А ветер все крепчал, и тучи-исполины  
Неслись по небесам, как сбившиеся льдины,  
И каждая дождем холодным поливала,  
Но ветер гнал ее, и снова все сначала:

Шла туча, падал дождь, и вихрь смирял порывы...  
Так, попеременно, день был хмурый и дождливый.

Тем временем майор всю роту поголовно  
Послал на задний двор тащить оттуда бревна.  
Вот в каждом две дыры солдаты прорубили,  
В них ноги пленников протиснули, закрыли  
Другой доской, потом с боков и посередке  
Забил гвозди в них — и страшные колодки  
Сомкнулись на ногах. Но этим пленных муки  
Не кончились: майор велел скрутить им руки  
И посрывать со всех сперва конфедератки,  
А после кунтуши и даже тарататки.  
И шляхта хмурая, с разбитыми ногами,  
Сидела так, стуча от холода зубами.  
А дождь все пуше шел. И до седьмого пота  
Крепитель пути рвал — напрасная работа!

Как ни просил Судья, как Зося ни рыдала,  
Чтоб их судьбу смягчить, — ничто не помогало.  
Приказ был выполнен. Хоть после слез и криков  
Смягчился капитан, добряк Никита Рыков,  
И пленных отпустить готов был в ту минуту,  
Но подчинился сам во всем майору Плуту.

Майор поляком был из городка Дзерович.  
Носил он польскую фамилию Плutowич,  
Но изменил ее, — он был большой мошенник  
И службой царскою прельстился из-за денег.  
Плут с трубкою в зубах следил за этой сценой,  
Когда же стал Судья просить о шляхте пленной,  
Плут, в знак того что он в прескверном настроенье,  
Лишь молча дым пустил и повернул в именье.

Но Рыкова Судья уговорил, по счастью.  
Ассессор дал совет, как сладить с царскою властью,  
Обдумали втроем, как миром кончить дело,  
Чтоб слухов никаких к верхам не долетело.

И Рыков, отозвав упрямого майора,  
Сказал: «Какой нам прок от пленников? Без спора,

Засудят нынче их и не спасет защита,  
Да вам-то, пан майор, не будет в том профита!  
Не лучше ль, под шумок, уладить все с Соплицей?  
А он уж за труды вас наградит сторицей.  
Чего же нам зевать, коль можно сделать дело?  
И волки куш сорвут, и овцы будут целы!  
Все можно, говорят, да только осторожно.  
Бог руки дал, чтоб брать, и спорить с тем безбожно.  
А нам теперь Судья сулит золотые горы...  
И, право, мир худой все ж лучше доброй ссоры!  
Чем воду-то хлебать, не лучше ль выпить меду?  
Всё сладим, а концы, как говорится, в воду!»

Майор побагровел: «Да ты, брат Рыков, спятил!  
А служба царская? Иль я уж честь утратил?  
Скажите, пожалел о бедных горемыках!  
Простить бунтовщиков! Сдурел ты, видно, Рыков!  
В такие времена! Попомните, поляки,  
Вот я вам покажу! Пусть мокнут, как собаки!  
(Он подошел к окну.) Послал же бог погоду! —  
И он захохотал во всю медвежью глотку.—  
Вон тот, что в сюртуке прижался там к забору,—  
Эй, снять с него сюртук! — со мной затеял ссору,  
Да где бы? — на балу! Прилип вдруг как короста  
И стал кричать при всех: «Гоните вон прохвоста!»  
А в кассе полковой как раз раскрыли кражу.  
Таскали и меня, едва не сел под стражу...  
Да этому-то что? Я даму приглашаю,  
А он как гаркнет: «Вор! Дорогу негодяю!»  
И все за ним: «Ура!» Теперь, брат, все сквитаю!  
Добжинский, говорю, смотри, не плюй в колодец,  
Придешь воды испить... Эх, сволочной народец!»

И вдруг шепнул Судье: «Коль хочет ваша милость,  
Чтоб не узнал никто о том, что здесь случилось,  
По тысяче с души — и волю дам буянам,  
По тысяче рублей, но только чистоганом!»

Судья уж рот открыл, чтоб попросить уступки,  
Но тут майор вскочил и, дым пустив из трубки,  
Не говоря ни с кем, вдоль окон кабинета

Стал бегать взад-вперед, как дымная ракета.  
«Майор,— сказал Судья,— подумай на минуту:  
Грозит им только штраф по нашему статуту.  
Ведь раненых-то нет! Обычный спор соседей.  
А то, что съели кур да взяли в кухне снеди,  
Беда не велика — отделаются штрафом,  
И не намерен я за то судиться с Графом».

«А «Желтой книги» вы не знаете, как видно?  
О ней не слышал пан? — спросил майор ехидно.—  
Покрепче, чем статут! Составлена, брат, ловко.  
Там, что ни слово — кнут, Сибирь или веревка!  
Теперь, чуть что не так,— дадут головоюйку.  
Закон военный строг. А суд ваш — на помойку!  
Узнай Военный суд, что шляхта взбунтовалась,  
И всех в Сибирь сошлют за этакую шалость!»  
«А я обжалую! На то есть губернатор!»  
«Обжалуй,— Плут сказал,— да тут сам император  
Не станет отменять! Закон-то для чего же?  
Еще припишет сам, чтоб наказали строже,  
И так бывало с ним! Попробуй-ка, обжалуй!  
Но я и для тебя найду крючок, пожалуй!  
Что Янкель твой — шпион, для нас давно не тайна,  
И он в твоей корчме торгует не случайно!  
Тут всех вас под арест могу отдать я сразу!»  
«Меня? — вскричал Судья.— Как смеешь, без приказу?»  
Тут разгорелся спор. Но вдруг прервались пренья —  
Какой-то новый гость въезжал во двор именья.

Был странным этот въезд. Как скороход, вначале  
Бежал большой баран. На лбу рога торчали —  
Два скручены кольцом и густо бубенцами  
Украшены, а два прямые, вверх концами,  
Как будто колышки, торчали на макушке,  
Подбрасывая вверх звонки и побрякушки.  
За ним плелись волы, скот всяческой породы,  
И, в заключение, шли груженные подводы.

Все поняли — въезжал ксендз-квестарь, без сомненья.  
И, чтобы оказать монаху уваженье,  
Судья пошел его приветствовать поклоном.



Кутить, брат, так кутить! Чтоб не было прорухи!  
Пошли-ка им, Судья, бочонка два сивухи!»  
«И точно,— Плут сказал,— померзли эту ночку...»  
«Судья,— шепнул монах,— ты дай им спирта бочку!»  
И загремело все — слышались виваты,—  
В гостиной штаб кутил, а во дворе солдаты.

Пил молча капитан, не чокаясь с майором,  
Который развлекал соседок разговором.  
Но вдруг майор забыл о налитом стакане  
И за руку схватил сконфуженную пани,—  
Желал он танцевать. Та вырвалась, спасаясь,  
Он к Зосе подошел, икая и шатаясь.  
«Эй, Рыков, брось дымить, ты лучше нам сыграй-ка!  
Ведь у тебя была когда-то балалайка,  
А здесь гитара есть. Попробуй на гитаре!  
Я, как майор, пройду с хозяйкой в первой паре».  
Гитару Рыков взял и занялся колками,  
Плут к пани подошел и щелкнул каблуками:

«Я слово вам даю, не быть мне дворянином,  
Вы можете меня назвать собачьим сыном,  
Коль я вам вру! Клянусь, любезнейшая панна!  
Да вот вам крест святой... Спросите капитана,—  
Вам подтвердит любой, что в корпусе девятом  
Второй дивизии, в полку пятидесятом,  
Плут — первый мазурист! Оставь же гонор дерзкий,  
Не то я накажу тебя по-офицерски!  
Ей-богу, накажу... такой я нрав имею...»  
И пани он схватил и крепко чмокнул в шею.

Тадеуш подбежал и вдруг, не рассуждая,  
Ударил по лицу майора-негодяя,  
И этот новый звук последовал так скоро,  
Что был как реплика во время разговора.

Майор остолбенел и, белый, как бумага,  
Воскликнул: «Это бунт!» В руках сверкнула шпага.  
Но тотчас пистолет ксендз вынул, как по знаку:  
«Тадеуш! — крикнул он.— Убей его, собаку!»  
Тадеуш взвел курок и выстрелил, но мимо.

Майор был оглушен, закашлялся от дыма  
И молча на пол сел, без брани и без криков.  
«Канальство! Это бунт!» — вскочил с гитарой Рыков...  
Но тут взмахнул рукой Гречеха. Нож со свистом  
Пронесся в воздухе, взлетел над гитаристом  
И, прежде чем блеснул, вонзился в дно гитары...  
Нагнулся капитан — он был вояка старый —  
И смерти избежал. Он бросился к порогу  
И шпагой замахал: «Солдаты! Бунт! Ей-богу!»

А шляхта между тем ломилась в окна тучей,  
И впереди Забок, благословляя случай,  
Когда он снова мог схватиться с москалями.  
Плут в сени выбежал, бранится с егерями...  
Просунув три штыка и черные, как сажа,  
Каскетки, у дверей остановилась стража.  
И Матек, словно кот, следящий за мышами,  
За дверью, чуть дыша, ждал встречи с москалями.  
И Розгу опустил — ударь он чуть точнее,  
И трем бы головам пришлось расстаться с шеей.  
Но то ли был он стар, иль очень горячился,  
Но все три раза шлем пустым к ногам катился.  
И все ж от москалей Матвей очистил сени.  
Враг отступил во двор.

А во дворе смятенье,  
Сторонники Соплиц освобождают пленных,  
И с ружьями на них бежит толпа военных.  
Сержант, вбежав во двор, уже штыком таранил,  
Пронзил Подгайского, двоих смертельно ранил,  
Но, пути разорвав, к атаке ли, к защите ль,  
К чему-то явно стал готовиться Кропитель.  
Сержант был рядом с ним, грозил штыком кому-то.  
И вот Кропитель встал и, повернувшись круто,  
Так стукнул кулаком сержанта-исполина,  
Что пригвоздил виском к затвору карабина,  
Но порох был в крови, и выстрел не раздался...  
Сержант упал ничком и больше не поднялся.  
Кропитель взял ружье и стал махать прикладом,  
Свалил двух рядовых, сражавшихся с ним рядом,—  
Как крылья мельницы, ружье его взлетало,  
Он разогнал солдат и оглушил капрала,

И вскоре егеря попрятались, как мыши.  
Так шляхту он накрыл вращающейся крышей.

Колодки сломаны. Настал момент свободы.  
И шляхта, окружив прибывшие подводы,  
Оттуда достает рапиры и стилеты.  
И Лейка тут как тут. В руках его мушкеты  
И сумка с пулями. Он тут же заряжает,  
Один берет себе, другой Мешку вручает.

Солдаты снова здесь, и снова все дерутся.  
Такая теснота, что негде повернуться  
И шашки не поднять, хоть шляхте бесшабашной  
Не привыкать к боям и к драке рукопашной.  
Уж сталь цепляет сталь, штык бьет по рукояти,  
Уже плечом к плечу дерутся обе рати.

Взяв горсточку солдат,— таков приказ майора,—  
Встал Рыков за овиноу самого забора,  
Кричит, чтоб егеря сраженье прекращали,—  
Их шляхтичи и так порядком потрепали.  
Хотел бы сам стрелять, да разберешь ли в драке  
Кто русские из них, а кто из них поляки?  
«Построиться! — кричит.— Вот вам майор пропишет!»  
Но шум такой стоит, что слов его не слышат.

Не мог Матвей в бою сражаться рукопашном  
И, расчищая путь своим оружием страшным,  
Стал двигаться в толпе, средь скрежета и гула,  
То, как нагар со свеч, штыки снимая с дула,  
То сталь коверкая... Так, порубившись вволю,  
Дорогу проложив, Матвей пробрался к полю.

Один ефрейтор лишь никак не отступался,  
Что в штыковом бою искусством отличался  
И даже егерей учил владеть штыками,  
Он карабин держал обеими руками:  
Ствол левой обхватил, а правой — у затвора,  
То прыгнет, то прижмет к колену для упора,  
То, левую отняв, вдруг правой штык, как жало,  
Протянет и назад, и снова все сначала:

Майор был оглушен, закашлялся от дыма  
И молча на пол сел, без брани и без криков.  
«Канальство! Это бунт!» — вскочил с гитарой Рыков...  
Но тут взмахнул рукой Гречеха. Нож со свистом  
Пронесся в воздухе, взлетел над гитаристом  
И, прежде чем блеснул, вонзился в дно гитары...  
Нагнулся капитан — он был вояка старый —  
И смерти избежал. Он бросился к порогу  
И шпагой замаха: «Солдаты! Бунт! Ей-богу!»

А шляхта между тем ломилась в окна тучей,  
И впереди Забок, благословляя случай,  
Когда он снова мог схватиться с москалями.  
Плут в сени выбежал, бранится с егерями...  
Просунув три штыка и черные, как сажа,  
Каскетки, у дверей остановилась стража.  
И Матек, словно кот, следящий за мышами,  
За дверью, чуть дыша, ждал встречи с москалями.  
И Розгу опустил — ударь он чуть точнее,  
И трем бы головам пришлось расстаться с шеей.  
Но то ли был он стар, иль очень горячился,  
Но все три раза шлем пустым к ногам катился.  
И все ж от москалей Матвей очистил сени.  
Враг отступил во двор.

А во дворе смятенье,  
Сторонники Соплиц освобождают пленных,  
И с ружьями на них бежит толпа военных.  
Сержант, вбежав во двор, уже штыком таранил,  
Пронзил Подгайского, двоих смертельно ранил,  
Но, пути разорвав, к атаке ли, к защите ль,  
К чему-то явно стал готовиться Кропитель.  
Сержант был рядом с ним, грозил штыком кому-то.  
И вот Кропитель встал и, повернувшись круто,  
Так стукнул кулаком сержанта-исполина,  
Что пригвоздил виском к затвору карабина,  
Но порох был в крови, и выстрел не раздался...  
Сержант упал ничком и больше не поднялся.  
Кропитель взял ружье и стал махать прикладом,  
Свалил двух рядовых, сражавшихся с ним рядом,—  
Как крылья мельницы, ружье его взлетало,  
Он разогнал солдат и оглушил капрала,

И вскоре егеря попрятались, как мыши.  
Так шляхту он накрыл вращающейся крышей.

Колодки сломаны. Настал момент свободы.  
И шляхта, окружив прибывшие подводы,  
Оттуда достает рапиры и стилеты.  
И Лейка тут как тут. В руках его мушкеты  
И сумка с пулями. Он тут же заряжает,  
Один берет себе, другой Мешку вручает.

Солдаты снова здесь, и снова все дерутся.  
Такая теснота, что негде повернуться  
И шашки не поднять, хоть шляхте бесшабашной  
Не привыкать к боям и к драке рукопашной.  
Уж сталь цепляет сталь, штык бьет по рукояти,  
Уже плечом к плечу дерутся обе рати.

Взяв горсточку солдат,— таков приказ майора,—  
Встал Рыков за овин<sup>9</sup>, у самого забора,  
Кричит, чтоб егеря сраженье прекращали,—  
Их шляхтичи и так порядком потрепали.  
Хотел бы сам стрелять, да разберешь ли в драке  
Кто русские из них, а кто из них поляки?  
«Построиться! — кричит. — Вот вам майор пропишет!»  
Но шум такой стоит, что слов его не слышат.

Не мог Матвей в бою сражаться рукопашном  
И, расчищая путь своим оружием страшным,  
Стал двигаться в толпе, среди скрежета и гула,  
То, как нагар со свеч, штыки снимая с дула,  
То сталь коверкая... Так, порубившись вволю,  
Дорогу проложив, Матвей пробрался к полю.

Один ефрейтор лишь никак не отступался,  
Что в штыковом бою искусством отличался  
И даже егерей учил владеть штыками,  
Он карабин держал обеими руками:  
Ствол левой обхватил, а правой — у затвора,  
То прыгнет, то прижмет к колену для упора,  
То, левую отняв, вдруг правой штык, как жало,  
Протянет и назад, и снова все сначала:

Поддерживает ствол, в колено упирает  
И так, вертясь волчком, к Матвею подступает.

Угрозу оценил, как должно, Матек старый  
И на нос нацепил поспешно окуляры,  
И вот, прижав к груди рапиры рукоятку,  
Стал пятиться назад, оттягивая схватку,  
Но отчего-то сам шатается, как пьяный...  
И все быстрее за ним бежит ефрейтор рьяный,  
И, чтоб не упустить такой удобный случай,  
Он карабин вперед толкнул рукой могучей.  
Толчок был так силен, что егерь пошатнулся...  
И, улучив момент, Матвей вперед нагнулся,  
Рапиру вытянул, упер о камень пятку,  
И, под ружейный ствол подставив рукоятку,  
Подбросил кверху штык, и в тот же миг, нацелясь,  
Рассек ударом кисть, а следующим — челюсть.  
Так пал солдат, чью грудь за храбрость украшали  
Три боевых креста и столько же медалей.

На левом фланге шла отчаянная битва.  
Победа близилась. Кропитель вместе с Бритвой  
Орудовали там, держась все время рядом,—  
Один врага пронзал, другой кропил прикладом,—  
Тот бил по головам, а этот метил в спину...  
Их бой напоминал мудреную машину,  
Что немцем-мастером придумана отменно  
И может молотить и жать одновременно.  
Так два бойца, служа единому девизу:  
«Рубить!», разили всех,— тот сверху, этот снизу.

Но тут Кропитель вдруг, не подсчитав трофея,  
Свернул на правый фланг, чтоб выручить Матвея.  
Мстя за ефрейтора, к Матвею в злобе дикой  
Рванулся прапорщик, грозя бедой великой,  
С огромным бердышом (бердыш был вместе пикой  
И топором; теперь их носят лишь во флоте,  
Но в те года они водились и в пехоте).  
Противник молод был и, видно, был задирой.  
Когда Матвей бердыш отбрасывал рапирой,  
Он отбегал — Матвей не мог за ним угнаться,—

Пришлось не наступать, а лишь обороняться.  
Уж ранен был старик, хотя и не серьезно,  
Уж поднял враг бердыш, удар готовя грозный,  
Когда, не добежав, еще на полдороге,  
Свой карабин ему Кропитель кинул в ноги.  
Враг выронил бердыш и с криком пошатнулся...  
Кропитель налетел, за ним народ рванулся:  
Добжинцы всей гурьбой неслись на подкрепление,  
А свади москали, и началось сражение.

Кропитель, что теперь остался безоружным,  
Едва не пострадал под их напором дружным.  
Два дюжих егеря вцепились пятернями  
Бедняге в волосы. Он их пинал ногами,  
Старался вырваться,— напрасно все! Солдаты  
Тянули их к земле, как тянут с мачт канаты.  
Он бился, выл, и пот с чела катился градом...  
Уж он изнемогал. Вдруг видит — Ключник рядом!  
«Святители! — кричит.— Да это Перочинный!»

И Ключник, угадав, что друг его старинный  
Попал в беду, тотчас взмахнул клинком точеным  
Над головой его, и егеря со стоном  
Отпрыгнули назад, как пьяные шатаясь,  
И лишь одна рука, вся кровью обливаясь,  
Повисла в волосах, обрублена до локтя...  
Так молодой орел вонзает в зайца когти,  
Другую лапою за дерево хватаясь,  
Чтоб зверя удержать. Но вот рванулся заяц  
И, разорвав орла, помчался в глушь дубравы,  
И лапа в нем торчит, роняя след кровавый.

Кропитель был спасен. Он стал искать Кропило,  
Но не было его. И он с ужасной силой  
Сжимая кулаки, готовился к атаке,  
Следя за тем, чтоб быть поближе от Рубаки.  
Вдруг сына увидал — Мешок был в гуще драки.  
Кропитель поспешил тотчас навстречу сыну:  
Он нес в руке мушкет, другой тащил дубину,  
Всю в шишках и в кремнях (Кропитель сам всадил их,  
И только он один поднять ее был в силах).

От радости в груди дыхание захватило,  
И он, расцеловав любимое Кропило,  
Пошел кропить врагов с утроенною силой.

Но сколько причинил смертей он и контузий,  
О том смолчу — никто не стал бы верить музе,  
Как бедной женщине, выдавшей в Острой Бrame,  
Как прискакал туда сам Деев с казаками,  
Московский генерал, и дал распоряженье  
Ворота открывать, но в это же мгновенье  
Литовский мещанин, какой-то Чернобацкий,  
И Деева убил и полк разбил казацкий.

Как Рыков ожидал, средь этой суматохи  
Бежали егеря — дела их были плохи:  
Десятка два солдат убиты были в схватке,  
Душ тридцать ранено, и, наконец, остатки  
Попрятались, кто в хмель, кто в поле, кто в ракиты,  
А кое-кто и в дом, искать у панн защиты.

И шляхта принялась за новые затеи:  
Те к бочкам бросились, а те делить трофеи,  
И только бернардин казался удрученным.  
Он в битву не вступал (запрещено каноном  
Монахам воевать). Закрывшись капюшоном,  
Он только издали следил за ходом боя,  
Советы подавал да взглядом иль рукою  
Шляхетство ободрял. Чтоб закрепить победу,  
Ксендз предложил идти за Рыковым по следу.  
А между тем к нему послал парламентаря,  
Чтоб капитан довел до сведенья майора,  
Что если егеря оружия не сложат,  
То он отдаст приказ и всех их уничтожат.

Но Рыков не любил в бою просить пardона.  
Собрав вокруг себя остатки батальона,  
«К оружию!» — крикнул он. И смолкли разговоры.  
Притихли егеря. Защелкали затворы.  
И, в линию солдат построив у овина,  
«Прицелься!» — крикнул он, — блеснули карабины.

«Рассеянный огонь!» — и выстрелы сверкнули.  
Тот целится, тот бьет, свистят зловеще пули,  
Закопошились все, вставая ряд за рядом,  
Казался весь отряд тысяченогим гадом.

Хоть были пьяны все солдаты батальона  
И, метясь кое-как, не нанесли урона,  
Но все же удалось убить им двух Матвеев  
И ранить одного из трех Варфоломеев.  
У шляхты не было оружия в достатке,  
Так изредка она стреляла в беспорядке,  
Хотели сабли взять, но старшие сдержали.  
А пули между тем весь фольварк разогнали,  
Уже под окнами жужжал их рой пчелиный...

Тадеуш, возле дам оставленный в гостинной,  
Узнав, что крепнет бой, не вытерпел и вскоре  
Из дому выбежал. За ним и Подкоморий  
(Ему в конце концов доставил саблю Томаш)  
Немедля поспешил к соратникам на помощь,  
Возглавив шляхтичей, повлек их за собою,  
Но дружно егеря их встретили стрельбою.  
Пан Вильбик был убит, задела пуля Бритву...  
Стал ксендз увещевать, что глупо лезть им в битву  
С одними саблями, и шляхта отступила,—  
В ней не было уже воинственного пыла.  
И Рыков, увидав, что шляхтичи в смятенье,  
Решил очистить двор и штурмом взять именье.

«В атаку! — крикнул он. — В штыки! Вперед, ребята!»  
И, выдвинув штыки, пошли на штурм солдаты,  
Все ускоряя шаг, хоть шляхта попыталась  
Их удержать стрельбой, — шеренга продвигалась.  
Уже очищен двор их грозною ватагой,  
И капитан, на дверь указывая шпагой,  
Кричит: «Сдавайся, пан! Не то сожгу поместье!»  
«Сожги! — кричит Судья. — И ты сгоришь с ним вместе!»

И если, старый дом, ты цел еще доселе  
И стены между лип белеют, как белели,  
И если иногда веселые соседи

Пируют у Судьи на дружеском обеде,  
То, верно, часто там за Лейку пьют лихого,  
Не будь его — давно б не стало Соплицова!

Хоть с Лейки раньше всех друзья колодки сшибли,  
Но не было его, пока другие гибли.  
И Лейку он нашел, и пули в сумке были,  
Однако в бой пойти его не убедили:  
Он уверял, что он не пробовал и сроду  
Сражаться натощак. Нашел бочонок меду  
Да спирта жбан, рукой, как ложкой, изловчился  
Струю направить в рот, изрядно подкрепился,  
Проверил шомполом заряд, насыпал порох,—  
Он не любил спешить в таких серьезных сборах,—  
Взял в руки свой мушкет и, встав у сеновала,  
Сраженье оглядел. И видит: побежала  
Шеренга, как волна... Солдаты рвутся в сечу.  
И тут, нырнув в траву, пополз он ей навстречу,  
Залег среди двора, своим довольный местом,  
И поманил Мешка красноречивым жестом.

Мешок стоял с ружьем, усадьбу охраняя,—  
Ведь Зося в ней жила, его любовь святая,  
Пусть он отвергнут ей, но для ее спасенья  
Готов он жизнь свою отдать без размышленья.

Шеренга егерей была почти что рядом,  
И тут-то Лейка их свинцовым встретил градом,  
Мешок еще поддал, и линия отряда  
Свилась в один клубок... Напуганный засадой,  
Бросая раненых, отряд бежал, но с тыла  
Кропитель встретил их и в ход пустил Кропило.

Но капитан, боясь такого отступленья,  
Внезапно юркнул в сад, меняя направленье,  
И, задержав солдат, построил их за тыном,  
Но уж не в линию, как первый раз, а клином,  
Концы которого в ограду упирались.  
И сделал хорошо — уже из замка мчались  
Лихие всадники навстречу русским дулам...

Недолго пленный Граф сидел под караулом,  
Бежали стражники, и Граф без промедленья  
Велел седлать коней и поспешил в сраженье.  
Он впереди скакал со шпагой занесенной.  
И Рыков закричал: «Огонь! Полбатальона!»  
И триста черных дул связав шнурком огнистым,  
Три сотни пуль из них вдруг вырвались со свистом.  
Троих поранило. Сам Граф, врагу открытый,  
Лежал ничком в траве под лошадь убитой.  
И Ключник кинулся, чтоб в этой страшной свалке  
Спасти Горешков кровь,— их отпрыск, хоть по прялке...  
Но Графа ксендз успел закрыть могучим телом  
И тут же ранен был, но, словно между делом,  
Стерев рукою кровь, он отдал приказанье,  
Чтоб лучше целиться, не ослаблять вниманья,  
Да, целясь, прятаться за дом иль за колодец,  
А Графу ждать велел, как мудрый полководец.

Тадеуш понял все и выполнил не худо:  
Он за колодец встал, решив стрелять оттуда.  
А так как он стрелок был опытный и меткий  
(Он мог ударить в центр подброшенной монетки),  
То вскоре егерям нанес урон немалый:  
Он старших выбирал — фельдфебеля сначала,  
Потом сержантов двух, в один момент, дуплетом,—  
Он целился туда, где был, по всем приметам,  
Их штаб. Уж капитан, присевший в тень, к забору,  
Стал злиться и ворчать, и закричал майору:  
«Чего ж ты смотришь, Плут? Ведь этот чертов малый  
Всех командиров тут повышибет, пожалуй!»

И закричал майор Тадеушу сердито:  
«Куда ты, пан, залез? Дерись с врагом открыто!  
Не трусь и выходи! Иль вытащу за жабры!»  
Тадеуш отвечал: «Ты что-то больно храбрый!  
Да только прячешься за егерские спины!  
Готов сразиться я, и есть па то причины!  
Ну что же, выходи, смельчак, из-под забора,  
Тебя ударил я, была меж нами ссора,  
Рассудят шпаги нас, а если нет — двустволки,  
На всё согласен я — от пушки до иголки.

Но если не пойдешь, так знай, майор, заране,  
Я всех вас перебью, как зайцев на поляне!»  
И тут он выстрелил. Поручик зашатался  
И рядом с Рыковым упал и не поднялся.

И Рыков проворчал: «Ужель не хватит духу,  
Майор, чтоб отомстить юнцу за оплеуху?  
Ведь если будешь ты смотреть из-под забора,  
Как мы его уьем,— не смыть тебе позора.  
Вот если б выманить его из-за колодца  
Да из ружья убить иль шпагой — как придется!  
Суворов говорил: «Штык — хват, а пуля дура!»  
Ступай-ка, пан майор, пока в порядке шкура.  
Иль нас он перебьет. Стреляет парень сильно!»  
«Ах, Рыков, ты иди! — сказал майор умильно,—  
Ты драться молодец! А если нет, так что же?  
Поручика пошлем, из тех, кто помоложе...  
Ведь я майор, и мне поручено законом,  
Не отходя на шаг, смотреть за батальоном!»

Тут Рыков с места встал, махая белым флагом,  
И, прекратив стрельбу, неторопливым шагом  
Пошел к Тадеушу и стал с ним совещаться.  
Решили, что они на шпагах будут драться;  
Едва за шпагою слугу послать успели,  
Граф выступил вперед: «Готов я для дуэли!  
Я должен попросить прощенья у пана —  
Пан на майора зол, а я на капитана!  
Он в замке у меня не мало сделал злого...»  
«Положим, замок наш!» — ввернул Протазий слово.  
Но Граф и не моргнул: «...Он во главе злодеев  
Ворвался и велел связать моих жокеев!  
Я накажу его, как наказал жестоко  
Разбойников вблизи скалы Бирбанте-Рокка!»

Затихли выстрелы, умолкли разговоры,  
На встречу двух вождей направлены все взоры.  
Вот Граф и капитан идут походкой бравой,  
Друг к другу боком встав, грозя рукою правой,  
А левой шапки сняв; вот сходятся на месте,

Любезно кланяясь (таков обычай чести:  
Пред тем как проколоть, приветствовать друг друга),  
Вот шпаги скрещены, и гнется сталь упруго,  
Вот опускаются на правое колено,  
Скачок вперед, назад — и так попеременно.

Но тут, Тадеуша заметив перед фронтом,  
Стал совещаться Плут с сержантом роты Гонтом  
(Гонт был лихой солдат — стрелял он знаменито).  
«Ты видишь,— Плут сказал,— вот этого бандита?  
Пальнешь ему в ребро, но в самую середку,  
Получишь от меня целковых пять на водку».  
Сержант кивнул, щекой прижался к карабину,  
Товарищи плащом ему накрыли спину,  
Но целился не в грудь, а в лоб... И выстрел грянул  
И шляпу наземь сбил. И юноша отпрынул...  
Тут закричали все: «Измена! Все за шпаги!»  
Кропитель к Рыкову метнулся, но бедняге  
Тадеуш сам помог, прикрыв его собою.  
И скрылся капитан, не кончив с Графом боя.

Добжинцы и Литва, забыв вражду былую,  
Решив на москаля идти напропалую,  
Рванулись дружно в бой, друг друга подбодряя,  
Подгайскому кричат (он бился первым с края,  
Бегущим егерям распарывая спины):  
«Виват Подгайскому! Да здравствуют литвины!»  
Сколуба, увидав отчаянного Бритву,  
Который был в крови, но так же рвался в битву,  
В восторге от его воинственной природы,  
Кричит: «Виват Матвей! Да здравствуют мазуры!»  
Так все дрались, ни сил, ни жизни не жалея,  
Не слушаясь уже ни ксендза, ни Матвея.

Покуда фронт врага громила шляхта с пылом,  
Пробрался Войский в сад, решив заняться тылом,  
А следом Возный шел. И там, в уединенье,  
Стал Войский отдавать свои распоряженья.

В соплицинском саду, как раз бок о бок с тыном,  
К которому солдат пристроил Рыков клином,

Стояла сырница; она казалась клеткой  
Из бревен, связанных крест-накрест, в виде редкой  
Решетки. Сквозь ее искусственные щели  
Кой-где виднелся сыр, а наверху висели  
Пучки травы: ревеня, анис, тrefоль, колечки  
Шалфея, словом всё, что нужно для аптечки.  
Вверху она была примерно в треть сажени  
И хоть была длинна, но все сооруженье,  
Как аиста гнездо, поддерживал дубовый  
Полупрогнивший столб — он был его основой.  
Судье твердили все, что ветхий столб не прочен,  
Чтоб снес его; Судья и сам был озабочен,  
Хотел было снести, да сырница нужна ведь!  
И он решил ее со временем поправить,  
Но все откладывал — то занят был делами,  
То забывал; а столб дворовые жердями  
Подперли кое-как, их в землю понатыкав.  
Под нею-то и встал с остатком войска Рыков.

Сюда, вооружась огромными шестами,  
Гречеха с Возным шли, скрываясь за кустами,  
Вслед экономка шла и паренек дворовый,  
Ныряя в конопле, невидный, но здоровый.  
Вот подошли, шесты уперли в столб, а сами,  
Повиснув на концах, толкают, — так шестами  
Толкают бурлаки застрявшую вишину,  
Чтоб вывести ее на водную равнину.

Столб дрогнул, затрещал, строенье накренилось  
И с диким грохотом, ломая тын, свалилось  
На егерей... Отряд был бревнами придавлен:  
Тот ранен, тот разбит, а этот обезглавлен,  
Повсюду кровь и мозг... А те, кто жив остался,  
Рванулись в сторону... Но из ворот помчался  
Граф с конницей лихой, роняет, давит, режет,  
И снова кровь, и стон, металла звон, и скрежет.

Лишь восемь егерей сражаются упорно.  
К ним Ключник кинулся, вращая Нож задорно.

И восемь дул в него нацелились, однако  
От выстрела уйти не пожелал Рубака.  
Но ловкий ксендз успел перебежать дорогу,  
Нагнал Гервазия, ему подставил ногу,  
И оба рухнули... Тут грянул залп, но мимо,  
Лишь просвистел свинец... И, скрытый тучей дыма,  
Встал Ключник на ноги и бросился к солдатам,  
Уж ранил четверых и гонится за пятым,  
Солдаты прячутся, вбегают в дверь сарая,  
Гервазий вслед бежит, рапирой угрожая...  
На их плечах в сарай он въехал и во мраке  
Исчез. Но даже там не кончил страшной драки:  
За дверью стоны, крик и частые удары...  
Но вскоре стихло все, и вышел Ключник старый —  
Был меч его в крови.

И, одержав победу,  
Вся шляхта за врагом бросается по следу,  
Лишь Рыков рубится, с решимостью во взоре,  
Хоть он давно один... Тут вышел Подкоморий  
И, саблю вверх подняв, промолвил важным тоном:  
«Ты чести, капитан, не запятнал пардоном!  
Ты бился как герой и выказал отвагу,  
Но бой ты проиграл. Отдай же, рыцарь, шпагу!  
Не как бесчестный трус иль родины изменник,  
Как храбрый командир и мой почетный пленник!»

И Рыков, тронутый серьезной речью пана,  
Оружье протянул. Вся шпага капитана  
Была по рукоять в крови. «Как жаль, поляки,—  
Сказал он,— что в такой кровопролитной драке  
Без пушки были мы! А бились мы без страха!  
Еще Суворов нам наказывал на ляха  
Без пушек не ходить! Не знал я, что заварим  
Такую кашу здесь! За все пред государем  
Теперь ответит Плут: он пить позволил людям!  
А мы, вельможный пан, друзьями с вами будем,—  
Ведь есть пословица, что милые бранятся,  
Лишь тешатся! Мой пан, вы любите подраться,  
И выпить любите — мы выпить тоже рады,  
Прошу лишь одного — для егерей пощады!»

Дал Подкоморий знак, и о его приказе  
Тотчас же объявил воюющим Протазий:  
Всем раненым помочь уйти из-под прикрытья,  
А остальных взять в плен, но без кровопролитья.  
Искали Плута все, но он куда-то скрылся.  
Но только стихло все, как он и сам явился,—  
Майор лежал в траве, забравшись в двор соседний...

И так в Литве наезд окончился последний.





## ЭМИГРАЦИЯ. ЯЦЕК

*Совещание по поводу того, как спасти победителей — Переговоры с Рыковым. — Прощание. — Важное открытие. — Буря дежда.*



Как стоя темных птиц, скользя в небесах над  
Густые облака все больше нарастали;  
Лишь за полдень зашло туманное светило,  
Как туча черная полнеба заслонила,  
И ветер гнал ее, а туча все сгущалась,  
И словно часть ее от неба оторвалась.

Нависнув над землей; казалось, ветра ярость  
Ей вовсе не страшна, — как исплинский парус,  
Вобрав в себя ветра и выгнувшись упруго,  
Она, за солнцем вслед, неслась на запад с юга.

Настала тишина. Умолкли птичьи трели.  
И воздух и земля на миг оцепенели.  
Замолкло стройное лесов разноголосье,  
И только миг назад шумящие колосья,  
Что волны золота куда-то вдаль катили,  
Вдруг ошестинились и, глядя ввысь, застыли.  
И клены вдоль дорог, что чередой унылой,

Как плакальщицы, встав над вырытой могилой,  
Лишь миг тому назад заламывали руки .  
И бились головой о землю в смертной муке,  
Теперь не шевелясь, от ужаса слабея,  
Стоят, окаменев, как в скорби Ниобея \*.  
Осина лишь дрожит и ежится пугливо...

Стада, что в этот час домой бредут лениво,  
Бросая пастухов, вздымая пыли тучи,  
Оставив пастбища, бегут, сбиваясь в кучи.  
Бык опустил рога и, подбежав к коровам,  
Копытом землю бьет, пугая стадо ревом,  
Корова ввысь глядит огромными глазами,  
Вздыхает тяжело и шлепает губами,  
А боров отстает и хрюкает сердито  
И снова про запас ворует в поле жито.

И птицы прячутся под стрехи и под кроны,  
Лишь стаями к прудам слетаются вороны,  
Разгуливают там и каркают протяжно  
Да черным глазом ввысь поглядывают важно.  
Разинув клювы, ждет их тысячная стая  
Желанного дождя, от жажды изнывая,  
Но тут же, от грозы спасаясь неминучей,  
Срываются и в лес летят огромной тучей.  
Последняя с небес, покрытых черной мглою,  
Слетает ласточка, прорезав тьму стрелою,  
И пулей падает...

Вот в это-то мгновенье  
У шляхты и Москвы окончилось сраженье,  
Все прячутся в дома, покинув поле брани —  
Там грянет новый бой, нарушив неба грани,—  
Сражение стихий.

Еще на западе сквозь темные покровы  
На землю льется свет оранжево-багровый,  
Но туча, словно сеть, густую тень бросает,  
Вылавливает свет и солнце настигает,  
Решив поймать его задолго до заката.  
Уж вихри, просвистев, промчались валь куда-то,  
Уж капли первые роняет туч громада,—  
Огромные, они круглы, как зерна града.

Вдруг вихри встретились, схватились и со свистом,  
Воронкой закрутятся, летят в тумане мгlistом,  
Покрыли рябью пруд и вот уж мутят воду,  
Ворвались на луга, траву погнули с ходу,  
Лозняк ломают, брешь пробив в его ограде,  
Влекут пучки травы, как вырванные пряди,—  
В них кудри спелой ржи и ломкая солома,—  
То с гиканьем пласты взрывают чернозема,  
Для вихря третьего дорогу расчищая...  
И вот воронкою встает он, вырастая  
В огромный столб земли, взлетает смерчем грозным,  
Лбом землю роет, пыль в глаза кидает звездам,  
Все раздуваясь вширь, раструб вздымая темный,—  
И вот пролог грозы трубит в свой рог огромный.

И вихри, слыша клич, мгновенно подхватили  
Весь этот хаос трав, листвы, воды и пыли,  
На лес ударили и заревели в пуще  
Медведями.

А дождь все мельче и все пуще  
Хлестал. Вдруг рявкнул гром. И капли дождевые  
Как струны напряглись, тяжелые, прямые,  
И, землю нитями связав с небесным сводом,  
Слились и прянули, подобно вешним водам.  
Уж небо и земля покрыты мглою плотной,  
Гроза и ночь на них накинули полотна,  
Но разрывался вдруг покров их непроглядный,  
И ангел бури плыл, как солнца диск громадный,  
Покажется на миг и вновь во мрак дремучий  
Упрячет светлый лик, захлопнув громом тучи.  
И вновь ревет гроза, льет дождь неустоймый,  
И темень кажется густой и ошутимой,  
Утихнет — и опять, замрет на миг — и снова  
Гремит неясный гул потока водяного...  
Но вот затихло все. Умолкли взрывы грома.  
Лишь тихо шелестят деревья возле дома.

Внезапная гроза была сегодня кстати:  
На поле брани, где сражались обе рати,  
Легла густая тьма, кой-где мосты сорвало,  
Дороги дождь размыл, и так усадьба стала

Ты, пан с большим мечом, не видел ли его там?  
А видел, так скажи — на чем ты с ним поладил?

Гервазий помолчал и лысину погладил,  
Потом махнул рукой,— мол, все уже готово.  
Но Рыков все пытал: «Так что же Плут? Дал слово,  
Что будет он молчать?» И, видя, что допроса  
Ему не избежать, взглянул Гервазий косо  
И в землю пальцем ткнул, показывая жестом,  
Что этот разговор считает неуместным.  
«Клянусь,— сказал старик,— вот этим Перочинным,  
Не разболтает Плут! Он будет впредь невинным...»  
И пальцы отряхнув, хитро сощурил веки,  
Как будто тайну с них стряхнул теперь навеки.

Зловещий этот жест все поняли мгновенно,  
И каждый на других взглянул недоуменно,  
Как будто бы от них хотел добиться толка.  
И Рыков заключил: «Драл волк, задрали волка!»  
Пан Подкоморий встал: «Requiescat in pace!» \*  
«Да, это божий перст. Но я могу поклясться,—  
Сказал Судья,— что я невинен в этом деле!»

Угрюмый бернардин с трудом привстал с постели  
И долго так сидел. Все ждали, что он скажет.  
«Ты безоружного убил — грех этот тяжек.  
Христос учил прощать. О наказание строгом  
Не нам заботиться. Ответишь перед богом.  
Но если ты убил не из пустого мщенья.—  
Pro bono publico \*,— дарует бог прощенье». —  
И голову склонил Гервазий в подтверждение:  
«Pro bono publico,— не из пустого мщенья!»

И больше не было об этом разговора.  
Хоть слуги на заре искали труп майора,  
Обшарили весь дом, всю панскую угодку —  
Всё тщетно: Плут исчез, как будто канул в воду.  
Что с ним произошло, рассказов есть немало,  
Но ни одна душа всей правды не узнала.  
Спросили Ключника, ответил он сурово:  
«Pro bono publico!» — и более ни слова.

Гречеха тайну знал, но, связанный обетом,  
Ни слова никому не говорил об этом.

Как только капитан уехал из имения,  
Монах велел созвать участников сраженья.  
И Подкоморий так к ним обратился: «Братья!  
Бог нынче нам помог! Но должен вам сказать я,  
Что нам не избежать за этот бой расплаты,  
И что греха таить? Мы все в нем виноваты:  
Ксендз в том, что вести вам передавал, бывало,  
А шляхта в том, что их не так истолковала,  
А Ключник в том, что он был занят личной ссорой.  
С Россией воевать начнут еще не скоро,  
А до тех пор всем тем, кто дрался слишком рьяно,  
Опасно быть в Литве,— их поздно или рано  
Поташат в суд, узнав, что здесь происходило.  
Так Лейка, Бритва, ты, Тадеуш, и Кропило,  
Который с москалем рубился, словно демон,  
В отряды польских войск должны бежать, за Неман.  
Мы свалим всю вину на вас и на майора,  
Зато спасем других. И верю я, что скоро  
Мы с вами свидимся, разлука не на годы —  
Весною над Литвой блеснет заря свободы!  
Как со скитальцами прощаемся мы с вами,  
Как избавителей мы встретим вас цветами!  
Судья вам соберет что надо в путь-дорогу,  
А я, по мере сил, дам денг на подмогу».

Совет был справедлив. Об этом думал каждый —  
Известно, кто с царем поссорится однажды,  
Тому уж с ним не жить на этом свете в мире  
И надо драться с ним иль гнить весь век в Сибири.  
Вдохнули шляхтичи, в предвиденье несчастья,  
И молча головы склонили в знак согласия.

Нет в мире ничего дороже для поляка,  
Чем родина его, в суровый час, однако,  
Готов он край родной покинуть для пустыни  
И долгие года скитаться на чужбине,  
Борясь с судьбой, пока, средь бурь суровой жизни,  
Горит надежды луч, что служит он отчизне.

Решили шляхтичи, что надо торопиться.  
Но Бухман не хотел на это согласиться.  
Хоть он участия не принимал в сраженье,  
Но на совет пришел свое представить мнение.  
Проект одобрил он, счел в общем выполнимым,  
Но в дополнение считал необходимым  
Создать комиссию, как в каждом важном деле,  
Чтоб всё в ней обсудить — как средства, так и цели  
Их эмиграции. К несчастью, не успели  
Последовать в ту ночь его благим советам.  
Прощались шляхтичи, чтоб выйти в путь с рассветом,—  
Ждала их трудная и дальняя дорога.

Но дядя воротил Тадеуша с порога  
И Робаку сказал: «Хоть ты устал, да мне уж  
Не терпится сказать: признался мне Тадеуш,  
Что в Зосю он влюблен! Он должен непременно  
Просить ее руки. Уж я и с Телименой  
Об этом говорил — она дала согласие,  
И Зося говорит, что видит в этом счастье.  
Конечно, свадьбы их так быстро мы не справим,  
Но о помолвке всем сегодня же объявим.  
Ведь сердце юноши подвержено соблазнам,  
В разлуке может он предаться мыслям праздным,  
А взглянет на кольцо и вспомнит обрученье  
И верности обет; исчезнут искушенья,  
Очистится душа от грешного их пыла...  
Да, что ни говори,— в нем есть большая сила!

Я, тридцать лет назад, без памяти влюбился,  
Узнал, что я любим, и вскоре обручился.  
Но, видно, не судил спаситель быть нам вместе,  
Другой готовил он венец моей невесте:  
Дочь Войского ушла в могилу молодою...  
И так меня господь оставил сиротою,  
Остался у меня залог любви печальной,  
Как памятка о ней, мой перстень обручальный.  
Взгляну я на него — и грежу, вспоминая,  
Встает передо мной бедняжка, как живая...  
Всю жизнь я верен ей, с ней связан божьим словом

И не был хоть женат, а вот остался вдовым,  
Хотя у Войскового другая дочь пригожа  
И на сестру свою разительно похожа!»

И нежно он взглянул на перстень свой заветный  
И, слезы отряхнуть стараясь незаметно,  
Сказал: «Так обручим? Что ж мучать их напрасно?  
И он в нее влюблен, и девушка согласна».

Тадеуш подбежал: «Ах, дядя, как добры вы!  
Мне счастья большего доставить не могли вы!  
Как мне благодарить за ваше попеченье?  
Я даже не мечтал о нашем обрученье!  
О, если б перед тем, как в путь уйти безвестный,  
Я панну Зося мог назвать своей невестой!..  
И все же этого, поверьте, милый дядя,  
Я сделать не могу... Но только, бога ради,  
Не задавайте мне ни одного вопроса...  
Вот если ждать меня захочет панна Зося,  
То, может быть, вернусь я лучшим из сраженья  
И верностью добыю ее расположенья...  
Быть может, скоро мы вернемся из изгнанья,  
Тогда напомню вам о вашем обещанье,  
И, если буду я попрежнему желанный,  
Я буду сам просить руки любезной панны.  
Но, может быть, вернусь не скоро в Соплицово,  
И, может быть, она полюбит здесь другого...  
Связав ее теперь, я не был бы спокоен,  
Взаимности ж ее я, право, не достоин!»

Тадеуш замолчал. Но не был он сконфужен  
Признаньем — он не лгал. Светлее двух жемчужин  
Две крупные слезы из глаз его упали,  
Но он, в горячности, заметил их едва ли.

А Зося, притаившись, из глубины алькова  
Сквозь щелку слушала, не пропустив ни слова;  
Когда же о любви так просто и так смело  
Тадеуш объявил — в ней все похолодело.  
Она слезам его дивилась чрезвычайно,  
Хоть не могла понять, что значит эта тайна;

Решили шляхтичи, что надо торопиться.  
Но Бухман не хотел на это согласиться.  
Хоть он участия не принимал в сраженье,  
Но на совет пришел свое представить мнение.  
Проект одобрил он, счел в общем выполнимым,  
Но в дополнение считал необходимым  
Создать комиссию, как в каждом важном деле,  
Чтоб всё в ней обсудить — как средства, так и цели  
Их эмиграции. К несчастью, не успели  
Последовать в ту ночь его благим советам.  
Прощались шляхтичи, чтоб выйти в путь с рассветом,—  
Ждала их трудная и дальняя дорога.

Но дядя воротил Тадеуша с порога  
И Робаку сказал: «Хоть ты устал, да мне уж  
Не терпится сказать: признался мне Тадеуш,  
Что в Зосю он влюблен! Он должен непременно  
Просить ее руки. Уж я и с Телименой  
Об этом говорил — она дала согласие,  
И Зося говорит, что видит в этом счастье.  
Конечно, свадьбы их так быстро мы не справим,  
Но о помолвке всем сегодня же объявим.  
Ведь сердце юноши подвержено соблазнам,  
В разлуке может он предаться мыслям праздным,  
А взглянет на кольцо и вспомнит обручение  
И верности обет; исчезнут искушенья,  
Очистится душа от грешного их пыла...  
Да, что ни говори,— в нем есть большая сила!

Я, тридцать лет назад, без памяти влюбился,  
Узнал, что я любим, и вскоре обручился.  
Но, видно, не судил спаситель быть нам вместе,  
Другой готовил он венец моей невесте:  
Дочь Войского ушла в могилу молодою...  
И так меня господь оставил сиротою,  
Остался у меня залог любви печальной,  
Как памятка о ней, мой перстень обручальный.  
Взгляну я на него — и грежу, вспоминая,  
Встает передо мной бедняжка, как живая...  
Всю жизнь я верен ей, с ней связан божьим словом

И не был хоть женат, а вот остался вдовым,  
Хотя у Войского другая дочь пригожа  
И на сестру свою разительно похожа!»

И нежно он взглянул на перстень свой заветный  
И, слезы отряхнуть стараясь незаметно,  
Сказал: «Так обручим? Что ж мучать их напрасно?  
И он в нее влюблен, и девушка согласна».

Тадеуш подбежал: «Ах, дядя, как добры вы!  
Мне счастья большего доставить не могли вы!  
Как мне благодарить за ваше попеченье?  
Я даже не мечтал о нашем обрученье!  
О, если б перед тем, как в путь уйти безвестный,  
Я панну Зося мог назвать своей невестой!..  
И все же этого, поверьте, милый дядя,  
Я сделать не могу... Но только, бога ради,  
Не задавайте мне ни одного вопроса...  
Вот если ждать меня захочет панна Зося,  
То, может быть, вернусь я лучшим из сраженья  
И верностью добыюсь ее расположения..  
Быть может, скоро мы вернемся из изгнания,  
Тогда напомню вам о вашем обещанье,  
И, если буду я попрежнему желанный,  
Я буду сам просить руки любезной панны.  
Но, может быть, вернусь не скоро в Соплицово,  
И, может быть, она полюбит здесь другого...  
Связав ее теперь, я не был бы спокоен,  
Взаимности ж ее я, право, не достоин!»

Тадеуш замолчал. Но не был он сконфужен  
Признаньем — он не лгал. Светлее двух жемчужин  
Две крупные слезы из глаз его упали,  
Но он, в горячности, заметил их едва ли.

А Зося, притаясь, из глубины алькова  
Сквозь щелку слушала, не пропустив ни слова;  
Когда же о любви так просто и так смело  
Тадеуш объявил — в ней все похолодело.  
Она слезам его дивилась чрезвычайно,  
Хоть не могла понять, что значит эта тайна;

За что он полюбил? Зачем спешит в дорогу?  
Но чуяла в груди неясную тревогу.  
И сердце, бившееся так невозмутимо,  
Впервые дрогнуло: итак, она любима!  
Она бежит в алтарь,— там образок припрятан  
И ладонка... Да, да, подаркам будет рад он!  
Пусть охранит его святая Геновефа...  
А в ладонке защит клочок плаща Юзефа,—  
Патрон помолвленных, поможет он влюбленным!  
И смело в комнату вошла она с поклоном.

«Пан хочет уезжать? Так скоро? На рассвете?  
Тогда прошу его принять подарки эти...  
Пусть их наденет он и больше не снимает  
И, поглядев на них, о Зосе вспоминает...  
Пусть бог его хранит в его пути суровом,  
Чтоб возвратился он счастливым и здоровым...»  
Умолкла девушка, поникла головою,  
И слезы полились из глаз ее рекою,  
Она ж, потупившись, в смущении молчала  
И слез брильянтовых со щек не отирала.

Тадеуш взял дары, поцеловал ей руку  
И, наконец, сказал: «Нам бог судил разлуку!  
Так помни обо мне... Прощай и будь здорова.  
Молись, чтоб снова я вернулся в Соплицово...»

Внезапно в кабинет явившись, Граф и пани  
Смотрели из дверей на нежное прощанье.  
И Граф, растроганный, склонился к Телимене:  
«О, сколько прелести в сердечной этой сцене!  
С душою воина душа пастушки вскоре,  
Как лодка с кораблем, должна расстаться в море!  
Поистине, ничто любовного страданья  
Не разжигает так, как даль и расстоянье!  
Что время? Ветер! Он огарок задувает,  
Зато пожар сильнее от ветра запыхает.  
Чтоб страстно полюбить, должны мы разлучиться!  
Тебя соперником считал я, пан Соплица,  
Но ошибался я и вижу, в самом деле,  
Что не было причин для ссоры и дуэли!

Увижу ли врага в своем единоверце? —  
Пастушку любишь ты, я Нимфе отдал сердце!  
Пускай в крови врагов потонут ссоры наши  
И не клинки с тобой содвинем мы, а чаши!  
Сразимся пылкостью — счастливая идея!  
Посмотрим, кто из нас в своей любви сильнее.  
Покинем оба мы предметы нашей страсти,  
Возьмемся за мечи и попытаем счастья,  
Сразимся твердостью и верностью любимой  
И поразим врагов рукой неустрашимой!»  
На пани Граф взглянул, в тот миг в нем все пылало.  
Но пани, удивясь ему, не отвечала.

«Граф, — перебил Судья, — ты в путь спешишь напрасно,  
Тебе остаться здесь несколько не опасно.  
К тому, кто победней, придраться могут власти,  
Но ты-то как-нибудь спасешься от напасти, —  
Дашь денег и шабаш, — известны их замашки,  
Откупишься небось от царской каталажки!»

«Вы правы, — Граф сказал, — но так уж я устроен:  
Любовником не стал, так стану хоть героем!  
Я в горестях любви утешусь только славой,  
Для подвигов и жертв пойду на бой кровавый!»

Тут пани вспыхнула: «Но кто же вам мешает  
Любить, счастливым быть?» Ответил Граф: «Кто знает!  
Должно быть, грозный рок влечет веленьем тайным  
К далеким берегам, к делам необычным!  
Пред Гименеем я хотел бы, пани, с вами  
Возжечь на алтаре божественное пламя,  
Но юноши пример рассел колебанья:  
Супружеский венец оставив для изгнания,  
Он сердце испытать решил в лихих походах,  
Чтоб закалить свой дух в страданиях и невзгодах.  
И я был рыцарем без страха и упрека,  
Когда мой меч звенел вблизи Бирбанте-Рокка.  
Пусть в Польше он звенит, будя прилив отваги!»  
И тут ударил Граф по рукоятке шпаги.

«Что ж, если к подвигам имеешь ты охоту,  
Ступай, — сказал монах, — да снаряди-ка роту!»

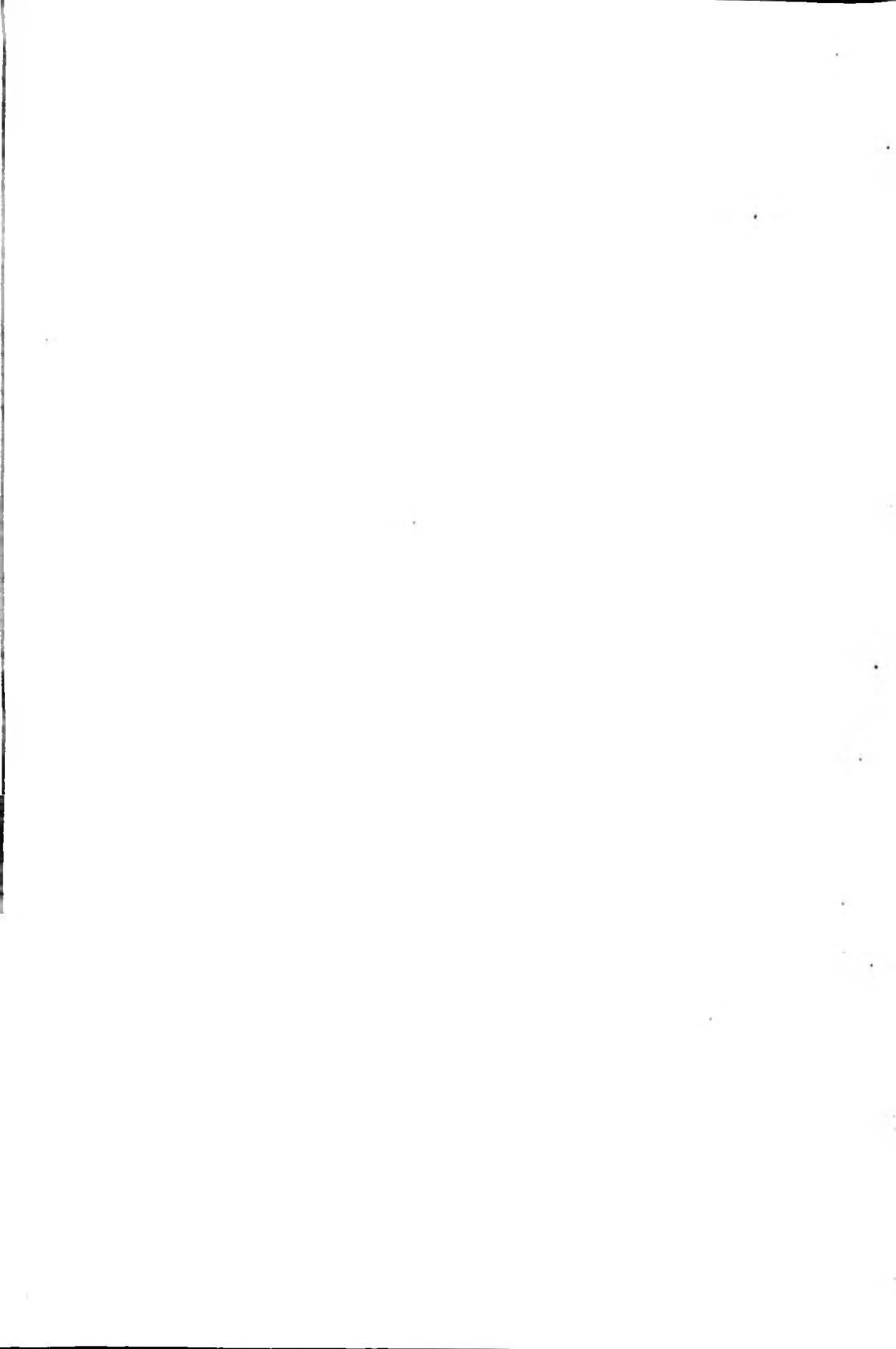
Вот так пожертвовал Потоцкий миллионом \*,  
Так сделал Радзивилл, который сам двум конным  
Полкам купил коней и все вооруженье \*,—  
Он отдал весь доход и заложил именье!  
Что ж, сударь, в добрый час! Ступай, борись с врагами,  
У нас двольно рук, да дело за деньгами».

Печальный бросив взгляд, сказала Телимена:  
«Решение твое, я вижу, неизменно!  
Но, верный рыцарь мой, стремясь на поле боя,  
Возлюбленной цвета ты должен взять с собою!»  
И, ленты оторвав от пышного подола,  
Она на грудь ему кокарду приколола.  
«Пуškai мои цвета ведут тебя под градом  
Враждебных пуль, в огне, навстречу канонадам!  
Когда ж себя в боях ты как герой проявишь,  
Когда победою свой гордый меч прославишь,  
Украсишь лаврами шишак, облитый кровью,  
Взгляни на этот бант, подаренный с любовью,  
И вспомни о твоей печальной Телимене!»  
Припав к ее руке, Граф рухнул на колени,  
И пани, левый глаз платочком прикрывая,  
Другим украдкою смотрела, замирая,  
Как Граф прощался с ней, плечами пожимала  
И снова, в тон ему, растроганно вздыхала.

«Пора! — сказал Судья.— К отъезду все готово».  
«Довольно, Граф, иди! — сказал монах сурово.—  
Ты должен поспешить». И эти приказанья  
Прервали нежное возлюбленных прощанье.

И, дядюшку обняв, Тадеуш ксендзу руку  
Поцеловал в слезах, готовый на разлуку,  
И, крепко юношу прижав к груди, в молчанье,  
Благословил его ксендз Робака на прощанье.  
Он поднял к небу взор и молвил: «Сын мой, с богом!»  
И зарыдал... Но был Тадеуш за порогом.  
«Неужто, брат,— спросил Соплица бернардина,—  
Ни слова не сказав, ты отпускаешь сына?»  
«К чему? — ответил ксендз.— Не должен знать бедняга  
Отца, что столько лет скрывался, как бродяга,





Которому не смуть позора и проклятья...  
Сегодня обо всем решил ему сказать я,  
Но поборол в себе и это искушение,  
Чтоб жертвой испробовать былые прегрешенья».

«Теперь,— сказал Судья,— пока еще не поздно,  
Подумай о себе,— ведь болен ты серьезно,  
Уж ты не молод, брат, чтоб в дальний путь пуститься...  
Ты говорил, есть дом, где мог бы ты укрыться?  
Так знай — повозка ждет, и не рискуй напрасно...  
Не лучше ль к леснику? Там было б безопасно».

Ксендз, помолчав, сказал: «Не нужно торопиться...  
Плебана позови, хочу я причаститься.  
Вели же всем пока уйти из кабинета,  
Вы с Ключником со мной побудьте до рассвета.  
А дверь запри...»

Судья, исполнив приказанье,  
Сел у него в ноги, а Ключник, в ожиданье,  
Стоял, облокотясь на Ножик перочинный  
И, голову склонив, глядел на бернардина.

Но почему-то ксендз все медлил с разговором,  
Гервазию в лицо уставясь долгим взором.  
Так опытный хирург кладет ладонь на тело  
Больного перед тем, как нож пускает в дело.  
Ксендз Робак, быстрых глаз смягчая выраженье,  
На Ключника смотрел и сделал вдруг движенье,—  
Как будто понял он, что так тянуть бесцельно,—  
Прикрыл рукой глаза и произнес раздельно:

«Соплища Яцек я...»

Гервазий отшатнулся,  
Присел, потом привстал и вдруг вперед нагнулся  
И на одной ноге, как камень, при паденье  
Задержанный в пути, стоял в оцепененье,—  
Глаза на выкате, трясущиеся губы,  
Усы щетинятся, поблескивают зубы...  
Меч, выпавший из рук, успел он у кровати  
Поймать коленями и руку с рукоятки  
Уж не спускал, и меч, как хвост, качался сзади...



Что для меня готов отдать он все на свете...  
Он был мне другом? Нет! Ведь знал он, что творилось  
В душе моей!

Меж тем шептались все, и кое-кто из шляхты  
Мне говорил уже: «Смотри, в таких домах ты  
Невесты не ищи! Натрудишь даром ноги,—  
Довольно высоки сановника пороги!»  
Я отвечал, что я не жалую магнатов,  
Их дочек не ищу, не чту аристократов  
И что по дружбе лишь хожу я в гости к пану,  
Что к дочерям вельмож я свататься не стану.  
Всё ж шутки их меня язвили ядовито,—  
Я молод был, силен, вся жизнь была открыта  
В стране, где знатный пан и шляхтич урожденный  
Могли быть наравне увенчаны короной,  
Посватался же встарь Тенчинский к королевне \*,  
И отдал дочь король, уважив род их древний.  
Соплицы, что всегда республике служили,  
По крови и гербу Тенчинским не равны ли?

Недолго жизнь разбить рукою загрубелой,  
Исправить это зло не хватит жизни целой!  
Лишь слово Стольника, забудь он о гордыне,  
Мы были б счастливы, быть может, и поныне...  
И, может быть, он сам, всей жизни на закате,  
Близ милой дочери и преданного зятя,  
Покойно старился б, заботясь лишь о внуках...  
Но вышло все не так! Погибла Ева в муках...  
Он мертв... Я испытал все ужасы последствий  
Убийства Стольника... начало страшных бедствий!  
Но я не жалуюсь, и я не обвиняю,  
Нет, я не жалуюсь,— я все ему прощаю,  
Ведь я его убил...

Когда бы сразу же он отказал мне прямо,—  
Он чувства наши знал... Быть может, эта драма  
Не разыгралась бы... И я б уехал в гнев,  
Погоревал вдали и позабыл о Еве.  
Но он хитрил со мной, как будто и понятия  
Он не имел о том, о чем посмел мечтать я,

О чем ему тогда не смел еще сказать я!..  
Со мной считались все, я был вельможе нужен,  
И оттого со мной он был притворно дружен.  
Как будто бы моей не замечая страсти,  
Он приглашал меня,— он добивался власти!  
И каждый раз, когда я оставался с паном,  
Заметив, что мой взор от слез покрыт туманом  
И прикоснуться я готов к сердечным ранам,  
Беседу заводил со мной старик лукавый  
Про сеймики, суды, облавы...

Бывало, на пиру, за пенистою чарой,  
Когда он клялся мне в любви и дружбе старой,  
Скрывая, что ему нужна моя услуга,  
Когда я должен был обнять его, как друга,  
Во мне кипело все, я весь дрожал от гнева,  
Рука искала меч, чтоб кончить все... но Ева!  
Я сам не знаю как, но в это же мгновенье  
Бедняжка, угадав души моей движенье,  
Боясь, чтоб я любви не погубил раздором,  
Смотрела на меня своим молящим взором,—  
И так она была невинна и прекрасна,  
Голубка милая, так кротко и так ясно  
Смотрела на меня, что, позабыв о боли,  
Я тотчас замолкал, смиряясь поневоле!  
Я, я, который слыл задирой и буяном,  
Кто спуску не давал и самым знатным панам,  
Рубака опытный, драчун, выдавший виды,  
Кто б даже королю не пропустил обиды,  
Кто не прощал — клянусь! — ни взгляда, ни усмешки,—  
Смирал свой пьяный гнев пред дочерью Горешки,  
Как будто предо мной Sanctissimum!.. \*

О, сколько раз ему решался все открыть я,  
Унизиться пред ним до просьб и челобитья!  
Но тут же, встретившись с его холодным взором,  
Волнение я смирял спокойным разговором  
О тяжбах и делах, миг слабости позорной  
Стараясь подавить веселостью притворной.  
Так сердце гордое поддерживало разум,—  
Соплицы имя я горешковским отказом

Боялся запятнать... Ведь сразу бы про это  
Пустились толковать все шляхтичи повета,  
Когда узнали бы, что Яцек...

Что я Горешку стал просить, как мальчик робкий,  
Что в замке встречен был их черною похлебкой!

Что должен делать я,— и сам не мог понять я!  
Тогда шляхетский полк решил сформировать я,  
Покинуть свой повет, с отчизной распротиться  
И двинуть на татар иль с москалем сразиться.  
И вот поехал я со Стольником прощаться.  
Я думал: хоть теперь, пред тем как нам расстаться,  
Он друга старого, почти что домочадца,  
С которым бил врагов и пил неоднократно,  
Который, может быть, уж не придет обратно,  
Утешит за глотком прощального напитка  
И сердца теплоту покажет, как улитка  
Свои рога...

О, кто на дне души сберег для друга свято  
Хоть искру нежности, затепленной когда-то,  
В том вспыхнет этот свет, украсив расставанье,  
Как жизни яркий луч в минуту угасанья.  
Когда устами уст, прощаясь, друг коснется,  
Из самых гордых глаз слеза любви прольется!

Бедняжка, услышав, что ждет ее разлука,  
Чуть не лишилась чувств; не проронив ни звука,  
Лишь тихо плакала, без криков и без гнева,  
И тут-то понял я, как сильно любит Ева!

Я в первый раз тогда, забыв зарок суровый,  
Заплакал, как дитя, мне захотелось снова  
Припасть к ногам отца и закричать: внемли нам!  
Отец! Позволь мне стать твоим покорным сыном,  
А если нет,— убей! Но пан высокородный  
Стоял передо мной, любезный и холодный,  
И начал говорить — поверите ли мне вы?  
В такой момент! О чем? О чем? О свадьбе Евы!  
Гервазий, ты поймешь, ты добр...

Вот слово пана:

«Ко мне приехал сват от сына каштеляна,  
Так дай же мне совет, прошу тебя, как брата,—  
Ты знаешь, дочь моя красива и богата,  
А этот каштелян из Витебска, в сенате  
Имеет малый вес... Так посоветуй, кстати».  
Не помню, что ему на это отвечал я,  
Но помню: как во сне из замка убежал я...»

Воскликнул Ключник: «Что ж? Разлука и страданье  
Не могут послужить убийце в оправданье!  
Не раз бывало так и нынче и когда-то,  
Случалось шляхтичу влюбиться в дочь магната,  
Он похищал ее иль мстил отцу открыто!  
Но так, исподтишка ужалить ядовито,  
Да в сговор с москалем вступить — вот это гнусно!»

«Я в сговор не вступал...— ответил Яцек грустно.—  
Похитить силой? Да! Мне не было преграды!  
Я мог бы разнести решетки и ограды,  
Привел бы Добжин весь, соседние застьянки...  
Была б она такой, как прочие шляхтянки,—  
Крепка, вынослива! Нас вынесли бы кони...  
Но ведь она могла не выдержать погони!  
Она была слаба, как хрупкое растение  
В теплице выросла... Такое потрясенье  
Могло убить ее, как бабочку лесную  
Внезапная гроза... Я понял, чем рискую,  
И я не мог! Не мог...

Я б штурмом замок взял, но как стерпеть насмешки?  
Сказали бы, что мстил я за отказ Горешки...  
Ты, Ключник, сердцем чист, не знаешь ты доньше,  
Какой таится ад в поруганной гордыне!

И сатана меня склонил к иному плану:  
Обиду затаив, отмстить жестоко пану,—  
Из сердца вырвать страсть, от Евы отказаться,  
Отрезать к замку путь,— с другою обвенчаться,  
И, так запутав след, найти малейший повод,  
Чтоб отомстить...

Сперва казалось мне, что жар остыл сердечный,  
И вскоре под венец пошел я с первой встречной  
Несчастной девушкой... И как я был наказан!  
Увы, попрежнему я к Еве был привязан!  
А мать Тадеуша меня любила страстно...  
Бедняжка, как она со мной была несчастна!  
Я не любил ее, и мы страдали оба.  
Попрежнему в груди жила любовь и злоба;  
Сперва в хозяйстве я хотел найти забвенье,—  
Напрасно все! Во мне гнезвился демон мщенья,  
Не мог я побороть его греховной власти...  
И вскоре, бросив все, стал жертвой новой страсти —  
Я начал пить...

Итак, моя жена сошла в могилу вскоре,  
Оставив мне дитя,— ее сломило горе...

Но как же я любил несчастное создание!  
Увы, для страсти нет ни лет, ни расстоянья!  
Я облик дорогой не мог стереть годами,  
Он как на полотне стоит перед глазами...  
Я боль вином травил, скитался на чужбине,  
Но боль моя жива, жива еще поныне!  
И вот теперь монах, слуга и раб господний  
Так долго вам о ней рассказывал сегодня!  
Но бог меня простит. Судите ж беспристрастно,  
В каком отчаянье, в какой тоске ужасной  
Я руку поднимал...

Как раз отпраздновал Горешко день помолвки,  
И на другой же день пошли в повете толки,  
Что Ева, взяв кольцо безропотно и кротко,  
Упала вдруг без чувств, что у нее чахотка,  
Что девушка слаба, бледна необычайно,  
Шептались, что она кого-то любит тайно...  
Но Стольник, как всегда, спокойный и довольный,  
Устраивал пиры и тешил круг застольный.  
Меня уже не звал — на что я сдался пану?  
Злой, опустившийся, угрюмый, вечно пьяный,  
Я стал ничтожеством, молва меня хулила,  
Меня, который был в повете заправилой,

Меня, которого звал Радзивилл «Коханку»! \*  
Который выезжал из своего застьянка  
Со свитою, как князь; вокруг кого, бывало,  
Три тысячи клинков отточенных сверкало  
По знаку первому... Гроза окрестных панов,  
Я стал посмешищем крестьянских мальчуганов!  
Кто отзываться так посмел бы о Соплицах?  
Я, рыцарь и гордец, стал притчей во языцах!..»

И, обессилев, ксендз упал ничком на ложе,  
И Ключник поднял взор: «Свершился суд твой, боже!  
Ужели это ты? В монашеской сутане?  
Как нищий прожил век, состарившись в скитанье?  
Соплица! Удалец здоровый и румяный,  
Тот самый, перед кем заискивали паны,  
По ком все женщины у нас с ума сходили!  
И ты — седой старик! Усач, да это ты ли?..  
Так, значит, не уйти от божьего проклятья!  
И как по выстрелу тебя не смог узнать я!  
Таких стрелков, как ты, при мне в Литве не знали,  
А саблей сам Забок владеет так едва ли!  
Недаром про тебя здесь пели встарь шляхтянки:  
«Закрутит Яцек ус, и задрожат застьянки,  
А если ус узлом завяжет против пана,  
Так будь он Радзивилл, узнает гнев буяна!»  
Так против Стольника свой узел завязал ты...  
Несчастный человек! И вот монахом стал ты,  
Смиранным квестарем! Свершился суд господний!  
Но знай, и от меня ты не уйдешь сегодня,—  
За кровь Горешков я отмстить тебе поклялся!..»

Но ксендз пришел в себя и снова приподнялся:  
«Вкруг замка ездил я, укрытый тьмы завесой,  
И был я, как в чаду, в груди гнездились бесы:  
Пан Стольник губит дочь! И, обливаясь потом,  
Пылая, как в бреду, я поспешил к воротам...  
А сатана шептал: «Смотри, как он гуляет!  
Как музыка гремит, как в окнах свет сияет!  
Так что ж на плешь его не рухнут эти своды?»  
Так бес меня смущал... Часы текли, как годы...

О мести я мечтал... Тут москали напали,  
И долго я смотрел, как замок штурмовали...

Но это ложь, что я был в сговоре с отрядом!

Укрытый темнотой, стоял я молча рядом  
И, как ребенок, ждал с улыбкою пожара,  
Чтоб видеть, как его постигнет божья кара.  
Я ждал, чтоб вспыхнул дом, как знак господня гнева,  
И брошусь я в огонь спасти бедняжку Еву  
И Стольника спасти...

Ты знаешь сам, как вы в ту ночь отважно бились;  
Как мухи, москали вокруг меня валялись!  
И вскоре понял я, что ждет их поражение.  
И вновь в моей груди проснулось возмущенье,  
И мне опять шепнул лукавый искуситель:  
«Во всем ему везет! Опять он победитель!»  
Я повернул коня. И вдруг в лучах рассвета  
Увидел на крыльце его... В петле манжета  
Сверкал большой брильянт, а он — я помню твердо —  
Крутил кудрявый ус, оглядываясь гордо...  
И показалось мне, что узнан я Горешкой,  
Что пальцем на меня он указал с усмешкой...  
Я вырвал карабин у москаля и в пана,  
Не целясь, выстрелил... Была смертельной рана!  
Ты знаешь сам...

Проклятое ружье! Кто обнажает шпагу,  
Тот может выжидать иль отступить по шагу,  
Оружие скрестить, отбить иль увернуться...  
А тут достаточно лишь к спуску прикоснуться,  
Мгновенье, искорка...

И разве я бежал, когда схватил ружье ты?  
Я смерти ждал, решив покончить с жизнью счеты,  
Я словно в землю врос, стоял — не шелохнулся...  
И отчего, старик, тогда ты промахнулся!  
Ты б сделал мне добро... Но небеса хотели,  
Чтоб грех я искупил!»

И, наклонясь к постели,

Сказал Гервазий: «Да, тебя хотел убить я!  
Твой подлый выстрел был виной кровопролитья,  
Он за собой повлек все зло, что совершилось,  
И много за него невинных поплатилось!  
Но нынче, ксендз, когда грозили в перепалке  
Горешков родичу, хотя бы и по прялке,  
Ты заслонил его... И после, перед строем,  
Свалил меня,— и так ты жизнь нам спас обоим.  
И если правда то, что ты надел сутану,  
То знай, что я тебя преследовать не стану,  
Вовек я к твоему не подойду порогу!  
Мы квиты, ксендз, прощай... А суд оставим богу!»

Ксендз руку протянул, но Ключник молвил твердо:  
«Нет, не унижу я шляхетской чести гордой,  
Ты руку запятнал, убив не во спасенье,  
Pro bono publico, а только ради мщенья!»

Но Яцек, утомясь столь долгим разговором,  
Замолк и на Судью смотрел горящим взором  
И снова, попросив, чтоб он позвал плебана,  
Сказал Гервазию: «Ты попросался рано,  
Побудь со мной... А боль сумею превозмочь я,  
Чтоб кончить... Знаешь, пан, умру сегодня в ночь я!»

«Мой брат! — вскричал Судья,— ведь не опасна рана!..  
Ну что ты говоришь?.. Зачем тебе плебана?  
Пошлем за лекарем... Ты болен не серьезно...  
В аптечке травы есть...» Но ксендз ответил: «Поздно!  
Я рану получил не здесь, еще под Йеной,  
Она открылась, брат... Не выжить мне с гангреной.  
Я раны сам лечил,— смотри, как почернела...  
Не нужен лекарь мне, он не поправит дела.  
Не все ль равно когда? Смерть не придет два раза.  
Послушайте меня. Не кончил я рассказа...

Как тяжело прослыть изменником отчизны,  
Когда не заслужил столь тяжкой укоризны!  
Предателем меня прозвали... Кличка эта  
Пристала, как чума... Все граждане повета,  
Все прежние друзья шарахались при встрече,

А как, бывало, кто завидит издаले,  
Будь он холоп, еврей иль шляхтич худородный,  
Пугливо кланялся и путь искал обходный.  
И каждый жалкий вор, бродяга и мошенник  
Смел презирать меня и вслед кричать: «Изменник!»  
Где б ни был я, меня клеймило слово это,  
Как вечное бельмо, как страшная примета,  
Но я не предавал отчизны!

Приспешники царя своим меня считали  
И земли Стольника Соплицам отказали,  
Тарговичане чин пообещали важный,  
Но слишком дорожил я честью непродажной!  
Хоть бес меня смущал: ведь будь я ренегатом,  
Я снова мог бы стать могучим и богатым,  
Пришлось бы предо мной заискивать магнатам.  
Ведь даже чернь, что так спокойно распинает  
И так легко клеймит,— удачникам прощает!  
Я это знал, и все ж не мог я...

Покинул край родной!  
Где не был! Как страдал я!

Но указал господь мне средство к исцеленью:  
Решил я посвятить всю жизнь мою служенью  
Христу и родине...

Зять Стольника с женой окончил дни в Сибири,  
Там Ева умерла... и да почит в мире!  
Оставила она в Литве малютку Зосю,  
Я воспитал ее...

Так запятнав себя кровавым злодеяньем,  
Замаливал я грех постом и покаяньем,  
Я, ухарь и гордец, что с детства не был робок,  
Решил монахом стать и принял имя: Робак —  
Во прахе жалкий червь...

Но, чтобы смыть позор и грех кровопролитья,  
Отечеству решил на благо послужить я,  
И кровь и жизнь отдать...

Сражался я. Где? Как? Смолчу... Не ради славы,  
За родину мою ходил я в бой кровавый...  
Но вспомнить мне милей не бранные страданья,  
А подвиги добра, смиренные деянья,  
Страданья тайные...

Я в Польшу проникал и тайно порученья  
Переносил в Литву... Готовил возмущенье,  
Ходил в Галицию и в легион все больше  
Литвинов вербовал... По всей Великопольше  
Мелькал мой капюшон, известный всем полякам...  
Был в крепость заточен, попавшись в плен к пруссакам...  
И москалем не раз был бит я смертным боем...  
Однажды был в Сибирь отправлен под конвоем,  
В Шпильберге голодал \*, посажен в заточенье...  
Но спас меня господь и дал мне позволение  
С причастьем умереть...

Быть может, и теперь себя бы должен клясть я,  
Что шляхту торопил и стал виной несчастья.  
Но мысль, что будем мы к восстанью все готовы,  
Что первым герб Литвы поднимет Соплицово,  
Клянусь,— она чиста!..

Ты мстить хотел? Так знай — свершилось правосудье!  
Ты разрубил мечом, как божие орудье,  
Все замыслы мои! Подумай, неужели  
Еще ты не смщен? Всю жизнь к великой цели  
Стремился я, одно желание земное  
Лелеял я в груди, как детище родное,  
А ты убил его... Но я тебя прощаю,  
А ты...»

«Пусть бог простит и дева пресвятая! —  
Гервазий отвечал.— Ведь ты смертельно ранен,  
Грешно тебя бранить... Да я ж не лютеранин!  
Не подлый еретик... И вот что в утешенье  
Могу тебе сказать: когда я на колени  
Пред Стольником упал, и наклонился к пану,  
И, обмакнув свой меч в зияющую рану,  
Поклялся отомстить,— превозмогая муку,  
Мой бедный пан, подняв слабеющую руку,

Перекрестил тебя — в последнее мгновенье  
Убийце своему он даровал прощенье!  
Я понял этот знак, но мстить решил сурово  
И никому о том не проронил ни слова...»

Но ксендз, не поборов предсмертного страданья,  
Умолк, и наступил час долгого молчанья.  
Плебана ждали все. Забрякали копыта,  
Раздался стук, и дверь тотчас была открыта.  
Вошел еврей с письмом, — в нем ксендзу порученья.  
И ксендз велел письмо читать без промедленья.  
В нем Фишер \* сообщал из штаба, где князь Юзеф \*  
Готовил войско в бой, о действиях французов,  
О том, что решено в их тайном кабинете  
Начать войну, о чем известно в целом свете,  
Что скоро кончится литовское бесправье,  
Что созван, наконец, всеобщий сейм в Варшаве,  
Где решено Литву соединить с Короной.

Прижав к груди свечу, притихший, примиренный,  
С улыбкой радости, с горящими глазами,  
Ксендз слушал и читал молитву со слезами:  
«Прими, о господи, твой раб отходит грешный...»  
Но тут в ворота стук послышался поспешный,  
Звук колокольчика раздался за дверями,  
И вскоре в комнату вошел плебан с дарами.

Ночь кончилась. Вверху, сиянием одета,  
Синела даль небес. И первый луч рассвета  
Алмазною стрелой проник сквозь ставня щели,  
Упал пучком огня на белизну постели  
И, ярким золотом обвив чело больного,  
Украсил лик его, как светлый нимб святого.





## ГОД 1812

*Весенние предзнаменования.— Вступление войск.— Богослужение.— Общественная реабилитация блаженной памяти Яцека Соплицы.— Из беседы Гервасия с Протазием можно предвидеть скорое окончание процесса.— Объяснение улана с девушкой.— Разрешается спор о Куцем и Соколе.— Гости собираются на пир.— Представление вождям помолвленных.*



лагословенный год! Ты памятен для края.  
Для землешцев ты был годом урожая,  
Для воинов порой великого сраженья,  
Доныне о тебе не смолкли песнопенья!  
Ты был на небесах ознаменован чудом  
И предугадан был простым литовским людом.

Все ждали перемен, как светопреставленья.  
Весна несла сердцам надежду и томленье  
И безотчетный страх, предчувствие печали...

Когда весной в поля впервые скот погнали,  
Заметили: стада, что отощали с лета,  
Не стали есть траву,— недобрая примета,—  
А, головы пригнув, ложились и, как в спячке,  
Жевали целый день остатки зимней жвачки.

Уныло пахари в поля тащили плуги,  
Не радуясь концу свирепой зимней вьюги.  
Не слышно пенья их. Работают лениво,  
Не думая о том, какое снимут жниво.  
На Запад все глядят, как будто бы оттуда  
Не нынче-завтра им должно явиться чудо,  
Остановив волов, в тревоге безотчетной,  
Забыв посев, следят за птицей перелетной.  
Уж аист на сосне раскрыл большие крылья —  
Штандарт весны, поры тепла и изобилья;  
Уж стаи ласточек, слетевшись на равнину,  
Снуют то здесь, то там, неся траву и глину  
Для домиков своих; уж в зарослях болотных  
Все чаще слышится крик куликов пролетных;  
Уж гуси стаями летят над чащею бора  
И, громко гогоча, садятся на озера.  
А в небе журавли курлычут, пролетая,  
И, видя, как летит во тьме за стаей стая,  
Гадают сторожа, в тревоге брови хмуря,  
Какая этих птиц сюда пригнала буря?

И, словно стаи птиц, спускаясь на поляны,  
Сверкнули на холмах знамена и султаны —  
То конница! Блестят нарядные мундиры,  
Встают полк за полком. Их пушки и мортиры  
Ползут средь зелени по дремлющей долине,  
И, словно талый снег, по самой середине,  
Блестя оружием, все в блесках позолоты,  
Как муравьи, вдали ползут полки пехоты.

На север все спешит! Как будто вслед за птицей  
По топям и лугам бескрайней вереницей  
Отряды двинулись, гонимы тайной силой,  
Чтоб наводнить поля моей отчизны милой.  
Багорова даль небес от зарева пожаров,  
И вся земля дрожит от громовых ударов.

Война! Война! И нет в Литве угла такого,  
Куда бы не проник звук клича громового.  
И жители лесов, чьим прадедам до гроба  
Был ведом только лес, дремучая трущоба,

Кто звука за всю жизнь не слыхивал иного,  
Чем гром, да ветра шум, да рев зверья лесного,  
Кто солнца не видал в своей глуши суровой,  
Вдруг видят: в небесах пылает свет багровый  
И слышат свист ядра, ломающего сучья,  
Которое, попав в леса, во тьме дремучей  
Прокладывает путь. Зубр, бородач горбатый,  
Вдруг ощетинился, тряхнул башкой косматой  
И смотрит на огонь, что вслед за взрывом грома  
Сверкнул и заплясал по веткам бурелома,—  
Со свистом пролетев сквозь заросли лесные,  
Граната лопнула. И старый зубр, впервые  
Напуганный огнем, взрывая корневища,  
Помчался в дебри чащ искать себе жилище.

Война! Оружье взяв, мужчины рвутся в битвы,  
И женщины творят заветные молитвы.  
И восклицают все в восторге со слезами:  
«С Наполеоном — бог, Наполеон же — с нами!» \*

Весна! Ты навсегда останешься для края  
Весной великих битв, весною урожая \*.  
О славная весна! Кто видел, как цвела ты,  
Хлебами, травами, событиями богата?  
Ты окрылила край, поистине несчастный!  
Я не забыл тебя, пора мечты прекрасной!  
Рожденный узником, я с детства к воле рвался  
И в жизни только раз такой весны дождался!

Имение Судьи лежало возле тракта,  
Где шли вожди полков, в которых билась шляхта —  
Король Иероним и Юзеф благородный \*.  
От Гродна к Слониму проделав марш походный,  
Решил король войска порадовать привалом.  
Но польским воинам, голодным и усталым,  
Досадно было все ж такое промедленье,—  
Хотелось с москалем скорей вступить в сраженье.

В ближайшем городке стал штаб, а командиры  
До Соплицова шли, чтоб там найти квартиры,—  
С обозом шли сюда Грабовский, Малаховский,  
Князевич и Гедройц, и даже сам Домбровский \*.

Уж было за полночь, когда они явились  
И в замке кое-как впотьмах расположились.  
Лишь отдан был приказ поставить на ночь стражу,  
Да сняли с лошадей упряжки и поклажу,  
И вскоре стихло все, ночным покрыто мраком.  
Лишь кое-где костры мелькали над биваком,  
Да тени патрулей, блуждающие в поле,  
Да слышались во тьме ответные пароли.

Заснули все: войска, вожди, хозяин дома,  
И только Войского не посетила дрема,  
Все думает старик, как завтра праздник справить,  
Устроить пир такой, чтоб дом Соплиц прославить,  
Чтоб гости славные остались им довольны.  
К тому же в этот день и праздник был престольный  
И завтра же трех пар справлялось обручение.  
На славу закатить он должен угощение:  
Домбровский объявил, что он предпочитает  
Всем кухням — польскую!

И Войский собирает  
Соседских поваров, проворных и умелых.  
И вот они пред ним стоят в халатах белых,  
И, фартук повязав, старик, как шеф придворный,  
Готов руководить бригадою проворной,  
В одной руке, как жезл, он держит мухобойку  
Сгоняет ею мух, усевшихся на стойку,  
Где лакомства лежат, другой очки надвинул,  
За пазуху полез и важно книгу вынул.

«Отличный повар» — вот той книжицы название,  
В ней разных польских блюд дается описание,  
Граф Оссолинский встарь читал ее советы \*,  
Когда он задавал в Италии банкеты,  
Которым папа сам, Урбан Восьмой, дивился.  
Коханку-Радзивилл к той книге обратился,  
Когда он угощал в Несвиже Станислава \*,  
О пире том в Литве жива доньне слава,  
И не умрет о нем народное преданье.

Что Войский ни прочтет прислуге в назиданье,  
То тут же сделано, на месте, поварами.

На кухне все кипит: снуют, стучат ножами,  
Хлопочут черные, как черти, поварята,  
Несут дрова, вино, сметану для салата;  
Котлы поставлены, наполнены кастрюли,  
Мехами в очаге большой огонь раздули,—  
Гречеха приказал, чтоб пламя не погасло,  
Лить щедро на дрова растопленное масло  
(Такую роскошь встарь нередко разрешали  
В зажиточных домах). Поленья запылали,  
В огонь подбросили валежнику посуше,  
И вот на вертела насаживают туши  
Оленей, кабанов: готовят поварята  
Тетерок, глухарей, ощипаны цыплята.  
И только кур одних еще недоставало —  
Со дня наезда их на фольварке не стало.  
Их сотнями тогда душил Мешок кровавый  
И весь курятник в час опустошил расправой.  
А птицей славилось когда-то Соплцово,  
Курятник полон был! Зато всего другого  
Хоть отбавляй — вокруг лежали горы снеди,  
Все то, что есть в лесах, на бойнях, у соседей,—  
Все было здесь, чтоб пир отпраздновать по-польски,  
Лишь птичьим молоком не мог похвастать Войский.  
Две вещи, чтобы дать на славу угощенье,  
Соединились здесь: богатство и уменье.

И вот он наступил, день пресвятой Марии.  
Блеснули в вышине лучи зари скупые,  
Как синий океан, нависший над землею,  
Светились небеса прозрачной синевою.  
И, как жемчужины, из глубины мерцали  
Лучи последних звезд. Высок в синей дали  
Проплыло облачко молочным сгустком дыма  
И кануло в лазурь, как крылья серафима,  
Который запоздал вернуться в кущи рая,  
До света на земле молиться помогая.

Уж расточилась мгла, и в голубой купели  
Потух последний луч и перлы потускнели;  
Чело небес бледней, один висок румяный,  
Другой еще в тени; а дальше круг туманный.

Как веко бледное, раздвинулся широко,  
И брызнул первый луч, зрачком украсив око,  
Сверкнул и заиграл, борясь с последней мглою.  
И вдруг, ударив вверх над сонною землею,  
Повис на облачке серебряной стрелою.  
И по сигналу дня блеснули взрывы света,  
Взлетел пучок огней, как яркая ракета,  
И тысячи лучей скрестились — солнце встало,  
Но зябко жмурилось: оно еще дремало;  
Вот поползло, на дол уставясь мутным глазом,  
Сверкая яхонтом, рубином и топазом,  
Окрасив ярко свод небес однообразный;  
Вот вспыхнуло огнем, роняя блеск алмазный,  
Большое, как луна, и пламень распылило;  
Так одинокое по небу шло светило.

Со всей окрестности, задолго до восхода,  
К часовне старенькой собралась тьма народа,  
Из сел, из деревень, усадеб — отовсюду,  
Как будто шли сюда, чтоб поклониться чуду.  
Те помолиться шли, под мерный звук хоралов,  
Другие, чтобы здесь увидеть генералов,  
Прославленных вождей народных легионов,  
Которых знали все и чтили, как патронзв,  
Чьи подвиги и жизнь под знаменем походным  
Служили на Литве евангельем народным.

Уж офицеры здесь, идут солдаты строем.  
Восторженный народ дорогу дал героям,  
Дивится ружьям их, мундирам, польской речи...  
Свободно земляки идут, расправив плечи!

Вот месса началась. Но нету места в храме,  
И, шапки сняв, народ стоит перед дверями.  
И волосы крестьян, поблекшие от зноя,  
Блестят, как золото, своею желтизною  
Напоминая рожь; в толпе, меж головами,  
Головка девичья, украшена цветами  
Иль ярких лент пучком, мелькает то и дело,  
Как яркий василек во ржи мелькает спелой.  
И пестрая толпа, в порыве богомольном,  
Вся, как один, крестясь при звоне колокольном,

Льняные головы склоняет молчаливо,  
Как ветром осени взволнованная нива.

Крестьянки на алтарь Марии Благодатной  
Несут снопы цветов и мяты ароматной,  
Вся паперть в зелени, везде цветы живые,  
Украшены алтарь и образа Марии.  
Вот легкий ветерок пошевелил венками  
И, головы людей осыпав лепестками,  
Разнес их аромат, как ладан в божьем храме.

С амвона проповедь прочел плебан, и вскоре  
На паперть вышел сам почтенный Подкоморий,  
Которого дня три назад конфедераты  
Маршалком выбрали. Его мундир богатый  
Был вышит золотом, жупан сверкал парчюю,  
Кунтуш отделан был широкой бахромою,  
И пояс золотой, любимый польской знатью,  
Сиял; на нем палаш с алмазной рукоятью,  
На шее был брильянт, сверкавший в мягкой складке  
Атласного платка, поверх конфедератки  
Из перьев дорогих свисал плюмаж нарядный  
(Лишь в праздник носит пан такой убор парадный,  
В нем каждое перо ценой в дукат, не мене),  
Так вышел пан. Народ столпился у ступеней.  
Он начал:

«Братья! Вам объявлено с амвона  
О том, что нам принес приход Наполеона —  
Отныне и Литва свободна, как Корона!  
Вы знаете о том, что есть уже решение  
Созвать всеобщий сейм. Другое сообщенье  
Хотел бы сделать я — я вам принес известье  
О деле, целиком касающемся чести  
Помещиков Соплицу.

Известно всем в повете,  
Что Яцек, брат Судьи, творил на этом свете.  
Но если грех его известен всей округе,  
Пора вам рассказать и про его заслуги.  
От генералов я услышал новость эту  
И объявить о ней хочу всему повету:  
Не умер Яцек наш, как говорили, в Риме,

А только изменил сословие и имя  
И искупил с лихвой все прегрешенья жизни  
Святым служением народу и отчизне.

Под Гогенлинденом \*, в той битве знаменитой,  
Где Ришпанс отступал, врагом почти разбитый \*,  
Не зная, что идет Князевич на подмогу,—  
Он под обстрелом полз, рискуя всю дорогу,  
И все же Ришпансу доставил извещение,  
Что с тыла перешел Князевич в наступленье.  
В Испании, когда затеяли уланы  
Самосиерры штурм, он чуть не пал от раны,—  
Сам Козетульский с ним тогда сражался рядом \*;  
Потом был послан в тыл, присматриваться к взглядам  
И настроениям, наладить связь с Литвою,  
И здесь готовил бунт, рискуя головою,  
Шляхетство поднимал, чтоб были наготове,  
И, наконец, погиб от раны в Соплицове.  
Как раз в Варшаву весть об этом докатилась,  
Когда наш славный вождь ему готовил милость:  
В тот день получен был приказ Наполеона  
Герою орден дать почетный легиона.

Так, во внимание все это принимая,  
Я объявляю вам для сведения края  
Как ваш маршалок,— здесь, в повете, самый старший,—  
Что верной службою и милостью монаршей—  
Пан Яцек смыл пятно! Довольно старых счетов,—  
Он снова встал в ряды примерных патриотов.  
А посему, кто впредь, припомнив прегрешенья,  
Обмолвится о нем без должного почтения,  
С тем *gravis notae maculae* \* поступят круто,  
Согласно третьему артикулу статута,  
А так как все теперь равны перед законом,  
То этот пункт ко всем в проступке уличенным  
Относится равно: и к именитым панам,  
И к новым шляхтичам, мещанам, и крестьянам \*.  
Пусть писарь в акт внесет мое постановление,  
А Возный сделает по форме оглашенье.

Хоть орден запоздал,— полученный по праву,  
И после смерти он умножит ксендза славу,

И если не успел украсить он Соплицу,  
Украсит гроб его; потом снесем в каплицу,  
Святой заступнице, повесим пред киотом,  
Как дар ее слуги, его последний вотум».

Тут вынул орден он, покрытый тканью темной,  
И привязал его на крест могилы скромной.  
И увидал народ коленопреклоненный  
Кокарду алую и звездный крест с короной.  
И солнца луч сверкнул на золоте оправы  
Последним отблеском земной предвечной славы.  
И, обращая взор к церковному порогу,  
За душу грешника народ молился богу.  
И, помолясь, сказал Соплица прихожанам,  
Что будет рад гостям и званым и незваным.

А дома, во дворе, недалеко от входа,  
Сидели старики, держа по кружке меда,  
Поглядывая в сад на грядку аверьяна,  
Где, как подсолнечник, блестел шишак улана,  
Пестро украшенный железом золоченым,  
А рядом панночка, как рута, вся в зеленом,  
И глазки-васильки к его глазам воздеты;  
А сзади девушки, неся в руках букеты,  
Нарочно отошли к садовому забору,  
Чтоб только не мешать влюбленных разговору.

Толкуют старики, не расставаясь с кружкой,  
Друг друга потчуют любимую понюшкой.

«Так, так, Протазинька...» — проговорил Гервазий,  
«Так, так, Гервазинька...» — сказал в ответ Протазий,  
«Так, так...» — поддакнули они, при каждой фразе  
Кивая головой. И усмехнулся Возный:  
«Процесс наш кончился, и это шаг серьезный!  
Бывали случаи... Мне памятли процессы,  
В которых видел я и худшие эксцессы,  
Но брачный договор кончал вражду и ропот:  
С Борзобогатыми так помирился Лопот,  
Крепштулы с Купстями, Путраменты с Пиктурной,  
Мацкевич с Олынцом, а пан Квилецкий с Турной...

Что говорить! Литва с Короною, бывало,  
Похуже, чем Судья с Горешкой, враждовала,  
Но, на престол взойдя, взялась за ум Ядвига,  
И сразу, без судов, окончилась интрига\*.  
Добро, коль у сторон девицы есть иль вдовы,  
Уж тут враги всегда на компромисс готовы.  
Всех дольше судятся с родней единокровной,  
А также с церковью, с особою духовной,  
Тут дела никогда не кончить полюбовно.  
Так ляхи с русскими враждуют, всё им тесно,  
Хотя произошли от братьев, как известно;  
Так с крыжаками, встарь, в судах тянулось дело,  
Пока в конце концов не победил Ягелло\*,  
С доминиканцами у Рымши споры длились  
Десятки лет — они б и до сих пор судились,  
Когда б не выиграл процесс их синдик Дымша\*.  
С тех пор и говорят: «Господь сильней, чем Рымша».  
Вот так — твой Нож хорош, да лучше мед, однако!»  
Тут Возный подмигнул и чокнулся с Рубакой.

«Ты прав, — сказал старик, — бывает спор мудреный, —  
Давно меня дивит судьба Литвы с Короной:  
Они, как муж с женой, то мирятся, то спорят,  
Их бог соединил, а дьявол вечно ссорит.  
Ах, брат! Не диво ли, что старому Рубаке  
Увидеть довелось, как к нам пришли поляки!  
Ведь я, мой пан, служил с поляками когда-то,  
И, право, среди них есть дельные ребята.  
Вот был бы жив мой пан па радость честным людям!..  
Эх, Яцек... как он мог! Но хныкать мы не будем.  
Раз Польша и Литва соединились снова,  
Так что там поминать о горьких днях былого!»

«А с Зосей-то, — сказал Протазий, — чем не диво?  
Тадеуш наш просил руки ее счастливо,  
Как ей предсказано! И знаю тех волхвов я...»  
Но Ключник перебил: «Звать нужно панна Софья,  
Она не девочка, и не простой породы,  
А внучка Стольника и дочка воеводы!»  
Протазий продолжал: «Так вот, мой пан, послушай,  
Я расскажу тебе, какой тут вышел случай:

Здесь, в праздник, год назад, мед добрый попивая,  
Сидела челядь. Вдруг над крышею сарая  
Два старых воробья схватились так упорно,  
Что с крыши грохнулись (один был с грудкой черной,  
Другой весь серенький), и ну тузить друг друга!  
И окрестила тут противников прислуга, —  
Горешкой — черного, а серого — Соплицей!  
И только серенький вспорхнет, да изловчится,  
Да клювом черного щипнет или укусит,  
Кричат: «Соплица, бей! Гляди — Горешко трусит!»  
А если черный пух вдруг вырвет вместе с кожей,  
Кричат: «Эй, пан, держись! Не уступай вельможе!»  
Так ждем мы: чья возьмет? Вдруг Зося прибежала  
И ручкой, сжалившись, накрыла их... Сначала  
И в ручке панночки не унимались оба,  
Такая в них была напористость и злоба,  
Но вскоре драчуны утихли и прижались  
К ладони панночки... И бабы зашептались,  
Что, видно, суждено ей помирить два рода,  
Давно враждующих. А не прошло и года,  
Как все исполнилось, что бабы предсказали.  
Хоть правда, что тогда на Графа намекали,  
Не на Тадеуша».

Ответил Ключник строго:

«На божьем свете, брат, чудес творится много.  
Я тоже расскажу о кое-чем занятном,  
Хоть и не столь чудным, а все же непонятном:  
Ты знаешь, что Соплицу я ненавижу люто,  
И если их встречал, то расправлялся круто,  
И ошады не давал... Но этого парнишку  
с детства полюбил. Бывало, бросив книжку,  
адеуш к нам бежит... И как ваш панич дрался!  
Мальчишек всех лупил! И я им любовался  
И подстрекал его, чтоб был еще бесстрашней.  
Все мог он! Голубей достать ли с нашей башни,  
Омелу ли сорвать в лесу с вершины дуба,  
Гнездо ли с крыши снять, — смотреть, бывало, люблю,  
Каким он ловким был и быстрым, словно птица...  
«Счастливирик, — думал я, — как жаль, что он —  
Соплица!»  
Кто б знал, что будет он роднею воеводы!..»

Тут оба, замолчав, опять вернулись к меду  
И лишь по временам роняли равномерно:  
«Так, пан Гервазий, так... Так, пан Протазий, верно...»

У кухни под окном сидела эта пара,  
Откуда дым валил, как будто от пожара,  
И в этих облаках вдруг белизной кристальной,  
Как белый голубок, сверкнул колпак крахмальный:  
Гречеха, что с утра готовился к обеду,  
Просунувшись в окно, подслушал их беседу  
И, протянув друзьям по блюдечку печенья,  
Сказал: «Пспробуйте, вам к меду угощенье,  
Пока я расскажу вам про одну облаву,  
Что чуть не перешла в кровавую расправу,  
Когда, со свитою, забравшись в глушь лесную,  
С Денасовым Рейтан затеял шутку злую  
И жизнью за нее едва не заплатился,  
Да, к счастью, во-время тогда я спохватился...»  
Но повар подошел спросить про сервировку,  
И Войский вынужден был сделать остановку.

Он скрылся. А друзья, подлив медку из жбана,  
Задумчиво жуя, смотрели на улана,  
Что встал пред панночкой, как лист перед травкою,  
И что-то говоря, жал левою рукою  
Ей ручку (правая была на перевязке),  
И панна слушала его, потупив глазки.

«Сегодня кольцами должны мы обменяться...  
Но Софья! Перед тем должны вы мне признаться...  
Да, год тому назад вы были мне готсвы  
Свое согласие дать, но я не принял слова!  
Могли ли, вы тогда ответить мне любовью?  
В то время пробыл я так мало в Соплицове  
И не рассчитывал, что с первого же взгляда  
Мог вам понравиться... Нет, нет, я знал, что надо  
Сначала заслужить любовь... И был готов я  
Расстаться с вами. ждате... Но вы свободны, Софья!  
Вы псвторили мне опять свое согласие...  
Но чем я заслужил, скажите, это счастье?  
Быть может, дядюшке перечить вы боитесь?  
Но если это так... тогда остановитесь!»

Пока свободны вы, пока еще не поздно...  
Я вас прошу со мной поговорить серьезно,  
И помните,— я жду правдивого ответа!  
У сердца своего спросите вы совета,  
Ни дядиных угроз, ни уговоров тетки  
Не слушайте... Да, да, я знаю, как вы кротки!  
Мы можем отложить на время обручение,  
Я получил вчера из штаба назначение  
И остаюсь в Литве инструктором,— ведь рана  
Еще не зажила...»

И отвечала панна,  
Взглянув ему в глаза: «О том, что раньше было,  
Уже не помню я... Мне тетя говорила,  
Что выйду я за вас, а ей я не перечу...»  
И вдруг потупилась: «Вы помните ту встречу  
У дяди в комнате, в ту ночь, когда скончался  
Ксендз Робак? Пан тогда в дорогу собирался...  
Я помню эту ночь... Перед дорогой дальней  
Проститься вы зашли. Вы были так печальны!  
Я слезы видела... И этот час прощальный  
Запал мне в сердце,— я поверила впервые,  
Что вам я дорога... Те слезы, как живые,  
Стояли предо мной, мне наша встреча снилась...  
Мне так вас было жаль! И я за вас молилась  
И думала о вас... Меня же в Вильну вскоре  
С собою увезла супруга Подкоморья.  
Но было грустно мне вдали от Соплицова,  
От дома старого... И мне хотелось снова  
Увидеть комнатку, где в первый день случайно  
Мы с вами встретились... И эта память тайно,  
Как озимь подо льдом, всю зиму в сердце зрела,—  
Признаюсь, я тогда лишь одного хотела:  
Вернуться в этот дом, и что-то мне шептало,  
Что здесь я встречу вас... И что ж? Я угадала!  
И в Вильне, как-то раз, на масляной неделе,  
Мои подружки мне сказали: «В самом деле  
Ты, Зося, влюблена!» Мне было это странно,  
Но если я люблю, то разве только пана...»

Тадеуш, радуясь признанию такому,  
Взяв Зося под руку, заторопился к дому,—

Хотел он комнату увидеть поскорее,  
Где юность он провел и где простился с нею.

Там хлопотал Юрист. Счастливому Болесте  
Хотелось угодить взыскательной невесте,  
И он ей подносил гребенки и флаконы,  
Перчатки, баночки, цепочки и кулоны,  
Невеста же, ища у зеркала совета,  
Была поглощена обрядом туалета.  
Юрист был восхищен, триумфа скрыть не мог он!  
Служанка, взяв шипцы, ей подвивала локон,  
Другая для волос плела цветы живые,  
А третья гладила оборки кружевные.

Пока Юрист сновал, невестой восхищаясь.  
В окно раздался стук: в саду замечен заяц!  
Шмыгнув из лозняка, он скрылся за оградой  
И вот замечен был меж грядками с рассадой.  
Засуетилось все, и шум пошел по дому,  
Теперь уж от борзых не убежать косому!  
Ассессор с Соколом бежит, чтоб выбрать место.  
И Куцего зовет растерянный Болеста.  
Пришли. Гречеха их поставил у ограды.  
А сам с хлопушкою отправился на гряды,  
Ногами топает, свистит, зайдя в репейник.  
Охотники, борзых схвативши за ошейник,  
Тихонько чмокают, показывая знаком,  
Откуда зайца ждать... Не терпится собакам,  
Пригнувшись и дрожа, не чуя сил дожждаться  
Они — как две стрелы, готовые сорваться.  
Вдруг Войский закричал: «Ату!» Косой по грядам  
Шмыгнул на луг; за ним — борзые... ближе, рядом.  
Мгновение... и вот, вгрызаясь в сухожилья,  
На зайце с двух сторон повисли, точно крылья,—  
И заяц закричал, как маленький ребенок.  
Все бросились к нему, ловцы и поваренок,  
Что зайца выследил... Был мертв он. Из-под брюха  
Борзые рвали шерсть, бросая клочья пуха.

Охотники, себя не помня от успеха,  
Погладили собак. Тут нож достал Гречеха,

Отрезал лапки, сел и молвил: «Я по праву  
Награду разделю — травили псы на славу,  
И ловкость их равна, в том я могу поклясться,—  
Достоин Пац дворца, дворец достоин Паца! \*  
Достойны псы ловцов, а псов ловцы достойны,—  
Итак, окончен спор, и вы теперь спокойны.  
Я, как судья, решил: вы выиграли оба.  
Возьмите свой заклад,— отныне мир до гроба!  
Вы больше не должны ни спорить, ни браниться!»  
Друг к другу повернув сияющие лица,  
Охотники сошлись и обнялись, как братья,  
Всю силу чувств своих вложив в рукопожатье.

Нотариус сказал: «Заклад мой — конь и сбруя.  
Еще был уговор, что перстень отдаю я  
В залог судье, на что исправлен акт, как надо.  
Спор кончен, и назад я не возьму заклада!  
Пан Войский, наш арбитр, меня весьма уважит,  
Коль перстень мой возьмет; граверу пусть закажет,  
Чтоб имя вырезал, а также хорошо бы  
Под сердоликом — герб, кольцо высокой пробы.  
Что до коня — он взят милицией военной,  
А сбруя у меня, ее считают ценной,—  
Там всё с иголки — уздечки и попона,  
Седло турецкое, особого фасона,  
На шишке, впереди, узорами камня,  
Атласом выслана подушка для сиденья,  
Как вскочишь на луку, дивишься — неужели  
Сидишь ты на коне, а не в своей постели?  
А пустишься в галоп (при этом пан Болеста,  
Не обходившийся без мимики и жеста,  
Подпрыгнул, показав, как он в седло садится,  
И вдруг затрясся весь, представив, как он мчится)...  
А пустишься в галоп.— чепрак сверкает жаром,  
Как будто золото течет с него, недаром  
Попона вся в парче, отличнейшей работы,  
И стремяна огнем блестя от позолоты!  
• А кнопок на узде не менее двух дюжин,  
Из перламутра все, блестя светлей жемчужин,  
А на нагруднике в оправе прихотливой  
Серп полумесяца, как будто герб Леливы! \*

Слышать, убор добыт в сраженье подгаецком,  
Был им украшен конь под воином турецким.  
Ассессор, этот дар прими с моим почтеньем!»

Ассессор отвечал, довольный подношеньем:  
«В заклад поставил я подаренный Сангушкой  
Ошейник редкостный, прелестный, как игрушка,  
С отделкой яшмовой, на кольцах позолота,  
И шелковый смычок, чья самая работа  
По ценности равна одним камням этим,—  
Его оставить я хотел в наследство детям...  
Их, верно, бог пошлет, ведь я женюсь, ты знаешь.  
Но все ж прошу, скажи, что ты мне обещаешь  
Принять его в обмен на твой чепрак нарядный  
И в знак того, что спор, столь долгий и досадный  
Сегодня, наконец, окончился, по счастью,  
И с честью мы пришли к приятни и согласью!»

Все к дому двинулись, чтоб объявить за пиром.  
Что спор о двух борзых окончен прочным миром.

Хоть после слух ходил, что зайца сам Гречеха  
Тайком растил в хлеву, для вящего успеха,  
Чтоб помирить врагов, но всё держал в секрете  
И обманул ловцов и всех других в повете.  
Уж много лет спустя на кухне Соплицова  
Об этом казачок шепнул другим два слова.  
Желая, видимо, друзей поссорить снова,  
Но не нарушил он их дружбы многолетней —  
Гречеха отрицал, и слух считали сплетней.

Уж в замке собрались все гости для обеда,  
Уж началась вокруг застольная беседа,  
И шум ее живой встревожил замка своды,  
Когда вошел Судья в мундире воеводы,  
Невесту с женихом к столу сопровождал он.  
Тадеуш отдал честь гостям и генералам,  
И Зося, заалев пленительным румянцем,  
Приветствовала всех глубоким реверансом  
(У тетки этому училась с детства Зося).  
На голове ее легли вснком колосья,

И то же платье на ней, в котором с поля  
Несла с зарей свой сноп, чтоб положить в костеле.  
Такой же сноп она для приглашенных сжала  
И каждому цветы с поклоном раздавала,  
Блестящий серп на лбу при этом поправляя;  
И каждый генерал, подарок принимая,  
Ей руку целовал, а Зося приседала.

И так она дошла до середины зала.  
И вот Князевич к ней шаги свои направил,  
Дошел, за локти взял и вдруг на стол поставил.  
И тотчас вокруг нее столпились гости с шумом,  
Любуясь красотой, осанкой и костюмом,  
Герои-воины, не отрывая взгляда,  
Дивились прелести литовского наряда,—  
Им, стосковавшимся по родине опальной,  
Особенно был мил костюм национальный.  
Он вдруг напомнил им дни жизни беспечальной,  
Дни светлой юности. И старые вояки,  
Столпившись у стола, рассматривали элаки,  
Просили девушку взглянуть, иль улыбнуться,  
Головку приподнять, иль боком повернуться,  
Чтоб видно было всем и платье и колосья,  
И выполняла всё застенчивая Зося.  
Тадеуш сам не мог на Зосю наглядеться!

Кто посоветовал невесте так одеться?  
Иль подсказал инстинкт? (Ведь девушке известно,  
Как нарядиться ей, чтоб стать вдвойне прелестной!)  
Но только в первый раз сегодня утром тетка  
Чуть не поссорилась с воспитанницей кроткой  
И все-таки была не в силах отказать ей  
Явиться на обед в простом литовском платье.

Наряд прелестен был своею простотою:  
Зеленый казакин с широкою каймою  
И юбка белая. Над ней корсаж зеленый  
С шнуровкой розовой, как листья вокруг бутона,  
Грудь облегал; у плеч, над зеленью камлота,  
Как крылья бабочки, раскрытые для взлета,  
Сверкали рукава рубахи домотканной,

У кисти собраны. Вкруг нежной шейки панны  
Белела кофты ткань, в ней ленточка продета,  
По цвету схожая с шнуровкою корсета,  
Держала воротник она, взамен застежки;  
В ушах искусные вишневые сережки,—  
Их вырезал Мешок, что славился резьбою  
(Два сердца в пламени, пронзенные стрелою),  
Две нити янтаря вились гирляндой длинной,  
На светлых волосах венок из розмарина,  
Пучок атласных лент в косе, и, как у жницы,  
На матовом челе, средь золота пшеницы,  
Сверкал крестьянский серп, украсив кудри панны,  
Как месяц молодой над головой Дианы.

Пока военные на девушку глядели,  
Полковник-гость достал из модного портфеля  
Бумагу, карандаш и небольшую доску,  
К ней прикрепил листок и приступил к наброску.  
И, оглядев его, внимательный Соплица,  
Узнал в один момент улана-живописца,  
Хоть изменил его лихой мундир уланский  
И черные усы с бородкою испанской.  
Сказал он: «Вижу я, мой Граф ясновельможный,  
Ты даже в патронташ кладешь набор дорожный,  
Чтоб рисовать!» Хоть Граф ушел простым солдатом,  
Но так как снарядил,— все знали, как богат он,—  
Кавалерийский полк, был нынче удостоен  
Награды кесаря как патриот и воин:  
Он был произведен в полковники. С почтеньем  
Поздравил пан Судья соседа с повышеньем,  
Но Граф не слышал,— он был счастлив вдохновеньем.

В зал парочка вошла — Ассессор, страж закона,  
Вчера — слуга царя, теперь — Наполеона,  
Хотя и суток он не пробыл в новом чине,  
В мундире польских войск он щеголял отныне.  
Тянулась сабля вслед, приковывая взоры,  
На новых сапогах позвякивали шпоры,  
Он важно выступал, уверенный в успехе,  
А рядом с женихом шла Тэкля, дочь Гречехи.  
Ассессор уж давно покинул Телимену,

И, чтобы отплатить кокетке за измену,  
Он выбрал Войскую — он знал невестам цену.  
Хоть ей за пятьдесят, да и дурна, пожалуй,  
Зато хозяйка — клад и капитал немалый:  
Деревня от отца получена девицей,  
К тому же кое-что подарено Соплицей.

Все третью пару ждут, уж гости приуныли.  
Хозяин слуг послаал, и слуги доложили,  
Что потерял кольцо на травле пан Болеста  
И ищет на лугу, где бегал, а невеста,  
Хоть помогают ей полдюжины служанок  
И хоть сама она спешит явиться в замок,  
Чтоб не задерживать участников банкета,  
Не может до сих пор окончить туалета;  
Но к четырем часам явиться обещала.





## ЗА БРАТСКУЮ ЛЮБОВЬ

*Последний старопольский кир.— Чудо-сервиз.— Объяснение его фигур.— Его перемены.— Домбровский получает подарок.— Еще о «Перочинном ножике».— Князевич получает подарок.— Первый поступок Тадеуша при вступлении его во владение вотчиной.— Замечания Гервазия.— Концерт из концертов.— Польский.— За братскую любовь.*



от с треском слугами раскрылись двери зала — Пан Войский в них стоял. Лицо его сияло. Он в шапке был и шел, не кланяясь застолью, — Был Войский облечен сегодня новой ролью — Распорядителя. Концом маршальской трости Он указал места, и вот расселись гости

По признаку чинов, заслуг и благородства:  
Как первое лицо, маршалок воеводства,  
Пан Подкоморий, сел на бархатное кресло,  
И справа от него, по знаку, занял место  
Почетный гость Судьи, сам генерал Домбровский,  
Налево сели Пац, Князевич, Малаховский,  
За генералами маршалкова супруга,  
Затем полковники, среди избранного круга

Шляхетских дам; так всем, и молодым и старым,  
Пан место указал, их рассадив по парам.

Почтив гостей, Судья пошел во двор к крестьянам  
И, за огромный стол усевшись там с плебаном  
(Ксендз на одном конце, а на другом Соплиця),  
Стал ждать, пока вокруг застолье разместится —  
Стол был большой, шагов на шестьдесят длиною.  
Тадеуш с Зосею всех потчевали стоя,  
Таков обычай здесь — велит он новым панам  
На первом пиршестве прислуживать крестьянам.

А шляхта и вожди, собравшиеся в зале,  
На редкостный сервиз вниманье обращали.  
В нем ценен был металл и тонкая работа.  
Когда-то, говорят, князь Радзивилл-Сирота  
Велел, чтобы сервиз в Венеции отлили  
По замыслу его, украсив в польском стиле.  
Сервиз захвачен был во время битвы шведской,  
Потом, бог знает, как попал он в дом шляхетский, —  
И вот огромный круг, дививший встарь банкеты,  
Лежал среди стола, как колесо кареты.

Наполнен сливками и сахаром до края,  
Сервиз сверкал, пейзаж зимы изображая,  
Как будто весь в снегу. В середине из варенья  
ернел огромный бор. А по бокам — стрсенья,  
торожки, хутора, овины и избушки,  
Ластянки польские, усадьбы, деревушки,  
А дальше по краям роскошного прибора  
Миниатюрные фигурки из фарфора,  
Все в польских кунтушах, как будто бы актеры  
На представлении. Их позы, жесты, взоры,  
Всё мастер сделал так умно и вдохновенно,  
Что кажется живой немая мизансцена.

«Что тут представлено?» — допытывались гости.  
И Войский, обратив к сервизу кончик трости,  
Сказал (он ждал, пока внесут подносы с водкой):  
«Позвольте вас занять историей короткой,  
Фигурок этих вам открою я значение, —  
Пред вами сеймика старинного теченье:

Советы, выборы, триумф и спор. Не так ли?  
Я верно разгадал смысл этого спектакля.

Вот группа шляхтичей. Должно быть, шляхта эта  
Пред сеймиком сошлась к вельможе для банкета,  
Их ждет накрытый стол. Но пан их не сажает,  
Собрание, разделяясь, о чем-то рассуждает,  
И в каждой кучке свой оратор посредине,—  
Взор поднят, рот открыт, видать по важной мине,  
Что хочет объяснить и доказать собратьям,  
Чтоб знали, за кого идти голосовать им,  
Рекомендует им достойных кандидатов,  
Хоть, видно, не достиг желанных результатов.

А вот еще кружок. Здесь речи красная  
Все жадно слушают,— тот, ухо приближая,  
Покручивает ус, а тот приставил к уху  
Ладонь и рот раскрыл,— гляди, поймает муху;  
Доволен красной, уверенный заране,  
Что эти голоса лежат в его кармане.

Но в третьей группе крик, взволнован заправила.  
Здесь слушателей он удерживает силой  
За пояс, за рукав; а шляхта убегает,—  
Те два нахмурились, а третий угрожает,  
Четвертый рот заткнуть грозит ему, а пятый,  
Узнав, кого крикун им прочит в кандидаты,  
Выходит из себя и, словно бык рогатый,  
Мотает головой,— вот-вот начнет бодаться,  
Тот саблю выхватил, а те спешат убраться.

А этот в уголке, один, как в поле колос,  
Не может он решить — кому отдать свой голос?  
Должно быть, голова от думы заболела,  
И он решил судьбе довериться всецело:  
В отчаянье своем зажмурился страдалец  
И, руки разведя, направил палец в палец,  
Сойдутся — хорошо, подаст аффирмативу,  
А не сойдутся — пусть, положит негативу\*.

Здесь рефектариум монастыря стал залом\*,  
В нем выборы прошли и счет ведется баллам,

На скамьях старшие, а молодые сзади  
Толпятся возле стен, на середину глядя:  
Маршалок там шары из урны вынимает,  
И шляхта молча их глазами пожирает,  
Последний вынут шар, и возный по сигналу  
Избранника назвал взволнованному залу.

Но этот господин, с решеньем не согласный,  
Из кухни выглянул, взъерошенный, весь красный,  
Взгляните, как сердит и как он нос воротит!  
А рот-то как раскрыл,— вот-вот весь зал проглотит!  
Нетрудно угадать, что он им крикнул: «Вето!»,  
Что шляхта на него накинулась за это  
И, сабли выхватив, весь сеймик в беспорядке  
Бежит к дверям, готов к кровопролитной схватке.

А рядом коридор. Взгляните: в отдаленье  
Какой-то старый ксендз проходит в облаченье —  
Сам настоятель к ним *sanktissimum* выносит,  
И мальчик зазвонил и расступиться просит;  
Оружье спрятано, все на колени встали,  
И только кое-где мелькают сабли в зале,  
И ксендз спешит туда, неся дары святые...

Увы, прошли они, те годы золотые,  
Когда шляхетства спор, порывы дикой страсти,  
Смирялись без оков и полицейской власти.  
Пока все верили и уважали право,  
Порядок с волей был, росла с достатком слава!  
Слышать, в иных краях, сверх армий регулярных,  
Немало стражников — констеблей и жандармов,  
Но там, где только меч хранит права народа,  
Не верю, паны, я, чтоб там была свобода!»

Но в табакерку вдруг ударил Подкоморий:  
«Пан Войский, нам сейчас не до твоих историй,  
Занятен сеймик твой, да голод, брат, не тетка,  
Вели-ка дать поесть, закуски просит водка!»

Распорядитель встал, и трость к земле склонилась:  
«Ясновельможный пан. Уж ты мне сделай милость,

Сейчас закончу я, а комкать, право, жалко...  
Вот сеймика финал — здесь нового маршалка  
Выносят на руках. Глядите, — шляхта-хваты  
Бросают шапки вверх, сейчас пойдут виваты!  
А там, избранника триумфом удрученный,  
Идет к себе домой соперник побежденный,  
Жена у дома ждет, томится спозаранок  
И падает без чувств в объятия служанок.  
Ясновельможной ей хотелось называться,  
Да вот вельможною судил господь остаться!»

Тут Войский встал, на трость опершись, как на посох,  
И яства в зал внесли лакеи на подносах.  
Здесь королевский борщ, чем так гордился Войский,  
И редкостный бульон, особый, старопольский,  
В который опустил Гречеха, по секрету,  
Две-три жемчужины и крупную монету  
(Он очищает кровь и укрепляет силы).  
И столько всяких яств — уж их Литва забыла!  
Кто знает их теперь, все эти фигатели,  
Блемасы разные, аркасы и пинели,  
С ингредиентами помухли и брунели!  
А рыба! Вот поднос с дунайской лососиной,  
Вот камбала, балык, севрюга, осетрина,  
Турецкая икра, отборных карпов гряда,  
Форель и, наконец, кухмистерское чудо:  
Огромная, ножом не тронутая щука,  
С хвоста вареная, под соусом из лука,  
От головы кусок поджарен, а середина  
Печеная в золе — не щука, а картина!

Но гости, не спросив, как называлось блюдо,  
И мельком лишь взглянув на поварское чудо,  
За яства принялись с солдатским аппетитом,  
Сопровождая их венгерским и лафитом.

Меж тем большой сервиз, сверкавший белизною,  
Окраску изменил: от духоты и зноя  
Растаяли снега из сахара и пенок,  
И все приобрело совсем иной оттенок.  
Пейзаж изображал другое время года:

Оделась зеленью весенняя природа  
И, словно на дрожжах, взошли в долине элаки,  
Пестреют на лугах подснежники и маки,  
Как золото, блестит пшеница от шафрана,  
И серебрится рожь под слоем марципана,  
Гречиха расцвела из крошек шоколада,  
И белый яблонь цвет украсил зелень сада.

И гости, наслаждаясь едва дарами лета,  
Просили вид продлить — но тщетно! Как планета,  
Сервиз, круговорот извечный совершая,  
Меняет свой пейзаж: уж нива золотая  
Растаяла в тепле, и травы пожелтели,  
И листья, покраснев, с деревьев облели,  
Всё явственней вокруг осенние приметы,  
И вот уже сады нарядные раздеты,  
Исчезли на глазах цветы, листва и птицы.  
И вместо пышных рощ торчат стручки корицы,  
Да лавра веточки, все в пестрых зернах тмина —  
Подобие сосны. И, попивая вина,  
Все принялись срывать и грызть стволы и сучья.  
И не было для них к вину закуски лучше...  
И, обходя сервиз, в восторге от успеха,  
Как победитель, стол оглядывал Гречеха.

Домбровский сделал вид, что изумлен: «Вот чудо!  
Не тени ли, мой пан, китайские? Откуда?  
Иль одолжил тебе своих чертей Пинети?  
Неужто есть еще в Литве сервизы эти?  
И до сих пор еще дают пиры такие?  
Скажи, ведь столько лет не навещал Литвы я!»

Ответил Войский: «Нет, мой пан ясновельможный,  
Здесь нет бесовских чар, ни ворожбы безбожной,  
Наш пир сегодняшний лишь образец обедов,  
Дававшихся в домах почтенных наших дедов,  
Когда страна была счастливой и могучей.  
Вот в этой книге есть рецепт на этот случай.  
Обычай дедовский забыли в наши годы,  
Коснулось и Литвы влияние новой моды,  
Скупятся шляхтичи, не признают избытков,

Не подают ни яств в достатке, ни напитков,  
Венгерского не пьют, напиток пьют бесовский —  
Шампанским потчуют, подделкою московской!  
Так часто на пиры жалеет денег панич,  
А сядет банк метать — и всё продует за ночь!  
Да вот еще одно мне душу омрачает,  
Пускай уж на меня маршалок не пеняет:  
Когда сервиз достал намедни для гостей я,  
Он стал подтрунивать — мол, вот еще затея,  
Сказал, что слишком он велик и старомоден,  
Что этот старый хлам для детской только годен,  
Что посмеются все на этакое диво...

И пан Судья сказал, что это справедливо!  
А все же вижу я, по вашему вниманью,  
Что Войский угодил вельможному собранью.  
Бог весть, когда еще случится в этих стенах  
Нам потчевать таких гостей достопочтенных!  
Я вижу, пан знаток по части угощенья,  
Позвольте ж поднести вам это сочиненье.  
Монархов ли каких вам принимать случится,  
Иль императора, — оно вам пригодится.  
Но прежде выслушать прошу я генерала,  
Где книжица была и как ко мне попала.

Но тут раздался шум, за дверью закричали:  
«Да здравствует Забок!» И вслед за этим в зале  
Явился сам Матвей. Его сопровождали  
Добжинцы и толпа, пришедшая с окраин.  
И за руку к столу подвел его хозяин,  
Пеняя: «Вот так друг! Не ждал я от соседа!  
Ну что же ты пришел почти к концу обеда?»  
Сказал Забок: «С утра позавтракал я сытно.  
Пришел же потому, что было любопытно  
На армию взглянуть, чтоб было все наглядно...  
А что? Ни то ни се... Сказал бы, да уж ладно!  
Меня втокнули в зал, — я ж пятиться не стану...  
А пан за стол повел, ну что ж, спасибо пану!»  
И, смолкнув, кверху дном тарелку опрокинул,  
Как знак того, что сыт, и хмуρο брови сдвинул.

Домбровский, старика попотчевав понюшкой,  
Сказал: «Не ты ли, пан, когда-то был с Костюшкой?»

Тот Матек-Розга? Я знаком с твоею славой.  
И как ты свеж еще! Все тот же воин бравый.  
А столько лет прошло! Не стало жизни целой...  
Смотри, как стал я стар... Князевич наш — весь белый!  
А ты все молодцом, и старость не сгибает,  
И Розга, говорят, как прежде процветает!  
Ты москалей побил? А где ж твои собратья?  
Все родичи твои? Хотел бы повидать я  
Те Бритвы, Ножички, цвет старины батальной,  
Последний образец Литвы патриархальной!»

«Их нет здесь, — отвечал Домбровскому Соплица, —  
Все в княжество ушли, им надо было скрыться,  
Вступили, верно, там под знамя легиона».  
«И точно! — подтвердил начальник эскадрона. —  
Есть в роте у меня усатое страшило,  
Добжинский вахмистр, хват, по прозвищу «Кропило».  
Медведь литовский — так его прозвали в роте,  
Разыщем, если вы немного обождете».  
Сказал поручик: «Есть еще любитель битвы,  
Один головорез, — все знают храбрость Бритвы,  
А с ним еще дружок, — он был правофланговым.  
Два гренадера есть еще в полку стрелковом,  
Добжинские...»

«Но где их верховод старинный, —  
Домбровский перебил, — тот «Ножик перочинный»?  
Мне Войский рассказал об этом атамане,  
Как о каком-нибудь чудесном великане!»  
«Хоть он и не бежал из нашего района, —  
Сказал Гречеха, — все ж скрывался от закона,  
Скитался по лесам и нынче лишь явился.  
Теперь такой храбрец и вам бы пригодился  
И, верно бы, сменял усадьбу на походы,  
Когда бы старика не одолели годы.  
Да вот он!»

Войский встал и указал рукою  
На двери. Там, в сенях, над пестрою толпою,  
Как полная луна, у самого порога  
Блестела лысина Рубаки-Козерога,  
Нырря меж голов и кланяясь народу,  
Он двигался в толпе и, выйдя на свободу,

Сказал:

«Пан гетман наш, иль генерал,— однако  
Вопрос не в титуле,— явился я, Рубака,  
На зов твой, прикажи, мой пан, я жду лишь знака,  
И Ножик мой со мной. Не за свою оправу,  
За ратные дела себе стяжал он славу,  
Такую, что она дошла до генерала...  
О Ножичке моем не раз Литва слыхала!  
Умей он говорить, он рассказал бы много  
Об этой вот руке, что, милостию бога,  
Служила много лет горешковскому роду  
Как служит по сей день отчизне и народу.  
И редко писарь наш чинил так ловко перья,  
Как головы мой Нож,— не счел бы их теперь я!  
А уши и носы! И всё же ни единой  
Зазубрины, клянусь, не знал мой Перочинный!  
И нет на нем пятна — врагов не бил он с тыла,—  
Открытая война иль встреча силы с силой,  
И только раз один — господь его помилуй! —  
Он безоружного убрал, но, верьте чести,  
Pro bono publico — а вовсе не из мести!»

«А ну-ка, покажи,— сказал, смеясь, Домбровский,—  
Вот нож для палача! И впрямь прибор чертовский!»  
И меч он осмотрел, дивясь его размерам,  
И передал его соседям-офицерам.  
Брались за рукоять лихие командиры,  
Но ни один из них не смог поднять рапиры.  
Все стали говорить, что, будь бы здесь Дембинский,  
Он с легкостью б взмахнул рапирой исполинской.  
Лишь эскадрона шеф, лихой силач Дверницкий,  
Да взводный командир, поручик, пан Ружицкий\*,  
Могли с трудом поднять железную дубину,  
Так меч переходил из рук, от чина к чину.

Князевич, что в полку и ростом выделялся  
И силою своей, из-за стола поднялся,  
Взял богатырский меч и поднял, как былинку,  
Встав в позу, словно он готов был к поединку.  
Он фехтованья стал припоминать основы,  
«Насечку», «мельницу», «удар прямой», «крестовый»,

«Наотмашь», «краденый» и выпады терцетом —  
Все то, что изучал, когда он был кадетом.

С улыбкой генерал проделал ряд движений.  
И, прослезясь, упал Рубака на колени:  
«Отлично, генерал! Так бились мы когда-то,  
Клянусь, я узнаю в тебе конфедерата!  
Удар Пулавского! А это выпад Савы! \*  
Так кто ж тренировал тебя для нашей славы?  
Наверно, сам Забок! Ведь это вот движенье,  
Ей-богу, не хвалюсь, мое изобретенье!  
Известен мой удар лишь одному застянку,  
И именем моим он назван там: «Мопанку»!  
Так чья ж рука тебе мой выпад показала?»  
И тут старик вскочил и обнял генерала.  
«Теперь спокойно я глаза свои закрою —  
Любимое дитя не будет сиротою!  
Не смерть страшна, — старик о жизни не жалеет,  
А страшно, что умру и Нож мой заржавеет.  
Но будет он спасен! Мой пан ясновельможный,  
Брось эти вертела, шпажонкою ничтожной  
Не оскорбляй себя! Такому командиру  
Пристало в руки взять шляхетскую рапиру!  
К твоим ногам кладу я Ножик перочинный.  
Он в жизни был мне всем, а век я прожил длинный,  
Господь мне не судил обзавестись семьею,  
И верный Нож мой стал мне другом и женою.  
Ни ночью и ни днем я с ним не расставался.  
С ним рядом засыпал и рядом просыпался.  
А как состарился, простился с рукоятью,  
Как заповедь еврей, повесил над кроватью  
И думал, что его придется взять в могилу...  
И как же счастлив я, что он тебе под силу!»

Смеялся генерал, но втайне был растроган.  
«Коллега, — он сказал, — подумал ты о многом,  
Да только позабыл, что, жертвуй женою,  
Останешься навек вдовцом и сиротою.  
Но чем за этот дар тебя вознагражу я?  
Смогу ли чем-нибудь утешить сироту я?»  
Обиделся старик: «Что ж я — Цибульский, что ли,

Что проиграл жену в марьяж солдатской голи,  
Как песня говорит? С меня довольно, право,  
Что Нож мой на земле еще блеснет со славой,  
Что родине еще послужит Перочинный!  
Но помни, генерал,— темляк тут нужен длинный,  
А будешь сечь,— бери двумя руками, с уха,  
Тогда и рассечешь от головы до брюха».

Князевич принял дар, но свой мундир парадный  
Украстить им не мог,— был спрятан меч громадный.  
Что стало дальше с ним, рассказов есть немало,  
Но ни одна душа всей правды не узнала.

Домбровский ласково к Забоку обратился:  
«Ты, кажется, не рад, что полк сюда явился?  
Ты хмуришься, молчишь, не пьешь токай душистый...  
Иль ты не рад орлам? Не слышишь, как горнисты  
Играют под окном костюшковскую зорю?  
Не счастлив, что пришел конец слезам и горю?  
Я думал, если уж клинка ты не отточишь,  
Так хоть с коллегами ты чокнуться захочешь  
За императора и за надежды Польши!»

«Ха! — пробурчал Матвей.— Слышал и знаю больше!  
Но тесно двум орлам в одном гнезде, ей-богу,  
А милость барская, известно,— до порогу.  
Наполеон — герой и нынче в полной силе!  
Да вот Пулавские, я помню, говорили,  
Смотря на Дюмурье \*, что нашей Польше нужен  
Герой-поляк, пока народ не офранцужен.  
Ни итальянцев нам не надо, ни французов!  
Земляк нам нужен: Пяст, Ян, Матек или Юзеф.  
Вот войско польское! А кто в нем? Фузилеры,  
Да как их там еще? саперы, гренадеры,—  
Тут польских слов и нет, все больше по-немецки!  
Да разве их поймет простой солдат шляхетский?  
Наверно, в войске есть и турки-янычары,  
Или схизматики, иль нехристи-татары!  
Сам видел, как они хозяйничают в селах,  
Как обижают баб и тащат все в костелах...

Француз идет в Москву! Далекая дорога,  
Коль император их собрался в путь без бога!  
Слыхать, уж отлучил синклит Наполеона...»  
И, размочив сухарь в тарелочке бульона,  
Он стал его жевать, задумавшись глубоко.

Уж Подкоморий стал коситься на Забока,  
Роптала молодежь, был спор уже в разгаре,  
Но тут-то объявил Судья о третьей паре.

Вошел Нотариус, но если б не назвался,  
То вряд ли кто-нибудь об этом догадался!  
До нынешнего дня кунтуш носил Болеста,  
Но нынче жениху капризная невеста  
Велела фрак надеть, в угоду властной моде,  
Хоть этот модный фрак претил его природе:  
Как проглотив аршин, вытягивая шею,  
Забавный, как журавль, шагал он рядом с нею,  
Не в силах побороть неловкости и муки,  
И все не мог решить, куда бы спрятать руки.  
За пояс бы заткнуть, да пояса-то нету!  
Заметил, что себя он гладит по жилету,  
Смутился, стал красней ошпаренного рака,  
И втиснул две руки в один кармашек фрака.  
Он как сквозь строй прошел под шепот всенародный,  
Как непристойности, стыдясь одежды модной,  
Завидел Матека и вздрогнул от боязни.

Матвей с Болестой жил всегда в большой приязни.  
Но тут он так взглянул на бедного Болесту,  
Что тот остолбенел и, прячась за невесту,  
Стал фрак застегивать дрожащими руками,  
Как будто бы боясь, что страшными глазами  
Старик его сорвет. Но Кролик, возмущаясь,  
Лишь буркнул: «Дурень», встал и вышел, не прощаясь,  
А там сел на коня и поскакал в застянок.

Меж тем, разряжена при помощи служанок,  
Сиянье красоты с улыбкой расточая,  
Шла с женихом к столу невеста молодая.  
Прическа и наряд... но нет, при всем желанье,

Мы это описать пером не в состоянии,  
Здесь мы бы кистью лишь с трудом запечатлели  
Все эти кружева, оборочки, бретели,  
И взгляд, и цвет лица, достойный акварели.

Граф увидел ее и вспыхнул, как ракета.  
Он шпагу стал искать — он требовал ответа!  
«Ты ль это? Иль меня обманывает зренье?  
При мне ты руку жмешь другому без смущенья?  
О вероломная! Я вижу лживый взгляд твой!  
Забыла ли, что ты себя связала клятвой?  
А я, глупец! Зачем, вдали родного края,  
Так свято на груди хранил твои цвета я?  
Но знай, — соперник мой искупит оскорбленье  
И через мой лишь труп пойдет на обрученье!»

Мужчины встали с мест, Нотариус смутился...  
Пан Подкоморий сам их помирить решился.  
Но Графа в сторону невеста отозвала:  
«Ведь он же мне не муж! Не все еще пропало!  
Коль против вы, чтоб я была женой другого,  
Так объявите мне... Но только дайте слово,  
Что нынче же со мной согласны обвенчаться,  
А от Болесты я могу и отказаться!  
Скажи же: любишь ли?» И Граф взглянул на пани.  
«О женщина! — сказал. — Ты странное создание!  
Насколько ты была когда-то поэтична,  
Настолько ты теперь, прости мне, прозаична!  
Ведь брак есть только цепь, — она терпеть обяжет,  
Но не сердца, увы, а только руки свяжет!  
Для истинной любви не надо нам признаний,  
Есть обязательства без клятв и обещаний!  
У пламенных сердец в разлуке ярче пламя,  
Они, как две звезды, беседуют лучами!  
Быть может, к солнцу так земля стремится вечно  
И месяцу она мила так бесконечно  
Лишь потому, что путь, начертанный по кругу,  
Не позволяет им приблизиться друг к другу!»  
И пани вспыхнула: «Но я ведь не планета!  
По божьей милости я женщина, и в это  
Давно бы уж пора тебе, мой милый, вникнуть!»

Довольно! Если ты еще посмеешь пикнуть,  
Чтоб как-нибудь раздор посеять между нами,  
Так я в тебя вцеплюсь вот этими ногтями!»  
«Не буду,— Граф сказал,— не стоишь ты страданий!»  
Презрительно взглянул и отошел от пани.  
А чтобы отомстить и сплин развлечь отчасти,  
Избрал маршалка дочь предметом новой страсти.

Чтоб ссору прекратить, Гречеха, в назиданье,  
Решился продолжать свое повествованье  
Про Налибокский лес, про встречу там с кабаном  
И злополучный спор Денасова с Рейтаном.  
Но гости, съев пломбир, решили освежиться  
И вышли все во двор взглянуть, что там творится.

А там уж ходит жбан, как чаша круговая,  
И музыка гремит, на танцы приглашая.  
Зовут Тадеуша, но нет его на месте,  
Он нечто важное спешит сказать невесте:

«Я, Зося, твоего хочу спросить совета...  
Уж дяде я сказал, и он одобрил это:  
Ты знаешь, что теперь хозяин деревень я,  
Но это ведь твои законные владенья,  
И так как всех крестьян считаю я твоими,  
Не смею без тебя распоряжаться ими.  
Теперь, когда Литва воспряла к жизни новой,  
Какой же мы крестьян порадуем обновой?  
Что даст им родина? Хозяина другого?  
Конечно, я бы зла не причинил крестьянам,  
Но если я умру? Кто будет новым паном?  
Ведь я солдат, и штаб прислать мне может вызов...  
Я — человек, и сам боюсь своих капризов...  
Не лучше ль властью нам пожертвовать исконной,  
Чтоб оградить крестьян опекою закона?  
Дадим свободу им — свободны ж мы с тобою!  
Пускай владеют впредь наследственной землею,—  
Не получили ли они на это право,  
Обогащая нас своей страдой кровавой?  
Но прежде ты должна обдумать это строго:

Мы станем с дарственной беднее и намного..  
Не избалован я и бережлив был с детства,  
Но ты знатна, тебе нужны большие средства,  
Ты сызмальства еще привыкла жить в столице,—  
Захочешь ли вдали от света поселиться,  
Весь век в деревне жить?»

И Зося отвечала:

«Я женщина, дела решать мне не пристало.  
Ты будущий мой муж, и ты смущен напрасно,  
Ты сам решай, а я заранее согласна!  
Ты говоришь, бедней мы станем,— ну так что же?  
Зато ты будешь мне тогда еще дороже!  
О знатности моей я знаю слишком мало...  
Я бедной сиротой к Соплицам в дом попала  
И выросла, как дочь, воспитанная паном,  
И замуж выхожу, их милостью, с приданым.  
Деревни не боюсь. От суеты столичной  
Давно отвыкла я, мне эта жизнь привычней.  
Поверь, мне курочки, индюшки и цыплята  
Милей, чем Петербург, где я жила когда-то.  
И если без людей порою я скучала,  
То эту зимой наверное узнала,  
Что город мне не мил: вдали родного края  
Как тосковала я, деревню вспоминая!  
Из шумной Вильны я стремилась в Соплицово.  
А труд не страшен мне — я молода, здорова,  
По дому хлопотать с ключами мне привычно  
Увидишь, как начну хозяйничать отлично!»

Но Ключник помешал счастливым обрученным.  
Он, к Зосе подойдя, сказал ворчливым тоном:  
«Уж мне сказал Судья, что затевает пани!  
Но в толк я не возьму, при чем же тут крестьяне?  
Все это кажется мне выдумкой немецкой.  
Свобода испокон была у нас шляхетской!  
Произошли мы все, конечно, от Адама,  
Но, говорят, мужик произошел от Хама,  
От Иафета — жид, а шляхтичи — от Сима,  
Отсюда наша власть вовеки нерушима\*.  
Хоть правда, что плебан нам говорит с амвона,  
Что это было так еще во время оно,

Что этого Христос не признавал закона:  
Он родился в хлеву, хоть был и царской крови,  
Среди евреев рос и потому сословий  
Не различал... Пусть так, когда нельзя иначе,  
Как ваш слуга, готов смириться я, тем паче,  
Что с пани Софьей вы пришли уже к согласью.  
Могу ли спорить я с ее хозяйской властью?  
Но делайте умно, чтоб был пример достойный,—  
Не так, как при царе, когда пан Карп покойный  
Освободил крестьян, а вышло все впустую,  
И подать наложил на них москаль тройную.  
По-моему, тут есть единственное средство:  
Крестьянам вы должны пожаловать шляхетство,  
И дать свой герб,— пускай живут да славят бога,—  
Одним Леливу дать, а прочим Козерога.  
Тогда и Ключник ваш поклонится крестьянам,  
Понеже дан им герб, как настоящим панам.  
Сейм это утвердит...

А пан пусть не боится,  
Что землю им отдаст и тут же разорится.  
Нет, не допустит бог такой плачевной доли,  
Чтоб внучку Стольника унизили мозоли!  
В подвале замка есть один ларец дубовый,  
В котором много лет лежит сервиз столовый,  
А кроме этого, запястья, ожерелья,  
Оружье ценное и прочие изделия.  
Горешковским слугой доныне сохраненный,  
Ларец принадлежит наследнице законной.  
Я сам его зарыл и как зеницу ока  
Берег от москалей и от Соплиц, до срока.  
Еще, на черный день, храню мешок с деньгами,  
Накопленный трудом и панскими дарами,  
Я думал, замок нам присудят как наследство  
И подновить его хотел на эти средства.  
Теперь все это вам в хозяйстве пригодится...  
Итак, хочу тебя просить я, пан Соплица,  
Дозволь у пани мне под старость поселиться  
И третье вынянчить Горешков поколение.  
Я сына научу владеть мечом в сраженье...  
А будет сын! Войны не долго дожидаться,  
А это верный знак, что мальчики родятся».

И только произнес слова свои Гервазий,  
Как к Зосе подошел торжественный Протазий,  
Полез за пазуху и вынул панегирик,  
Что сочинил в стихах один поручик-лирик,  
Который некогда писал в столице оды,  
Потом надел мундир, но битвы и походы  
Не охладили пыл лихого беллетриста.  
И Возный, прочитав из виршей строчек триста,  
Дошел до слов: «О ты, чья красота и младость  
Способны вызывать мучительную радость,  
Кому достаточно явиться в стан Беллоны \*,  
Чтоб копья рухнули, красою пораженны!  
Ты Марса покори рукою Гименея  
И с гидры Зла сорви мятущегося змея!...»  
И, тайне тяготясь поручика стихами,  
Жених с невестою ответили хлопками.  
Но тут-то встал плебан и объявил крестьянам,  
Что вольною они пожалованы паном.

И бросились в слезах счастливые крестьяне  
К ногам Тадеуша и милостивой пани:  
«Да наградит вас бог своею благодатью!»  
Тадеуш отвечал: «Да здравствуют собратья!»  
Домбровский крикнул: «Пью за здравие народа!»  
Все крикнули: «Виват! Да здравствует свобода!  
Да здравствуют вожди, народ и все сословья!»  
На сотни голосов гремели славословья.

Лишь Бухман поспешил счастливых озадачить:  
Хотел он кое в чем проект переиначить  
И предложил сперва комиссию назначить,  
Чтоб выработать план...

Но так как все спешили,  
Вниманья на совет его не обратили —  
Уж пригласили дам на танец кавалеры:  
Солдаты, шляхтичи, крестьяне, офицеры;  
Крик грянул: «Музыку!» И генерал почтенный  
Уланам приказал позвать оркестр военный.  
Но пан Судья просил тихонько генерала:  
«Велите трубачам не подавать сигнала!  
Сегодня я, мой пан, справляю обрученье

Племянника, а есть у нас обыкновенье  
Под нашу музыку справлять в деревне свадьбу.  
Уж музыканты, пан, с утра пришли в усадьбу,—  
Вон хмурится скрипач, а там, из-за сарая,  
Кобзарь глядит на нас, глазами умоляя,  
Коль я их отошлю, бедняги обрежутся,  
Да и крестьяне все из круга разбегутся...  
Пускай они начнут, оркестром насладиться  
Еще успеем мы!» И, поклонясь, Соплица  
Дал знак.

И вот скрипач, протиснувшись в середку,  
Сжал гриф и, инструмент приставив к подбородку,  
Галопом, как коня, пустил смычок по струнам,  
За ним волынщики, как чайки по бурунам,  
Легко задвигали, как крыльями, плечами  
И стали дуть в меха — казалось, над гостями  
Вот-вот они взлетят, — с натуги багровея,  
Одутловатые, как сыновья Борея \*.  
Лишь не было цимбал.

Хоть цимбалистов звали,

При Янкеле они играть не пожелали  
(А Янкель с осени куда-то тайно скрылся  
И только с армией на днях домой явился).  
Известно было всем, что местным музыкантам  
Сравниться трудно с ним искусством и талантом.  
Все просят Янкеля участвовать в веселье,  
Сыграть, а он твердит, что руки загубели,  
Что цимбалистов здесь и без него не мало,  
Что он играть отвык. Но Зося подбежала,  
И, чтобы сократить минуты проволоочки,  
Еврею подала с поклоном молоточки  
И, глядя грудь его и бороду, взмолилась:  
«Пожалуйста, сыграй! Ах, Янкель, сделай милость!  
Иль ты забыл, какой справляю нынче день я?..  
Ведь ты мне обещал играть на обрученье!»

Корчмарь ее любил. И головой кивнул он,—  
Тут вывели его и сбегали за стулом,  
И кто-то положил цимбалы на колени,  
И он глядел на них с улыбкой, в умиление.

Так старый ветеран, вновь призванный в солдаты,  
Глядит на пыльный меч, что со стены внучата  
Бегут снимать — его давно не брал он в руки,  
Но знает, что былой не позабыл науки.

Вот, на колени встав, два цимбалиста юных  
Проверили лады, легко брэнча на струнах,  
И, молоточки взяв привычными руками,  
В молчанье ждет старик с закрытыми глазами.

Вот начал... Выбил трель и вдруг движеньем дивным  
По струнам пробежал обрушившимся ливнем,  
Но молоточки снял и поднял кверху оба,  
И стало ясно всем, что это только проба.

И снова опустил. И вот, лаская ухо,  
Запели струны в лад, так тихо, словно муха  
Коснулась их крылом... Артист в самозабвенье  
Глядел на небеса, как будто вдохновенья  
Оттуда ждал. Но вдруг взглянул на струны гордо  
И, руки опустив, два мощных взял аккорда...  
Все замерли.

И звук усиливал маэстро.

Он был похож на гром турецкого оркестра,  
Дробь бубна и литавр звучала, нарастая,  
И грянул полонез, напомнив Третье мая\*.  
Победно понеслись ликующие звуки,  
Уж молодежь спешит сплести для танца руки,  
И грезят старики под трели и раскаты  
О временах, когда сенат и депутаты  
Весною, в Ратуше, в большом парадном зале,  
Согласье короля с народом отмечали,  
Когда под музыку запели славословья:  
«Да здравствует король, народ и все сословья!»

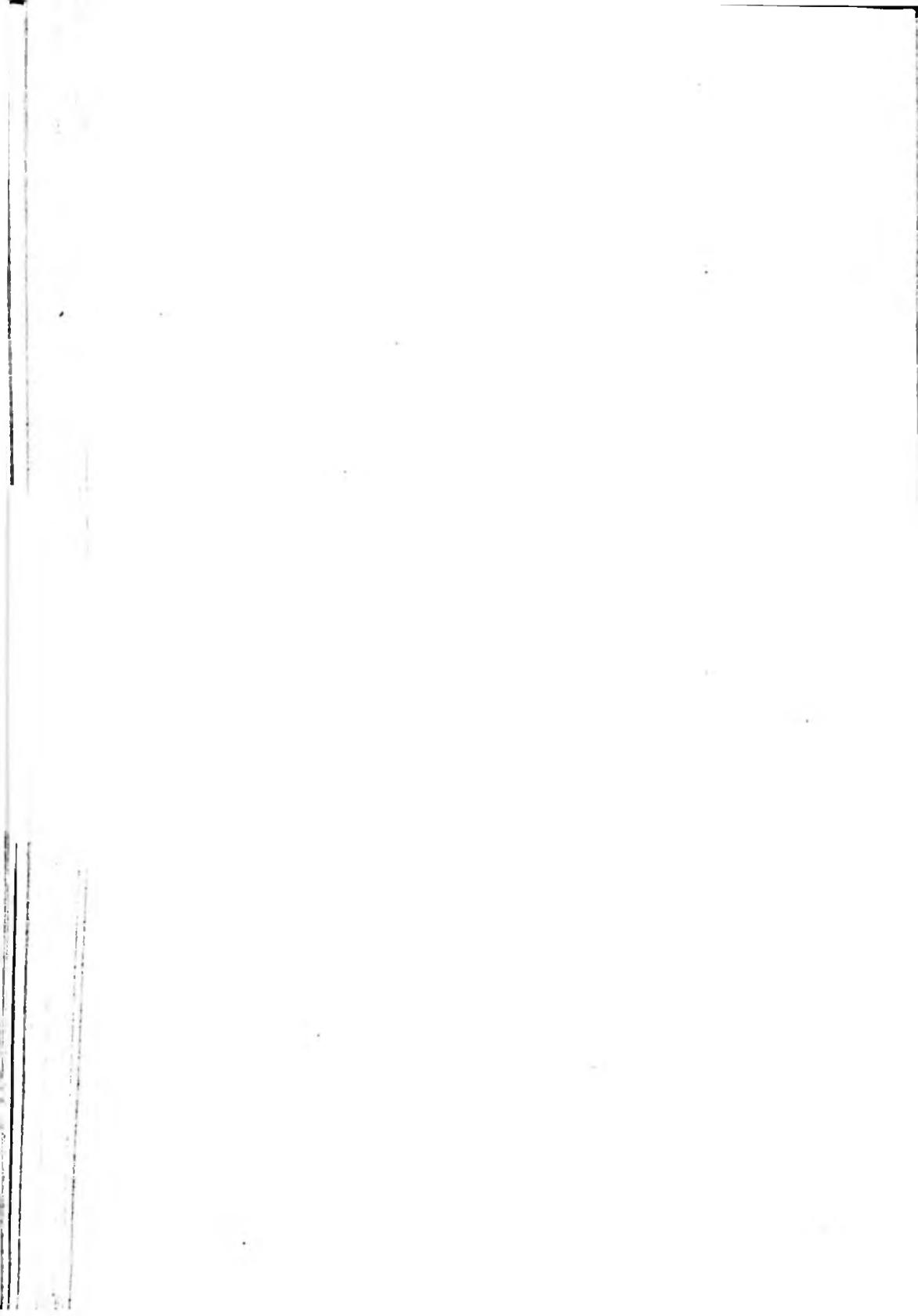
Артист ускорил темп и вдруг, усилив звуки,  
Издав фальшивый тон, как резкий свист гадюки,  
Как скрежет по стеклу кремня или металла,—  
И дрожь предчувствия по спинам пробежала.  
Встревожился народ, и каждый удивился:  
Фальшивит ли струна? Иль сам маэстро сбился?

Нет, не ошибся он! Нарочно для чего-то  
Гармонию старик разбил фальшивой нотой  
И продолжал играть, все время повторяя  
Пронзительный аккорд, смесь скрежета и лая.  
Но Ключник разгадал, закрыл лицо, кривится:  
«Иль не узнали вы? Да это ж Тарговица!»  
Вдруг лопнула струна, раздался свист зловещий...

А молотки бегут, еще быстрее и резче,  
По примам, по басам... В мотивы полонеза  
Ворвался трубный клич и грозный ляг железа,  
От пенья к рокоту, от завыванья к свисту  
Звучит военный марш... Война, атака, приступ,  
Стенания детей.. Так удалось артисту  
Штурм Праги показать, картину страшной брани,  
С такою горечью, что плакали крестьяне...  
Но старый Янкель вдруг хор голосов унылых  
Ударом заглушил, как будто в землю вбил их.

И не успел народ перевести дыханья,  
Раздался шелест струн, как тихие стенанья,  
Так мухи, вырвавшись из пелены паучьей,  
Бессильные, жужжат... Но в стройный лад созвучий  
Соединяются разрозненные тоны,  
Связав мелодией аккордов легионы,  
Взлетают все быстрее стремительные руки,—  
И вот уже звучат знакомой песни звуки:  
О том, как брел солдат, вдали родного края,  
Один, в глухом лесу, от раны умирая,  
Как он у ног коня упал, утратив силу,  
И как копытом конь стал рыть ему могилу.  
Та песня старая мила сердцам поляков,  
И вспомнили бойцы костры ночных биваков,  
Как над могилою отчизны, на прощанье,  
Запели эту песнь и с ней пошли в изгнанье.  
И вспомнили они своих скитаний годы,  
По суше, по морям, среди бурь и непогоды,  
Среди чужих людей... И вспомнили солдаты,  
Как польской песни звук был дорог им когда-то,  
Как коротали с ней дорог военных мили...  
Задумались бойцы и головы склонили.





Но вздрогнули... Старик, игры не прерывая,  
Вдруг изменил мотив, и музыка другая  
Внезапно полилась. Меняя лад за ладом,  
На струны он взглянул повеселевшим взглядом  
И, на момент прервав течение созвучий,  
Обрушил с силою удар, такой могучий,  
Что показалось всем — струна трубой запела,  
Победный грянул марш: «Гей! Польшка не сгинела!  
Домбровский наш, домой!» И тут народ литовский  
В восторге закричал: «Да здравствует Домбровский!»

Казалось, потрясли артиста эти звуки...  
Он бросил молотки и поднял кверху руки,  
Ермолка, соскользнув, у ног его валялась,  
Седая борода по ветру развевалась,  
В глазах блестел огонь, пылали ярко щеки...  
Но вот очнулся он и, сделав вздох глубокий,  
Со стула встал, нашел Домбровского глазами,  
Закрыв лицо рукой и молвил со слезами:  
«Тебя ждала Литва во времена лихие,  
Как иудеи ждут пришествия Мессии!  
Ты был нам возвещен простым литовским людом  
И был предшествуем великим божьим чудом!  
Живи, воюй, ты наш! Ты нас ведешь к победам!..»  
Еврей был, как поляк, своей отчизне предан.  
Тут руку старику Домбровский подал с чувством,  
И Янкель к ней припал с волнением безыскусным.

Но польский начался. Танцоры в полном сборе.  
Откинув рукава, выходит Подкоморий,  
Покручивает ус — как видно, пан в ударе —  
И, Зосю пригласив, встает с ней в первой паре.  
Вот парами за ним построились танцоры,—  
И польский он повел, приковывая взоры.

Мелькают сапоги из красного сафьяна,  
Гремит палаш, блестит богатый пояс пана,  
Идет он медленно, с какой-то важной ленью,  
Но можно угадать по каждому движенью,  
Любую мысль его, желанье и затею:  
Вот, к даме обратясь, склонился перед нею,

Как будто на ушко шепнуть ей хочет что-то,  
Но та не слушает, стоит в полоборта,  
Он кланяется ей, сорвав конфедератку,  
И дама, оценив лукавую повадку,  
Изволила взглянуть, хоть и хранит молчанье,  
И пан благодарит улыбкой за вниманье.  
И, на соперников взглянув надменным взглядом,  
С довольным видом он шагает с нею рядом,  
Конфедераткою играет: то вдруг скинет,  
То перьями тряхнет, то набекрень надвинет,  
И, видя на себе завистливые взоры,  
Решает ускользнуть с подругой, но танцоры  
Шагают по пятам. И вот галантным жестом  
Он просит их пройти иль поменяться местом,  
Отходит в сторону, меняет направленье,  
Соперников ввести пытаясь в заблужденье,  
Но снова за спиной назойливые пары.  
И он грозит им, гнев не сдерживая ярый,  
И, словно говоря: «Сейчас вам покажу я!»,  
Схватившись за палаш, как будто атакуя,  
Идет на них, шаги внезапно ускоряя,  
И расступается пред ним толпа густая,  
Но снова, гнев его оставив без вниманья,  
Стремится вслед за ним.

Повсюду восклицанья:

«Учитесь, молодежь! Быть может, он последний,  
Кто польский так ведет!» Все гуще строй передний,  
Круг зрителей растет, горят глаза и лица,  
Пред ними движется танцоров вереница,  
Свивается в кольцо, скользя, как змей громадный,  
Как чешуей, блестит одеждою нарядной,  
На фоне зелени пестреют в ярком блеске  
Жупаны, кунтуши, запястья и подвески,  
Мундиров золото, девичьих лиц румянец...  
И загремел «виват», сопровождая танец.

И только одного Добжинского капрала  
Не веселил оркестр, ничто не развлекало.  
Мешок стоял в углу, на всех и всё сердился  
И вспоминал, как он за Зосей волочился,  
Как ей корзинки плел, носил к ней под окошки

Букеты и венки, как делал ей сережки...  
Неблагодарная! Она его чуждалась!  
Хоть от отца ему за это доставалось,  
Он все ж бежал туда, чтоб подглядеть украдкой,  
Как выйдет Зося в сад ухаживать за грядкой,  
Часами в конопле сидел напротив окон  
И ждал, когда мелькнет рука иль светлый локоп...  
Жестокая! И он, на круг не бросив взора,  
Насвистывая марш, поплелся вдоль забора  
К палаткам, где в марьяж играли ветераны,  
Надеясь, что тоску и боль сердечной раны  
Помогут заглушить азарт игры и пьянство...  
Так было велико капрала постоянство.

А Зося кружится,— так весело плясать ей!  
Забравшись вглубь двора, в своем зеленом платье,  
Украшена цветов гирляндой разноцветной,  
На фоне зелени она едва заметна,  
Легко руководя колонны направленьем,  
Как вещей серафим ночных светил возвращеньем.  
Найти ее легко: обращены все взгляды  
И руки к ней, все ждут с ней танца, как награды.  
Она уже с другим — маршалка оттеснили,  
Домбровский в паре с ней. Но и его сменили,  
Не долго тешился, другой добился чести,  
И новый кавалер уже спешил к невесте,  
За ним еще один, оспаривая милость...  
Вдруг пред Тадеушем невеста очутилась  
И тут уже, боясь разлуки с нареченным,  
Не стала танцевать и, выйдя из колонны,  
Пробралась с ним к столу, гостям налить бокалы.

Уж солнце спряталось. Заката отблеск алый  
На небе догорал, и облаков громада,  
Порозовев в лучах, блестела — здесь, как стадо,  
Лежащее в траве, а там, вдали, как стая  
Пролетных птиц, и лишь на западе, у края  
Темнеющей земли, над темной гущей елок  
Светилось облако, как исполинский полог,  
Повисший складками над пеленой лазурной,  
В середине золотой, а по краям пурпурный.

Поймав последний луч, оно еще горело,  
Но вскоре и оно, погаснув, побледнело.  
И солнце сонное, взглянув на землю вяло,  
Склонило голову — оно уже дремало.

А шляхта всё пила под мерный звон бокалов  
За императора, за славных генералов,  
За Зосю и за всех сегодня обрученных,  
Потом за всех гостей, на свадьбу приглашенных,  
За всех друзей, — за тех, кто жив и кто в могиле,  
За преданных друзей, чью память свято чтители!

И я там побывал и пил вино с гостями,  
Что видел и слышал — все это перед вами.



## Э п и л о г

**О** чем еще в Париже на бульварах  
Мечтать, устав от лжи, проклятий ярых,  
Бесплодных споров, тайных подозрений,  
Интриг и запоздалых сожалений?

О, горе нам, бежавшим на чужбину  
В суровую для родины годину!  
Куда б ни шли — шел страх за нами всюду,  
Мы в каждом встречном видели Иуду,  
Сжималась цепь, как будто бы хотела  
Скорее душу вытряхнуть из тела...

Мир был к нам глух — ему какое дело?  
Нас настигал стон родины опальной,  
Как колокола голос погребальный.  
Все проклинали пленников унылых,  
Враги мечтали видеть нас в могилах,  
И небо нам надежды не сулило...  
Нам люди, свет, мы сами — все постыло,  
И, разум потеряв, мы не услугу,  
А клевету и смерть несли друг другу!

Хотел я пролететь ничтожной пташкой,  
Минуя гром и вихрь години тяжелой,  
И вспоминать вдали от непогоды  
Родимый дом и отрочества годы...

Одну отраду нам дала судьбина:  
Сесть в сумерках с друзьями у камина  
И, затворясь от жизни суетливой,  
Припоминать часы поры счастливой,  
Отечество — одну любовь литвина...

Но о слезах, о крови, в дни бесправья  
Заливших Польшу милую, о славе,  
Которая еще не отзывалась,  
О них помыслить духа не хватало!..  
Когда народ страданье истерзало,  
При виде слез и этой смертной муки  
И мужество заламывает руки...

Там в трауре друзья мои и братья,  
Там самый воздух тяжек от проклятья,  
Не только мысль, — там вздрогнет, пролетая,  
Сам буревестник — птица грозовая!

О Польша-мать! Свежа твоя могила!..  
И говорить нам горе запретило...

Где те уста, которые нашли бы  
Сегодня это слово утешенья,  
Что раздробит гранит оцепененья,  
С сердец поднимет каменные глыбы,  
Откроет веки, чтоб из глаз могли бы  
Пролиться слезы?.. Нет его на свете —  
Такого слова надо ждать столетья.

Когда-нибудь... когда над полем брани  
Умолкнет мести львиное рычанье  
И трубы отгремят; когда народу  
Врагов стенанья возвестят свободу  
И польские орлы в огнях зарницы  
Достигнут снова Храброго границы \*,  
Средь вражьих тел и крови изобилья,  
И, наконец, насытятся, сложат крылья, —  
Тогда, листвою увенчаны дубовой,  
Вложив мечи, в тиши родного крова  
Герои песни станут слушать снова!  
И будет мир завидовать их доле,

Они ж, о прошлом слушая на воле,  
Над судьбами отцов заплачут сами,  
Суровых лиц не запятнав слезами.

Одна, одна для нас, гостей незваных,  
Отрада есть в печалях постоянных:  
Обетованный край, как луч среди мрака,  
Где есть немного счастья для поляка,—  
Край детских лет, страна весны блаженной!  
Ты навсегда останешься священной,  
Как первая любовь, без огорчений,  
Утраченных иллюзий, сожалений,  
Всегда жива, всегда без изменений!  
Там я не знал ни слез, ни горьких жалоб...  
О, если б мысль моя меня домчала б  
В тот светлый край, где мир казался садом  
И где цветы, не тронутые ядом,  
Срывали мы, а белену топтали  
И где полезных трав не замечали!

Тот край счастливый, тесный, небогатый,  
Как мир у бога, нашим был когда-то!  
В нем все до капли нам принадлежало,  
Мы помним всё, что там нас окружало:  
От старой липы, чья густая крона  
Давала тень, до ближнего затона.  
Все камни, гнезда на вершине клена —  
Всё знали мы, как знает только детство,  
Вплоть до домов, стоящих по соседству.

И только те, кто жил там вместе с нами,  
Еще остались верными друзьями,  
Лишь их одних союзниками звать я  
Еще могу... Кто ж жил там? Мать и братья,  
Друзья-соседи... Если мы теряли  
Кого-нибудь, как долго горевали,  
С каким трудом лечили эту рану!  
Там был слуга привязан больше к пану,  
Чем муж к жене в ином краю... Солдату  
Был дорог меч, как брат не дорог брату;  
Там о собаке плакали порою  
Сильней, чем здесь горюют по герою...

Друзья, со мной делившие печали,  
За словом слово в песнь мою роняли,—  
Так журавли из сказочного края,  
Над замком чародея пролетая,  
Услышали стон мальчика, и стая  
По перышку дала ему на крылья,—  
Так спасся он от плена и насилья...

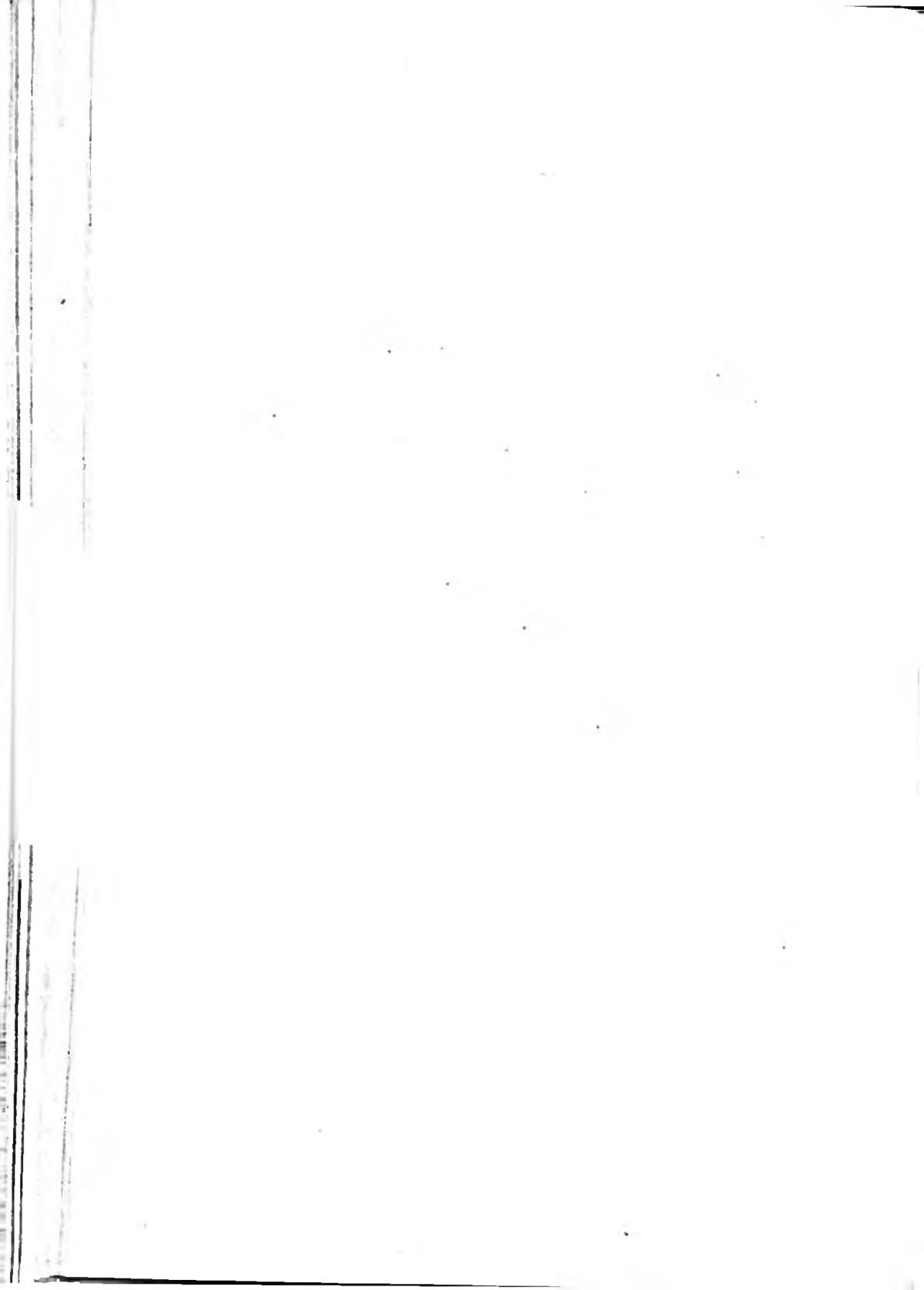
Дождусь ли я, друзья, такой утечи,  
Чтоб эта книга забрела под стрехи,  
Чтоб девушки за прялкой у лучины,  
Натешив сердце песнею старинной  
О девочке, которая играла  
И стадо из-за скрипки растеряла,  
О сироте, красавице пастушке,  
Гусей сгонявшей в сумерках к опушке,  
Охотно эту книгу взяли в руки,  
Нехитрую, как польских песен звуки!..

Так в юности — вы помните ли, други? —  
Читали мы под липой на досуге  
Сказанья о Юстине и Веславе \*,  
А за столом помощник эконома  
Дремал, а то и сам хозяин дома  
Изволил слушать чтение на покое  
И объяснял нам то или иное,  
Хвалил прекрасное, прощал дурное.

И мы певцов завидовали славе,  
Что до сих пор гремит в лесу и в поле,  
Пускай не увенчал их Капитолий \*,—  
Певцу милей, чем лавры и салюты,  
Народный дар — простой венок из руты.



**ОБЪЯСНЕНИЯ**



---

## «ПАН ТАДЕУШ, ИЛИ ПОСЛЕДНИЙ НАЕЗД НА ЛИТВЕ»

Во времена Речи Посполитой приведение приговоров в исполнение было очень затруднено в стране, где исполнительная власть почти не имела в своем распоряжении полиции, а магнаты содержали при своих дворах полки, а некоторые, как князя Радзивиллы, даже более чем десятитысячное войско. Истец, вследствие этого, получив приговор, вынужден был за приведением его в исполнение обращаться к рыцарскому сословию, то есть к шляхте, которая также располагала исполнительной властью. Вооруженные родственники, друзья и земляки выступали в поход с приговором в руках и в сопровождении возного добывали, часто не без кровопролития, присужденное истцу имущество, которое возный согласно закону передавал истцу либо во временное, либо в постоянное пользование. Такое вооруженное приведение приговора в исполнение называлось «заяздом». В прежние времена, покамест еще уважали законы, самые могущественные магнаты не смели сопротивляться приговорам, вооруженные столкновения были редки, а насилие почти никогда не оставалось безнаказанным. Известен из истории печальный конец князя Василия Сангушки и Стадницкого, прозванного Дьяволом\*. Порча общественных нравов в Речи Посполитой умножила число «заяздов», которые непрерывно нарушали спокойствие на Литве,

Стр. 9.

*Ты, божья мать, хранишь нас в Ясногурском храме,  
Твой образ золотой сияет в Острой Бrame.—*

Всем в Польше известен чудотворный образ пресвятой девы на Ясной Горе в Ченстохове. В Литве славятся чудесами образа пресвятой девы Остробрамской в Вильно, Замковой — в Новогрудке, а также Жировицкой и Борунской.

Стр. 13.

*Судья не подражал новейших мод затеям,—  
Чужих коней на корм не отсылал к евреям.  
Хоть гость не встретил слуг, но думать не должны  
вы,*

*Что в доме у Судьи служили нерадиво.—*

Царское правительство никогда не отменяет сразу в завоеванных землях законы и гражданские институты, но постепенно подрывает их и разлагает указами. В Малороссии, например, до последних лет удерживался Литовский Статут \*, фактически отмененный указами. Литве оставлено все старое устройство гражданских и уголовных судов. Как и прежде, там избирают судей, земских и городских — в повятах, а также главных судей — в губерниях. Но апелляции направляются в Петербург, во множество разнообразных инстанций, и таким образом у местных судов едва ли осталась тень их прежней традиционной силы.

*Пан Войский ждать велел, пока он нарядится...—* Войский был некогда, по должности, опекуном жен и детей шляхты на время всеобщего ополчения. Давно уже эта должность, без всяких обязанностей, стала почетной. В Литве существует обычай давать видным лицам, из вежливости, какой-либо старинный титул, узаконенный благодаря постоянному употреблению. Так, например, соседи называют своего приятеля Обозным, Стольником или Подчашим сначала только в разговоре или в личной переписке, а затем даже и в официальных актах. Царское правительство запрещало подобное титулование и пыталось даже выставить его на посмешище, вводя вместо него

титулование по своей иерархии чинов, к которой литвины до сих пор чувствуют глубокое отвращение.

Стр. 14.

*Уж Подкоморий к нам пожаловал с семьею...*— Звание Подкомория, некогда видного и важного сановника *Principis Nobilitatis* \*, стало при царской власти только титулом. Некоторое время он еще разрешал граничные дела, но, наконец, утратил и эту область давней юридической власти. Теперь он иногда еще заменяет маршалка и назначает «коморников», или повятовых землемеров.

Стр. 16.

*Пан Войский свечи взял и вышел в сени с Возным...*— Возный, или генерал, избранный из местной шляхты постановлением трибунала \* или суда, разносил повестки, провозглашал ввод во владение, производил судебный осмотр на месте фактического положения вещей и т. п. Обычно эту должность нес кто-либо из мелкой шляхты.

Стр. 20.

*Все, как за ястребом, за ним гонялись следом...*— Ястреб — хищная птица из породы ястребиных. Известно, что мелкие пташки, и особенно ласточки, целыми стайками гоняются за ястребами. Отсюда и поговорка: летать, как за ястребом.

Стр. 23.

*Что Бонапарт колдун...*— Среди простого русского люда кружит немало рассказов о колдовстве Бонапарта и Суворова.

Стр. 24.

*Ассессор стал вести с Нотариусом споры...*— Ассессоры составляют земскую полицию повята. По указам их иногда выбирают сами граждане, а иногда они назначаются администрацией; последних зовут коронными. Судей по апелляциям тоже зовут ассессорами, но здесь речь идет не о них. Нотариусы управляют канцелярией суда и составляют судебные приговоры; их назначают по указанию секретарей судов.

Стр. 29.

*А Неселовский пан, охотник именитый...*— Граф Юзеф Неселовский, последний новогрудский воевода, был председателем революционного правительства во время восстания Ясинского.

*Бялопетрович звал, и то не пожелал он!*— Ежи Бялопетрович— последний писарь великого княжества Литовского. Принимал деятельное участие в восстании Ясинского. Он судил государственных преступников в Вильно\*. Муж, весьма уважаемый за доблести и патриотизм.

Стр. 31.

*И Возный развязал богатый слуцкий пояс.*— В Слуцке была фабрика золотого шитья и поясов, славившихся на всю Польшу; ее усовершенствовал Тизенгауз.

*Реестр судебных дел, подробнейшие списки...*— Воканда (реестр судебных дел)— узкая продолговатая книжка, куда записывались имена тяжущихся сторон в порядке рассмотрения дел. Каждый адвокат и возный обязан был иметь подобную книжку.

Стр. 33.

*Отбитые в боях, кровавые знамена...*— Генерал Князевич, посланный итальянской армией, сложил перед Директорией добытые в боях знамена.

*Как Яблоновский наш, забравшись в край далекий...*— Князь Яблоновский, командир Наддунайского легиона, умер в Сан-Доминго, где погиб почти весь его легион. Среди эмигрантов имеется несколько ветеранов, уцелевших участников этого злополучного похода, и между ними генерал Малаховский.

Стр. 41.

*На хорах звон стоял от флейты и органа...*— В старинных замках ставился на хорах орган.

Стр. 42.

*Да тут как раз и был похлебкой встречен черной...*— Подать домогавшемуся руки панны черную похлебку к столу означало отказ.

Стр. 48.

*В запасе у нее всегда зерна избыток...*— В оригинале дословно: «Или берет с «вицин» кофейные зерна лучшего сорта».

Вицины — это большие суда на Немане, которыми литвины пользуются для ведения торговли с Пруссией, отправляя на них зерно, а взамен получая бакалейные товары.

Стр. 56.

*...От князя Радзивилла я получил его.*— Князь Доминик Радзивилл, большой любитель охоты, эмигрировал в герцогство Варшавское и сформировал там на свой счет кавалерийский полк, которым и командовал. Умер во Франции. С ним угасла мужская линия Радзивиллов, князей Ольца и Несвижа, самых крупных магнатов в Польше и, должно быть, во всей Европе.

*Он, князь Сангушко, я да Мейен...*— Мейен отличался в народной войне во времена Костюшки. Под Вильно до настоящего времени показывают мейенские окопы.

Стр. 65.

*А боровик — для панн, — коль верить песням старым,  
Грибным полковником зовут его не даром.*—

На Литве широко известна народная песня о грибах, вступающих на войну под командой боровика. В этой песне описаны свойства съедобных грибов.

Стр. 74.

*Художник наш Орловский...*— известный художник-жанрист; за несколько лет до смерти начал писать пейзажи. Умер недавно в Петербурге.

Стр. 78.

*Моих пиявок взять для случая такого!*

*Пса звать Исправником, а суку звать Стряпчиха!..*—

Пиявки — порода английских псов, малых, но сильных; они служат для охоты на крупного зверя, главным образом на медведя.

Исправник, или капитан-исправник,— начальник уездной полиции. Стряпчий — должностное лицо вроде государственного прокурора. Эти чиновники, часто располагающие возможностью злоупотребить властью, вызывают глубокое отвращение у граждан.

Стр. 80.

*В том вещем сне ему железный волк явился...—* По преданию, великому князю Гедимину приснился на Полярской горе железный волк, и Гедимин, по совету вайделота Лиздейки, заложил город Вильно.

Стр. 81.

*Последний на Литве, охотник венценосный...—* Зыгмунт-Август, по старинному обычаю, препоясался в столице Великого Княжества Литовского мечом и короновался шапкой Витольда. Он очень любил охоту.

*...Стоит ли и донине Баублис-исполин?...*— В Росенском уезде, в имении Пашкевича, земского секретаря, рос дуб, прозванный Баублис, некогда, в языческие времена, считавшийся священным. В дупле этого исполина Пашкевич устроил кабинет литовских древностей.

*Миндовга рошица шумит ли над костелом? —* Недалеко от приходского костела в Новогрудке росли древние липы; их много вырубил около 1812 гда.

*Так были старые о чести молодецкой  
Дуб-говорун шептал казацкому поэту! —*

См. поэму Гощинского «Каневский замок».

Стр. 87.

*Меж двух больших скамей, в углу, за чаркой меда  
Сидел сегодня ксендз; почет был не случаен...—*

Почетное место, где в древности ставили домашних богов, где до сих пор русские вешают образа. Туда литовский крестьянин сажает гостя, которого хочет почитать.

Стр. 94.

*Старик-орел, когда его лишает пищи  
Крючком согнутый клюв, слетает на кладбище...—*

Клювы больших хищных птиц, по мере того как эти птицы стареют, все более искривляются, пока, наконец, верхнее острие, загнувшись, не замкнет клюв, и тогда птица умирает с голоду. Это народное предание принято некоторыми орнитологами.

*Недаром человек в местах, доступных глазу,  
Не находил еще костей зверья ни разу.—*

В самом деле, не было случая, чтобы когда-нибудь был найден скелет издохшего зверя.

Стр. 99.

*Нет, каково ружьишко? —*

*И он погладил ствол.— Как говорится, птичка  
Невелика...— «Пташинка» (в переводе — «птичка».  
Прим. ред.) — ружье малого калибра, в которое кладется  
маленькая пуля. Меткий стрелок поражает из такого  
ружья птицу на лету.*

Стр. 102.

*Покуда золото не потекло оттуда.— В бутылках гданьской  
водки на дне бывают листочки золота.*

Стр. 106.

*К ливийцам приплыла красавица Дидона.  
Ей дали там клочок земли, но при условии,  
Чтоб поместился весь под шкурою воловьей...—*

Царица Дидона приказала разрезать на полосы воловью шкуру и таким образом охватила ею обширное поле, на котором заложила Карфаген. Войский вычитал описание этого события не в «Энеиде», а вероятно, в комментариях схоластов.

В. Некоторые места четвертой песни принадлежат перу Стефана Витвицкого \*.

Стр. 132.

*Застянок.— (Заглавие шестой книги.) В Литве на-  
зывают «околищей» или «застянком» шляхетское селе-  
ние, чтобы отличить его от собственно деревень или сел,  
то есть крестьянских поселений \*.*

Стр. 137.

*Десятая вода на киселе — и только!..*— Кисель — литовское кушанье, рода галантира; он готовится из заквашенного молотого овса, отполаскиваемого водой до тех пор, пока не отделятся все мучные частицы; отсюда и поговорка.

Стр. 141.

*Как Володкович пан...*— После многих насилий (Володкович) был схвачен в Минске и по приговору трибунала расстрелян.

Стр. 142.

*Ян Третий созывал шляхетских ополченцев...*— Король, объявляя созыв всеобщего ополчения, приказывал втыкать в каждом приходе высокий шест с привязанной к нему сверху метлой, то есть выставлять вежу (вицу). И это называлось «раздать вежи». Каждый взрослый мужчина рыцарского сословия обязан был тотчас же, под угрозой утраты шляхетства, стать под воеводскую хоругвь.

Стр. 146.

*Спеша на выручку к Потюю-великану.*— Граф Александр Потей, возвратившись с войны в Литву, поддерживал перебежавших за границу земляков и пересылал значительные суммы денег в кассу легионов.

Стр. 167.

*А там Давида воз готов к упряжке парной...*— Воз Давида — созвездие, известно у астрономов под именем *Ursa major* \*.

Стр. 168.

*Вот так в костелах, встарь, у ксендзов расторонных  
Висели костяки животных, допотопных.*—

Был обычай вывешивать возле костела найденные остатки ископаемых животных, которые простой народ считает костями исполинов.

Все взоры привлекла огромная комета...— Памятная комета 1811 года.

Стр. 169.

Был астрономом ксендз Почобут...— Ксендз Почобут — бывший иезуит, известный астроном, издал труд о зодиаке в Дендерах и своими наблюдениями помог Ланду \* в вычислении движения луны. См. его биографию, составленную Яном Снядецким.

Стр. 171.

А в свите князя был Денасов князь...— Точнее — князь де Нассау-Зиген. Известный в то время воин и любитель приключений. Он был русским адмиралом \* и побил турок на Лимане, затем сам был наголову разбит шведами. Жил некоторое время в Польше, где получил индигенат \*. Поединок князя де Нассау с тигром гремел тогда во всей европейской прессе.

Стр. 192.

А «Желтой книги» вы не знаете, как видно?...— «Желтая книга», названная так по ее обложке, — варварская книга царского военного насилия. Не раз в мирное время правительство объявляет целые области на военном положении и на основании «Желтой книги» отдает военачальнику всю власть над имуществом и жизнью граждан. Известно, что с 1821 года вплоть до революции вся Литва подлежала действию «Желтой книги», а проводил это в жизнь великий князь Цесаревич \*.

Стр. 199.

Он нес в руке мушкет, другой тащил дубину,  
Всю в шишках и в кремнях...—

Литовская дубина делается следующим способом: высмотрев подходящий молодой дуб, его обрабатывают топором снизу доверху так, чтобы только слегка поранить дерево, разрубив в нем кору и заболонь. В образовавшиеся рубцы втыкают острые кремни, которые со временем вырастают

в дерево в виде твердых узлов. В языческие времена подобные дубины (мачуги) были основным оружием литовской пехоты; их иногда употребляют и в наше время, называя их «насеками».

Стр. 200.

*Литовский мещанин, какой-то Чернобацкий,  
И Деева убил и полк разбил казацкий...—*

После восстания Ясинского, когда литовские войска отступали к Варшаве, русские подошли к Вильно. Генерал Деев со свитой въезжал в город через Острую Брамму. Улицы были пусты, жители заперлись в домах. Но один из граждан города, заметив покинутую в переулке пушку, набитую картечью, прицелился в ворота и поднес фитиль. Этот выстрел спас тогда Вильно: генерал Деев с несколькими офицерами погиб, а остальные, боясь засады, отступили от города. Не могу назвать с уверенностью фамилию этого горожанина.

Стр. 208.

*И так в Литве наезд окончился последний.—* Бывали еще и позже «заязды», хотя и не столь славные, но все же громкие и кровавые. Около 1817 года некий У., в Новгородском воеводстве, побил во время «заязда» весь новгородский гарнизон и взял в плен его командиров.

Стр. 212.

*Одна за Измаил, другая за Очаков и за Эйлау есть.—* Конечно, за Прейсиш-Эйлау.

Стр. 231.

*И земли Стольника Соплицам отказали,  
Тарговичане чин пообещали важный...—*

Кажется, Стольник был убит около 1791 года, во время первой войны.

Стр. 234.

*Весенние предзнаменования...—* Один из русских историков именно так описывает гадания и предчувствия русского простонародья перед войной 1812 года.

Стр. 237.

*«Отличный повар» — вот той книжицы название...—* Книга «Отличный повар» теперь чрезвычайно редкая, лет полтораста тому назад изданная Станиславом Чернецким\*.

*Которым папа сам, Урбан Восьмой, дивился...—* Упомянутое посольство в Рим часто описывали и изображали на картинах. См. предисловие к книге «Отличный повар»: «Это посольство вызвало изумление всего западного мира; и так замечательны были блеск и устройство стола, что один из римских князей воскликнул: «Рим счастлив, принимая ныне такого посла». Чернецкий сам был кухмистером у Оссолинского.

Стр. 240.

*Которого дня три назад конфедераты  
Маршалком выбрали...—*

В Литве после вступления французских и польских войск были образованы по воеводствам конфедерации и выданы депутаты на сейм.

Стр. 241.

*Под Гогенлинденом, в той битве знаменитой...—* Известно, что под Гогенлинденом польский корпус под предводительством генерала Князевича сыграл решающую роль в победе.

Стр. 254.

*Когда-то, говорят, князь Радзивилл-Сирота...—* Радзивилл-Сирота совершил путешествие по «святым местам» и издал его описание\*.

Стр. 257.

*Меж тем большой сервиз, сверкавший белизною,  
Окраску изменил...—*

В XVI и в начале XVII века, в эпоху расцвета искусства, даже пиры оформлялись художниками и были полны символов и театральных сцен. На знаменитом пиру, данном в Риме в честь Льва X, был сервиз, представлявший по-

очередно четыре времени года и послуживший, вероятно, образцом для радзивилловского. Застольные обычаи изменились в Европе около середины XVIII века; в Польше они удержались дольше, чем в других странах.

Стр. 258.

*Иль одолжил тебе своих чертей Пинети?..*— Пинети был известный всей Польше фокусник; когда он гостил у нас, не знаем.

Стр. 262.

*Обиделся старик: «Что ж я — Цибульский, что ли, Что проиграл жену в марьяж солдатской голи...»*

В Литве широко известна трогательная песня о пани Цибульской, которую муж проиграл москалям.

Стр. 264.

*Велела фрак надеть, в угоду властной моде...*— Мода на французскую одежду распространялась в польской провинции от 1800 до 1812 года. Большинство молодых мужчин меняло покрой одежды перед женитьбой, по требованию своих невест.

Стр. 266.

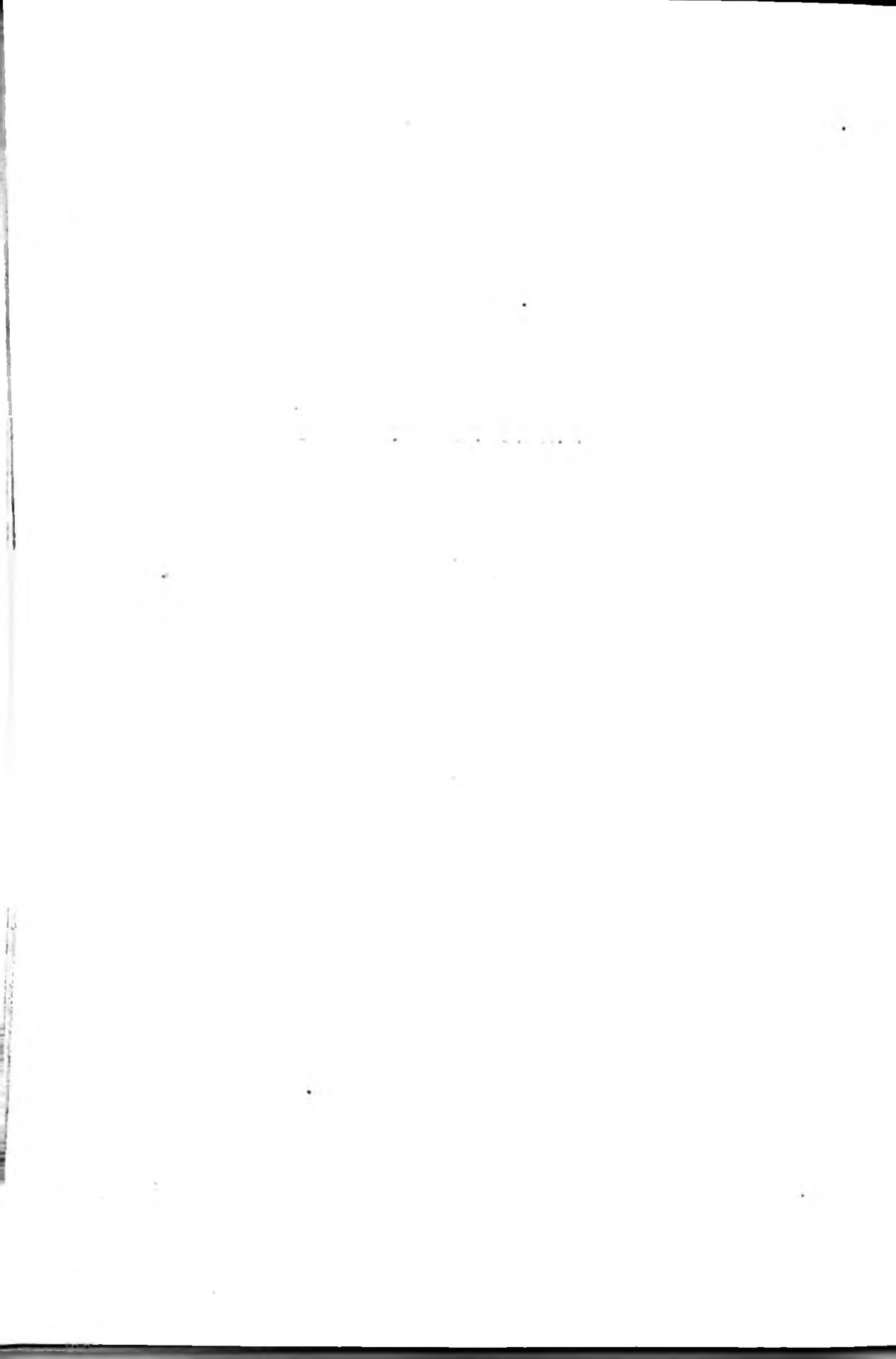
*И злополучный спор Денасова с Рейтаном...*— История спора Рейтана с князем де Нассау, не доведенная до конца, известна по устным преданиям. Чтобы удовлетворить любопытство читателей, приводим ее конец: Рейтан, задетый за живое похвалой князя де Нассау, стал возле него на тропке. Как раз в это время огромный кабан, разъяренный ранами и травлей, мчался на эту тропу. Тогда Рейтан вырывает ружье из рук князя, швыряет свое наземь и, схватив рогатину, подает немцу другую со словами: «Ну, а теперь посмотрим, кто лучше работает копьем». Одинец был уже совсем недалеко, как вдруг Войский Гречеха, стоявший поодаль, метким выстрелом повалил зверя. Те сначала гневались, а потом, помирившись между собою, щедро наградили Гречеху.

Стр. 268.

...Когда пан Карп покойный освободил крестьян...—  
Царское правительство не признает вольных людей, кроме дворянства. Крестьян, освобожденных их владельцем, тотчас же записывают в «сказки» удельного ведомства, и они вместо барщины платят еще больший оброк. Известно, что в 1818 году граждане Виленской губернии приняли на сеймике проект освобождения всех крестьян и с этой целью избрали делегацию к императору; но правительство приказало уничтожить проект и больше никогда не вспоминать о нем. При царской власти нет другого способа освободить человека, как включив его в состав своей семьи. И многие таким образом получали дворянство из милости или же за деньги.



# **КОММЕНТАРИИ**



---

## ПАН ТАДЕУШ

Поэма Адама Мицкевича «Пан Тадеуш», написанная им в эмиграции после польского восстания 1830—1831 годов, была впервые издана в 1834 году в Париже. Вошла в Собрание сочинений Мицкевича, изданное при жизни поэта (Париж, 1844). Неоднократно переводилась на русский язык.

### КНИГА ПЕРВАЯ

Стр. 9. В биографиях поэта упоминается о том, что ребенком Мицкевич выпал из окна и некоторое время не подавал признаков жизни.

Стр. 11. *Костюшко* Тадеуш (1746—1817) — польский национальный герой, вождь освободительного восстания польского народа, произнес 24 марта 1794 года на рыночной площади в Кракове торжественную клятву бороться против иноземных поработителей Польши. Этому событию предшествовала церемония освящения меча Костюшки в одном из краковских костелов.

*Чамарка*.— Имеется в виду сукмана, сермяга — польская народная одежда, которую Костюшко носил после битвы под Рацлавицами (4 апреля 1794 г.) в знак симпатии к крестьянам-повстанцам, чьи самоотверженные действия при Рацлавицах обеспечили успех войск Костюшки.

*Рейтан* Тадеуш, являясь депутатом польского сейма 1773 года, выступил, вопреки подкупленному иностранными державами

большинству сейма, с протестом против первого раздела Польши. В 1780 году покончил жизнь самоубийством.

«Федон» — сочинение греческого философа Платона.

«Жизнь Катона» — биография римского республиканца Катона входит в написанные Плутархом (I—II вв. н. э.) жизнеописания знаменитых людей древности.

Ясинский Якуб — революционный поэт, офицер, «польский якобинец», во время восстания Костюшки руководил повстанческими действиями в Литве.

Корсак Тадеуш — депутат польского сейма, также один из активных участников восстания. Усинский и Корсак погибли в конце 1794 года при обороне предместья Варшавы — Праги от царских войск.

«Мазурка Домбровского» — песня польских легионов, руководимых видным деятелем освободительного движения поляков генералом Яном Генриком Домбровским (1755—1818), созданных по его инициативе и сражавшихся в составе наполеоновских войск. Легионы эти, вопреки надеждам ряда польских патриотов, были, как известно, использованы Наполеоном в захватнических целях, не имевших ничего общего с делом освобождения Польши, превращены в орудие подавления освободительного движения других народов. «Мазурка Домбровского» стала впоследствии польским национальным гимном («Еще Польша не згинела...»). Автор ее — Юзеф Выбицкий.

Стр. 12 То есть в виде римских цифр V или X.

Стр. 13. В пудермане — в плаще, сшитом из домашнего полотна. Этот плащ одевали тогда, когда посыпали пудрой парик, или для защиты от пыли и грязи.

Речь идет о военных действиях 1792 года, когда царские войска совместно с реакционным польским магнатством выступили против внутренних преобразований в Польше, Конституции 3 мая 1791 года и ряда других постановлений, принятых польским сеймом, вторглись на территорию Польши, нанесли поражение сторонникам «патриотической партии». Война привела ко второму разделу Польши (1793). Т. Костюшко прославился в этой войне как самоотверженный патриот и умелый военачальник.

Стр. 14. После разделов Польши царские власти оставили на литовско-белорусских землях земельные споры шляхтичей в компетенции «граничных» или «подкоморских» судов, существовавших ранее в Речи Посполитой и избравшихся самой шляхтой.

Стр. 16. Первой инстанцией для разбора шляхетских дел был земский суд, оставленный царскими властями от прежней судебной системы Речи Посполитой. *Главному суду* можно было апеллировать на решения земского суда. Сенат был в царской России, как известно, высшей судебной инстанцией.

Стр. 17. В оригинале «kwestarz» («квестарь») — то есть страйствующий монах, который собирает подаяния для своего монашеского ордена. Герой этой поэмы ксендз Робак принадлежал к монашескому ордену бернардинов (бернардинцев). В ходе повествования автор и называет его: «ксендзом», «квестарем», «бернардином».

Стр. 18. *Воевода* в Речи Посполитой был сановником, стоявшим во главе одной из областей (воеводств) страны.

Стр. 19. Римскому императору Веспасиану (I в. н. э.) приписывают изречение «Деньги не пахнут».

Стр. 20. *Ошмяны* — городок, расположенный недалеко от Вильно.

*Подчасий* — в годы, о которых идет речь, шляхетский титул, не связанный с какими-либо обязанностями. Ведет происхождение от существовавшей в старой Польше придворной должности, которую занимал дворянин, подававший королю вино на пирах. Аналогичного происхождения был также титул «стольник», встречающийся в следующих главах поэмы.

«*Карьолка*» — от французского «carricole» — двуколка, повозка.

Стр. 21. *Венецианский черт* — выражение, ставшее в польском языке поговоркой и означающее беспокойного человека, искателя приключений, проходимца.

Стр. 22. Речь идет о польских легионах (см. примеч. к стр. 11).

*Из-за Нсмана...* — то есть из Варшавского княжества, которое после разгрома прусских войск Наполеон создал в 1807 году из части земель, захваченных Пруссией при разделах Польши, и использовал как плацдарм для последующего нападения на Россию. В 1809 году к Варшавскому княжеству были присоединены польские земли, отобранные Наполеоном у Австрии.

Стр. 28. *Повет* (powiat) — административная единица, соответствующая русскому уезду.

Стр. 29. Имеется в виду Станислав-Август Понятовский, последний польский король (1764--1795).

Войский упоминает шляхтичей, известных в Литве охотничьими забавами: Михала Рейтана, Неселовского, Бялопетровича.

Стр. 30. *Лех* — мифический родоначальник древних польских племен.

Стр. 32. В перечне этом названы и судебные дела, действительно имевшие место в Литве, и дела, вымышленные поэтом, при этом ради шутки поэт (как и в ряде других книг «Пана Тадеуша») упоминает имена многих своих знакомых.

В старопольский шляхетский наряд входили длинный жупан и надевавшийся поверх его кунтуш с разрезанными вдоль рукавами.

*Золотые орлы* — эмблема наполеоновских войск, *серебряные* — польских легионов Домбровского.

*Красных воротников...* — то есть полицейских мундиров.

Стр. 33. *Домбровский* начал в 1797 году формирование польских легионов в Ломбардии (Северная Италия). Французское командование использовало легионы для захвата Рима. Генерал Кароль Князевич (1762—1842), как командир I легиона, был в 1798 году комендантом Рима, по поручению французского командования отвозил в Париж трофейные знамена. Польские солдаты в 1802—1803 годах были отправлены Наполеоном на о. Ганти в составе войск, усмиривших освободительное восстание местного населения. Генерал Владислав Яблоновский был участником этой захватнической войны.

Река Неман была в 1807—1812 годах границей между Россией и Варшавским княжеством.

*Квсстарь* — см. примеч. к стр. 17.

## КНИГА ВТОРАЯ

Стр. 36 «*Surge, puer!*» — «Вставай, мальчик!» (лат.)

Стр. 37. *Смычок* (*smycz*) — ремень, на котором вели собак на охоту.

Стр. 41. *Примасом* в Речи Посполитой называли главу католической церкви Гнезненского архиепископа. Примас считался первым лицом после короля, во время междуцарствия возглавлял управление страной и проводил выборы нового короля.

Стр. 42. *Каштелян* — одна из высших должностей в Речи Посполитой, сановник, управлявший «градом» (замком) и прилегающей округой. В XIII веке функции каштелянов перешли к «старостам», в XV—XVIII веках звание «каштеляна» превратилось в почетный титул, дающий право на участие в заседаниях сената.

На шляхетских сеймиках (собрания шляхты, происходившие по отдельным местностям) выбирались послы (депутаты).

в польский сейм. Сейм состоял из двух частей: «посольской избы» и сената, в котором заседали высшие сановники. И сеймики и общий («вальный») сейм были ареной ожесточенной борьбы феодальных группировок. В период упадка Речи Посполитой они особенно прославились интригами, подкупом шляхты и даже вооруженными столкновениями между шляхетскими группировками.

Стр. 43. Принятая польским сеймом 3 мая 1791 года Конституция Речи Посполитой, отражая устремления прогрессивно настроенной шляхты, предусматривала ряд реформ, улучшавших государственное устройство Польши (отмена права «вето» в сейме и выборности королей и т. д.). Но она — и это свидетельствовало о классовой ограниченности программы шляхетских реформаторов — ничего не изменила в тяжелом положении народных масс, оставила в неприкосновенности крепостное право.

*Конфедератами* Мицкевич называет здесь тех, кто в вооруженной борьбе защищал Конституцию 3 мая против царских войск и реакционных магнатов (см. примеч. к стр. 13).

*Гайдуки* — вооруженная прислуга при богатых шляхетских дворах.

*Ксендз-пробоц* (или плебан) — католический приходский священник.

Стр. 44. И здесь и в ряде других мест поэмы Мицкевич воспроизводит названия деревень, застянков и т. д., действительно существовавших в окрестностях Новогрудка, на родине поэта.

Это означает, что в числе предков Столышика были сенаторы (имеющие «кресла» в польском сенате) и гетманы (знаком достоинства гетмана, восначальника в шляхетской Польше была «булава»).

*Ножичек* — в подлиннике «scyzoryk» — «перочинный ножик»; так Гервазий называет свой меч.

Стр. 47. *Веревка с узлами* — белый монашеский пояс, на концах имел узлы, которые называли «огурцами».

Стр. 55. *Pax vobiscum!* — мир вам! (лат.)

Стр. 56. Предполагают, что упоминание здесь имени Жеготы связано с тем, что в первоначальном замысле поэмы автор хотел назвать этим именем одного из главных ее героев — Яцека Соплицу.

*Влука* — польская мера земельной площади (около 16<sup>1</sup>/<sub>2</sub> га).

*Salarium* — здесь в значении подарок (лат.).

*Радзивиллы, Сангушки* — известные магнатские роды на Литве.

Стр. 57. *Купиское поле* — луга, расположенные около Немана близ местечка Куписк, недалеко от Новогрудка.

## КНИГА ТРЕТЬЯ

Стр. 58. По преданиям древних, тени умерших обитали в Елисейских полях, под землей.

Стр. 60. *Рог Амальтеи* — «рог изобилия». В древнегреческой мифологии Амальтея — это коза, молоком которой был выкормлен бог Зевс, и благодарность за это сделавший рог Амальтеи «рогом изобилия».

Стр. 68. *В легион* — то есть в войска Варшавского княжества.

«Гречкосеями» называли провинциальных шляхтичей, чуждавшихся общества, занятых исключительно своим хозяйством.

Стр. 69. В *Петрокове* происходили сессии «коронного трибунала», то есть высшего суда для польских земель (Короной в отличие от Литвы называли часть Речи Посполитой, состоящую из собственно польских земель и части украинских земель, захваченных польскими феодалами). В *Дубне* происходили большие ярмарки.

Стр. 72. *Тибура древнего классические воды...* — красивые водопады в окрестностях города Тибура (Тиволи) близ Рима.

*Позитиппо* — гора близ Неаполя.

Стр. 73. *Мснады* — жрицы греческого бога Вакха, участвовали в торжественных процессиях с жезлами, увитыми плющом и виноградом.

Стр. 74. *Брейгель* — фамилия нескольких нидерландских художников XV—XVI веков. Один из них, автор картин, изображавших ад, был прозван «ван дер Хелле» («адский»).

*Рюисдаль Якоб* (1628—1682) — нидерландский художник-пейзажист.

С художником Александром Орловским (1777—1832) Мицкевич познакомился во время своего пребывания в России. Орловского упоминает Пушкин в поэме «Руслан и Людмила».

Стр. 78. *Сотник* — здесь надзиратель над сотней крепостных.

В те времена пули отливали сами охотники.

*Булавою*, то есть предводительством над охотниками.

## КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Стр. 80. *Крепь* — в оригинале «*malcznik*» — означает здесь лесные дебри, заповедную часть лесов, не доступную людям.

*Миндовг* — великий князь Литвы (середина XIII в.) положил начало политическому объединению литовских племен. В числе пре-

емников Миндовга были великие князья *Витень* (Витенес) (1293—1316) и его брат *Гедимин* (1316—1341). При Гедимине столицей Литвы стал город Вильнюс (Вильно).

*Лиздейко*.— Одна из исторических хроник упоминает о нем, как о последнем верховном жреце в языческой Литве.

*Римская волчица*.— Имеется в виду предание о волчице, выкормившей легендарных основателей Рима — Рема и Ромула.

Стр. 81. *Ольгерд и Кейстут* — сыновья Гедимины, после его смерти разделившие великокняжескую власть в Литве. Ольгерд считался великим князем (1345—1377). Кейстут был его соправителем. Великую борьбу с Тевтонским орденом, присоединили ряд русских земель, завершили превращение Литвы в мощное феодальное государство.

*Наследник Ягеллонов*.— Мицкевич имеет в виду польского короля Зыгмунта II Августа (1548—1572), последнего представителя династии Ягеллонов, утвердившейся на польском престоле со времени польско-литовской унии 1385 года, когда литовский великий князь Ягелло (Ягайло) стал польским королем.

В имении Головинских Стеблеве (на реке Роси, правом притоке Днепра) Мицкевич останавливался в 1825 году по пути из Петербурга в Одессу.

*Кохановский Ян* (1530—1584) — великий польский поэт, жил в последний период творчества в имении Чернолесье. Липа, стоявшая перед домом Кохановского, запечатлена в его стихах.

Мицкевич имеет в виду поэму польского революционного романтика Северина Гоцинского (1803—1879) «Каневский замок».

Стр. 85. *Строители Хирама* — то есть строители, посланные царем финикийского города Тира Хирамом к иудейскому царю Соломону для построения знаменитого храма на холме Сион в Иерусалиме.

*Башня Пизы* — наклонная башня в городе Пизе (Италия).

Стр. 87. Мицкевич имеет в виду «Мазурку Домбровского». *Авзоны* — встречающееся в античной поэзии наименование легендарных жителей Италии.

Стр. 88. *Reverendissime* — почтеннейший (лат.).

*Схизма* — так католики называли православное вероисповедание.

*А правда ль, что француз там нынче водворился?*

*Что грабит храмы он, не уважая веру.*— В Варшавском княжестве действительно производились реквизиции части церковных

имущества для военных нужд в связи с подготовкой наполеоновского похода на Россию.

*«Литовский курьер»* — польская газета, выходившая тогда в Вильно.

Стр. 89. Царские власти потребовали от шляхетских семей документального подтверждения шляхетского происхождения.

*Митра* — княжеская шапка над щитом, означала в гербе шляхтича его происхождение от княжеского рода.

Стр. 90. Польские части во главе с Домбровским в мае 1807 года принимали участие во взятии Гданьска наполеоновскими войсками.

Стр. 91. Александр I, его брат великий князь Константин, австрийский император Франц II (1792—1835).

Стр. 104. То есть поэму «Энеида» Публия Вергилия Марона.

#### КНИГА ПЯТАЯ

Стр. 110. Богиня Афродита изображалась иногда на колеснице, влекомой голубями.

Стр. 119. Устав капуцинов предписывал молчание при еде.

Стр. 120. Речь идет о известном в XVIII веке искателе приключений князе де Нассау-Зигене.

Стр. 127. *По прялке* — то есть по женской линии.

Стр. 128. *Дзяды* — известный в Литве и Белоруссии народный обычай поминовения умерших оставлением пищи на могилах. Мицкевич использовал его при создании своей поэмы «Дзяды».

Стр. 129. Речь идет о Тарговицкой конфедерации 1792 года, когда группа реакционных магнатов при поддержке царской России выступила против реформ в государственном устройстве Польши (см. примеч. к стр. 13 и 43).

*Готический* — здесь в значении средневековый, рыцарский, романтический. *Сарматский* — старопольский.

Стр. 130. *Бирбанте-Рокка* — то есть Скала разбойников.

*Буздыган* — род оружия, сходный с булавой, но с утолщенным концом, стал со временем знаком отличия старших офицеров польского войска.

#### КНИГА ШЕСТАЯ

Стр. 137. *Князь Юзеф*. Юзеф Понятовский (1763—1813) — в тот момент главнокомандующий войсками Варшавского княжества, позднее участник наполеоновского похода на Россию, маршал Наполеона.

Тильзитский мир (июнь 1807 г.) показал многим из поляков, насколько были беспочвенны надежды польской шляхты на восстановление Польши Наполеоном. Заключая мир с Александром I, Наполеон обнаружил равнодушие к польскому вопросу, согласился на новый передел польских земель.

Стр. 138. *Погоня* — герб великого княжества Литовского. *Медведь* — герб Жмуди, северной части Литвы.

Стр. 139. *Луи Биньон* — французский дипломат, представитель Наполеона при правительстве Варшавского княжества.

Стр. 142. *Ян III Собеский* — польский король (1674—1696), вел успешную борьбу с турецкой агрессией, разбил турок в 1683 году под Веной.

Стр. 143. То есть после поражения восстания Костюшки.

Стр. 144. Очевидно, со времен нашествия шведов на Польшу (XVII в.).

*Зыгмунтовка* — сабля времен короля Зыгмунта III (1587—1632).

Стр. 145. *Церера* — римская богиня плодородия. *Помона* — покровительница овощей. *Вертумн* — бог созревания.

То есть сторонником Барской конфедерации 1768 года, феодально-националистического движения, направленного против уравнивания иноверцев (православных и протестантов) в правах с католиками, на которое дали согласие под нажимом России польский сейм и король Станислав-Август.

Король Станислав-Август в июле 1792 года предал дело Конституции 3 мая и примкнул к Тарговицкой конфедерации.

Стр. 146. *Огинский* Михаил-Клеофас — видный участник восстания на Литве в 1794 г.

Стр. 147. «*Когда восходят зорц*». — Автор этой песни известный польский поэт Францишек Карпинский (1741—1825).

#### КНИГА СЕДЬМАЯ

Стр. 149. *Крулевец* — польское название города Кенигсберга, центра бывшей Восточной Пруссии (ныне Калининград).

Стр. 150. *Грабовский* Юзеф — офицер войск Варшавского княжества, впоследствии — участник наполеоновского похода на Россию. В его имении Лукове (в районе Познани) Мицкевич был в 1831 году.

*Годвен Тадеуш* — офицер польских легионов, участник наполеоновских войн.

*Ландраты, хофраты* — прусские чиновничьи титулы.

*Herr Gott! Mein Gott!* — Господи боже! Боже мой! (нем.)

Стр. 153. *Конфедерация* — чрезвычайный союз шляхты, создаваемый для достижения той или иной политической цели. Приводя свои решения в исполнение посредством вооруженной силы, часто выступая против центральной власти, конфедерации на протяжении XIV—XVIII веков сыграли существенную роль в ослаблении Речи Посполитой как государства.

*Клецк* находился во владениях литовского магната князя Радзивилла.

Стр. 154. В Киеве и Минске происходили ежегодные ярмарки, которые назывались контрактами. На этих ярмарках заключались сделки (контракты) между помещиками и купцами, торгующими сельскохозяйственными продуктами.

Стр. 155. *Маршалок* — здесь председатель шляхетского собрания.

В сейме феодальной Польши существовало право «*liberum veto*» («свободное запрещаю»). Постановление сейма не могло быть принято при несогласии хотя бы одного депутата.

Стр. 159. *Белица* — городок на Немане. *Лососна* — приток Немана, находился на границе между Россией и Варшавским княжеством.

## КНИГА ВОСЬМАЯ

Стр. 165. *Дидона* — героиня поэмы римского поэта Вергилия «Энеида», царица Карфагена. Влюбленная в Энея, Дидона осыпала его горькими упреками, когда он покидал Карфаген, а после отъезда Энея покончила с собой.

Стр. 166. *Гудит гармоника ночная*. — Мицкевич сравнивает гудение мошкеры с аккордами стеклянной гармоники, музыкального инструмента, состоявшего из стеклянных полушарий разной величины, которые вращались на металлическом стержне.

*Эолова арфа* — струнный музыкальный инструмент, издающий звуки под дуновением ветра. Эол — бог ветров у древних греков.

Стр. 167. *Кастор и Поллукс* — звезды из созвездия Близнецы, названные так по имени двух героев древнегреческой мифологии.

*Лель и Полель* — упоминаются в польских хрониках как древние славянские божества.

*Сито* — очевидно, созвездие Плеяды.

Стр. 169. *Моровая Дсва* — по народным поверьям, предвестник чумы. Упоминается Мицкевичем еще в поэме «Кэриад Валленрод».

*Ксендз Почобут* — Мартин Почобут Одланицкий, ректор Виленского университета (1780—1799), организовал астрономическую обсерваторию.

*Снядецкий Ян* (1756—1830) — известный польский ученый, занимался астрономией, математикой, философией. В 1807—1815 годах был ректором Виленского университета.

Гетман Францишек Ксаверий *Бранницкий* был одним из организаторов реакционной Тарговицкой конфедерации.

Стр. 170. *Сапсга* — известная семья литовских магнатов.

*Яблоновский Станислав Ян* — гетман, участник битвы войск Яна III Собеского с турками под Веной в 1683 году.

*Граф Вильчек* был послом. — Австрийским послом в Польше был тогда граф Турн.

«*Fulmen Orientis*» («Молния Востока») — панегирик в честь Яна III Собеского, изданный в 1684 году на латинском языке ксендзом Бартоховским.

«*Янина*» — сочинение Якуба Казимежа Рубинковского (1739).

Стр. 171. *Генерал*. — Речь идет об Адаме Казимеже Чарторыйском (1734—1828), известном польском магнате, политическом деятеле, являвшемся «генеральным старостой подольских земель».

Стр. 176. *На коврик всгансшь!* — то есть на венчальный ковер.

Стр. 181. *Свитезянка*. — Это слово ввел сам поэт, посвятивший балладу «Свитезянка» русалке озера Свитезь.

*Гивойтос* — домашний уж в старой Литве; по литовским преданиям, приносил счастье в дом.

Стр. 184. *Интермиссия* — формальный акт ввода во владение недвижимым имуществом, по старому польскому праву, выполняемый возным суда.

«*Cum gais...*» — «с лесами, борами, границами, крестьянами, старостами и всеми вещами, а также некоторыми другими» (образчик старопольской судебной латыни, смеси латинских слов и польских слов с латинскими окончаниями).

Стр. 186. *Манлий Марк* (IV в. до н. э.) — предводитель римского гарнизона в Капитолии, отразивший ночное нападение галлов.

*Хохлик* — по народным преданиям, ночной дух, проворный и проказливый.

## КНИГА ДЕВЯТАЯ

Стр. 188. *Антал* — бочонок.

Стр. 193. Иезуит Юзеф Бака написал книгу «Рассуждения о смерти неизбежной» (1766).

## КНИГА ДЕСЯТАЯ

Стр. 210. *Ниобея* — героиня древнегреческого мифа, мать семи дочерей и семи сыновей, убитых богами Аполлоном и Артемидой, которые отомстили Нибее за оскорбление, нанесенное их матери. Потеряв детей, Ниобея окаменела от горя.

Стр. 212. Рыков упоминает места славных побед русского оружия в битвах с турецкими войсками: Очаков (1788) и Измаил (1790) и места сражений с французами: Цюрих (1799), Прейсиш-Эйлау (1806).

*Фельдмаршал* — А. В. Суворов.

Стр. 213. *Рацлавицы* и *Мацейовицы* (Матьевичи) — места сражений царских войск с войсками Костюшки. Под Рацлавицами (4 апреля 1794 г.) Костюшко одержал победу, но под Мацейовицами (10 октября 1794 г.) поляки потерпели поражение, а Костюшко был взят в плен.

Стр. 214. «*Requiescat in pace!*» — «да почует в мире!» (лат.)

«*Pro publico bono*» — «для общего блага» (лат.).

Стр. 220. *Потоцкий Владзимеж* — офицер войск Варшавского княжества, на свой счет выставил две артиллерийские батареи. О Доминике Радзивилле — см. примеч. автора ко второй книге.

Стр. 223. *Тенчинский Ян* — был женихом дочери шведского короля, по дороге в Швецию попал в плен к датчанам и умер в неволе (1562).

Стр. 224. *Sanctissimum* — святыя дары (лат.).

Стр. 228. Князь Кароль *Радзивилл* — литовский магнат, весьма популярный среди шляхты, был прозван «Пане Коханку» за употребляемую им поговорку.

Стр. 232. *Шпильберг* — австрийская тюрьма для политических заключенных.

Стр. 233. Генерал Станислав *Фишер* — начальник штаба войск Варшавского княжества.

Князь *Юзеф* — Юзеф Понятовский. События, о которых говорит здесь Мицкевич (созыв сейма в Варшавском княжестве, провозгласившего «генеральную конфедерацию» с целью воссоздания независимой Польши в прежних границах), произошли примерно на год позже, уже в момент начала военных действий Наполеона против России.

#### КНИГА ОДИННАДЦАТАЯ

Стр. 236. Этот лозунг в 1812 году пропагандировали сторонники Наполеона среди польской шляхты.

Наполеоновские войска вступили в Россию, как известно, но весной, а летом 1812 года.

*Иероним* — Жером Бонапарт, король Вестфалии, командовал в 1812 году одной из армий Наполеона. Юзеф Понятовский командовал V польским корпусом, входившим в состав этой армии. Мицкевич четырнадцатилетним мальчиком был свидетелем вступления наполеоновских войск в Литву.

Генералы *Домбровский* и *Князевич* командовали дивизиями в польском корпусе. Генерал Михаил *Грабовский* был командиром бригады, полковник Казимеж *Малаховский* — командиром полка. Генерал Ромуальд *Гелройц* был генеральным инспектором войск, сформировавшихся в Литве.

Стр. 237. Ежи *Оссолинский* (1595—1650) — видный государственный деятель феодальной Польши, был одно время послом при папском дворе.

*Король Станислав* — Август Понятовский.

Стр. 241. Под Гогенлинденом в 1800 году происходило сражение французской и австрийской армий. На стороне французов в сражении участвовали польские легионы.

*Ришпанс* — французский генерал.

Польские легионы участвовали в действиях наполеоновских войск в Испании. Перевал Самосиерра был взят в 1808 году кавалерией польского полковника Козетульского.

*Gravis notae maculae* — так называлось в старой Польше наказание за клевету.

Конституция, навязанная Наполеоном в 1807 году Варшавскому княжеству, устанавливала формальную отмену крепостничества и формальное равенство граждан перед законом, но она не отменяла барщины, не обеспечивала крестьян землей. В Литве и в Белоруссии наполеоновские войска ревностно охраняли

крепостническую власть помещиков, подавляли крестьянские волнения.

Стр. 243. Имеется в виду брак польской королевы Ядвиги с великим князем литовским Ягелло, положивший начало династической унии Польши и Литвы.

В битве под Грюнвальдом (1410) польско-литовско-русские войска разбили крестоносцев («крыжаков»).

*Синдик* — уполномоченный представитель в суде, юрист.

Стр. 248. Богатому магнату Антонию Михаилу Пацу принадлежал на Литве роскошный дворец, построенный в XVIII веке. Отсюда и пошла поговорка: «Достойн Пац дворца, а дворец — Паца» («Wart Paśa pałaca, a pałac Paśa»).

*Герб Леливы* — на красном поле полумесяц со звездой в середине. Это был герб Соплиц.

#### КНИГА ДВЕНАДЦАТАЯ

Стр. 255. *Аффирматива и негатива* — «за» и «против».

*Рефектэриум* — трапезная монастыря.

Стр. 261. Генрих *Дембинский*, Самюэль *Ружицкий*, Юзеф *Дверницкий* — офицеры, участники войны 1812 года, впоследствии занимали высокие командные должности в войске польских повстанцев 1830—1831 годов.

Стр. 262. Казимеж *Пулавский*, Сава *Цалинский* — участники Барской конфедерации 1768 года.

Стр. 263. Шарль *Дюмурье* — французский полковник, прибыл к конфедератам в качестве военного инструктора.

Стр. 267. Трех сыновей Ноя из библейской легенды о всемирном потопе церковники объявляли родоначальниками различных народов. В Польше среди шляхты эта легенда использовалась, чтобы объяснить и оправдать неравенство сословий.

Стр. 269. *Беллона* — богиня войны у древних римлян.

Стр. 270. Дети греческого бога ветра Борея изображались с надутыми щеками.

Стр. 271. Начиная с этого момента, Мицкевич имеет в виду события польской истории конца XVIII века: Конституцию 3 мая 1791 года, Тарговицкую конфедерацию 1792 года, восстание Костюшки (1794), действия польских легионов.

## ЭПИЛОГ

Эпилог поэмы «Пан Тадеуш» не был опубликован при жизни автора. Мицкевич говорит в нем о тяжелом положении польских эмигрантов, покинувших родину после поражения восстания 1830—1831 годов.

Стр. 278. *Храбрый* — Болеслав I Храбрый, польский князь (992—1025); много сделал для расширения и укрепления польского государства, под конец жизни принял королевский титул. При Болеславе в состав польского государства входили все основные исконно польские земли.

Стр. 280. *Сказанья о Юстине и Веславе* — произведения польских поэтов: стихи и идиллии Францишка Карпинского (1741—1825) и поэма «Веслав» Казимира Бродзинского (1791—1835).

*Лавр Капитолия* — лавровый венок, присуждаемый, начиная со средних веков, папами или императором известным поэтам.

## ОБЪЯСНЕНИЯ

Стр. 283. *Сангушко* — литовский магнат Дмитрий (у Мицкевича неправильно назван Василием) Сангушко принудил к замужеству одну шляхтянку, захватил ее имение, был за это изгнан из Польши, а впоследствии убит. Станислав *Стадницкий* — известный авантюрист XVII века.

Стр. 284. *Литовский статут* — собрание литовских законов, относящееся к XVI веку.

Стр. 285. «*Princeps nobilitatis*» — «первый из дворян» (лат.), примерно соответствует понятию «предводитель дворянства».

*Трибуналы* — в Речи Посполитой суды последней инстанции. Два трибунала действовали собственно в Польше (в городах Петрокове и Люблине) и один — на Литве.

Стр. 286. В 1794 году в Вильне властями повстанцев были казнены несколько изменников родины, противников Конституции 3 мая.

Стр. 290. *Витвицкий Стефан* (1802—1847) — второстепенный поэт-романтик. Использованные в этой книге несколько стихов Витвицкого были Мицкевичем основательно переработаны.

Надо иметь в виду, что между *застянком* и *околицей* существует разница. Обитатели застянка происходили из одного рода и носили одну и ту же фамилию. Околица была населена шляхтичами из разных родов.

Стр. 291. *Ursus Major* — Большая Медведица (лат.).

Лаланд Жозеф — известный французский астроном.

Он был русским адмиралом.— Де Нассау не занимал на русской службе значительных должностей.

*Индигенат* — так называлось в Речи Посполитой присвоение шляхетства иностранцам.

Стр. 292. *Цесаревич* — великий князь Константин.

Стр. 293. «Отличный повар».— В действительности книжку под таким названием написал Валондико. Ст. Чернецкому принадлежит другая поваренная книга (1682), по всей вероятности тоже известная Мицкевичу.

Стр. 294. *Радзивилл-Сирота* Миколай Крыштоф — польский магнат XVI века.

---

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

Национальная эпогея. *М. Рыльский* . . . . . 3

### ПАН ТАДЕУШ, ИЛИ ПОСЛЕДНИЙ НАЕЗД НА ЛИТЬЕ

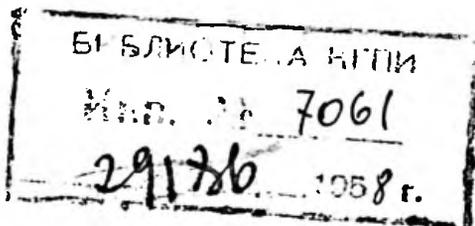
<i>Книга первая. Хозяйство</i> . . . . .	9
<i>Книга вторая. Замок</i> . . . . .	35
<i>Книга третья. Волокитство</i> . . . . .	58
<i>Книга четвертая. Дипломатия и охота</i> . . . . .	80
<i>Книга пятая. Ссора</i> . . . . .	107
<i>Книга шестая. Застянок</i> . . . . .	132
<i>Книга седьмая. Совет</i> . . . . .	149
<i>Книга восьмая. Наезд</i> . . . . .	165
<i>Книга девятая. Битва</i> . . . . .	187
<i>Книга десятая. Эмиграция. Яцек</i> . . . . .	209
<i>Книга одиннадцатая. Год 1812</i> . . . . .	234
<i>Книга двенадцатая. За братскую любовь</i> . . . . .	253
<i>Эпилор</i> . . . . .	277
Объяснения . . . . .	283
Комментарии. Составил <i>Б. Сталсев</i> . . . . .	299

Редактор Ю. Живова  
Художник А. Гадичел  
Художеств. редактор Л. Калитовская  
Технич. редактор Ф. Артемьева  
Корректор Е. Мезне

Сдано в набор 4 III 1954 г. Подписано к печати  
12 VI 1954 г. А04652. Бумага 81×108<sup>1/2</sup> =  
19<sup>3/4</sup> печ. л. 16,2 усл. печ. л. 16,24 уч.-изд. л. +  
6 ткл. = 16,45 л. Тираж 35 000 экз. Заказ № 1092.  
Цена 6 р. 65 к.

Гослитиздат  
Москва, Ново-Басманная, 19.

Министерство культуры СССР  
Главное управление полиграфической  
промышленности  
Первая Образцовая типография  
имени А. А. Жданова,  
Москва, Ж-54, Воровая, 28



63